

*НОВЫЙ
Журнал*

99

*THE NEW
REVIEW*

*THE
NEW REVIEW
Новый Журнал*

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Двадцать девятый год издания

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1970
Quarterly, No. 99
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$10. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
<i>И. Елагин</i> — Стихи	5
<i>В. Вейдле</i> — Поездка в Аликанте	6
<i>Д. Кленовский</i> — Стихи	29
<i>Ю. Кротков</i> — Пифагор	31
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	38
<i>Г. Газданов</i> — Эвелина и ее друзья	40
<i>Я. Бергер</i> — Стихи	60
<i>М. Андрееenko</i> — Мыши	62
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	90
<i>Н. Ульянов</i> — Мейне клейне	92
<i>Г. Глинка</i> — Стихи	104
<i>Ю. Иваск</i> — Бунин	106
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	122
<i>Н. Первушин</i> — Н. Н. Страхов — жертва «достоевщины»? ...	125
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:	
<i>Бор. Зайцев</i> — Другая Вера	139
<i>Н. Туров</i> — «Парилка»	157
<i>Письма М. Горького к И. Добровейну</i>	173
<i>Письма С. В. Рахманинова</i>	182
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	197
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:	
<i>Игумен Геннадий</i> — Смысл истории	211
<i>Ю. Марголин</i> — Антифилософ	224
<i>Б. Вульф</i> — Крупская чистит библиотеки	237
ПАМЯТИ УШЕДШИХ:	
<i>Р. Гуль</i> — Н. С. Тимашев	247
<i>В. Ляпунов</i> — А. В. Белинков	250
<i>А. В. Белинков</i> — Посмертная публикация	253
БИБЛИОГРАФИЯ:	
<i>С. Зеньковский</i> — Г. Вернадский. История России. Т. V.	
<i>В. Сечкарев</i> — И. фон Гюнтер. Жизнь под восточным вет-	
ром. <i>Е. Климов</i> . — История русского искусства под ред.	
<i>И. Грабаря. И. Гольденвейзер</i> — Д. Шуб. Политические дея-	
тели России. <i>Игумен Геннадий</i> — С. Левицкий. Очерки по	
истории русской философской и общественной мысли.	
<i>Р. Ричардсон</i> — Николас Ли. Романы М. А. Алданова.	
<i>А. Небольсин</i> — В. Эрлих. Гоголь. <i>В. Завалишин</i> — К. Арен-	
ский. Письма в Холливуд. <i>В. Сечкарев</i> — К. Профер. Срав-	
нение и «Мертвые души» Гоголя. <i>Я. Б.</i> — Русское еврейство	
(1917-1967). <i>Р. Гуль</i> — Н. Берберова. Курсив мой. <i>Р. Пол-</i>	
<i>чанинов</i> — О. Пантюхов. О днях былых. <i>В. Завалишин.</i>	
<i>А. Кторов</i> . Лицо Жар-птицы. <i>Ю. Иваск</i> — Н. Клюев. Сочи-	
нения, т. 1-2. <i>Б. Нарциссов</i> — Подъем. <i>Книги для отзыва</i> . 255	

PRODUCED BY RAUSEN LANGUAGE DIVISION
150 VARICK STREET. NEW YORK, N. Y. 10013





Обернемся на минуту,
Прошрое подстережем.
Рубят голову кому-то
Гильотиною-ножом

И в кого-то с исступленьем
Загоняют штык насквозь —
Чтоб грядущим поколениям
Очень счастливо жилось.

Так во имя светлых далей,
Под всемирный визг и рев,
В море Черное кидали
Офицеров с крейсеров.

А теперь мы время сплущим,
В день сегодняшний войдя:
Поколением грядущим
Вдруг оказываюсь я.

И выходит, как ни странно, —
Все стряслось из-за меня:
Трупов целые монбланы
И всемирная резня.

Шли крошечной чередою
Эти черные дела,
Чтобы жизнь моя звездою
Небывалой расцвела,

Чтобы стал мой жребий светел,
Чтобы мне удач не счесть!
Может быть, я не заметил?
Может, так оно и есть?!...

И. Елагин

ПОЕЗДКА В АЛИКАНТЕ

1

Без Италии года не могу прожить; без Испании прожил двадцать почти лет, и не так уж тосковал по ней за это время. Французы — другое дело: их нередко тянет туда больше, чем в Италию. Есть и у англичан преемственность внимания и любви к этой стране. У нас же, о чем тут вспомнишь или о ком? «Арагонская хота» Глинки; Василий Петрович Боткин, давний и забытый (напрасно: был он смышлен и чужому открыт, «Письма из Испании» — 1845 — чтение занятное и приятное); да еще

Недвижим теплый воздух — ночь лимоном
И лавром пахнет...

А далеко, на севере, в Париже...

Вздыхаешь этим вздохом, вздыхаешь, и не мыслишь, что настанет время, когда им не захочется вздохнуть. Но все другое, даже тогдашнее, даже пушкинское («Ночной зефир...», «Я здесь, Инезилья...») так и видишь: обернется оно Гишпанией Козьмы Пруtkова, после чего настоящая, наша и для нас Испания до сих пор и не началась. Литература ее не столь нам чужда. Островский, и тот, пытался научиться чему-то у ее драматургов, но сама она вскоре не от одного Блока заслонилась оперой «Кармен». Кое-что в ту пору как будто и намечалось, да так и не наметилось. В гражданской войне, если из Москвы глядеть, плакатом ей заклеили лицо, а затем она и вовсе исчезла с горизонта.

Страна изумительная, спору нет. Но верно и то, что для Европы в целом никогда она тем, чем была Италия, не была и быть не могла, — не вопреки, а как раз в силу изумительности этой. От всего, что ей одной принадлежит, чем она нас дразнит и пленяет, неотъемлем налет экзотики. Конечно, Европа и она: пограничная Европа. Тоший идальго на тошем коне перерос

Пиренеи. Без ее поэтов и живописцев были бы мы куда бедней. Но и Африка она, и семи веков своих арабских по сей день не позабыла. Сама по себе она в Европе почти не меньше, чем Россия. Уже звуки ее языка, это жарко-сухое придыханье... В Южной Америке оно забавным образом сгладилось, смягчилось, — как если бы мы, заселив Аляску, отказались бы там от своей «мглы» и «тмы» (Пушкин говорил и писал именно так: «тма»).

Но нет, я в этом духе не собираюсь продолжать. В те первые два раза, когда я был в Испании, я именно квинтэссенцию ее из моих впечатлений и стремился извлечь (пусть и просто для себя, в пищу собственному любопытству); потому и выбрал Кастилию, Андалузию; ими и ограничился (как Боткин), да еще (как и он, лишь верхоглядней) в испанское Марокко заглянул. Нынче подобных замыслов вовсе у меня не было. Просто решил я съездить не надолго, весной, в неизвестную мне еще «левантийскую» Испанию, на средиземноморский ее берег, на юг его, но не на самый юг. О поездке этой и будет речь. Об очень банальной поездке для человека, живущего в Париже. Но в банальности этой заключался и некий ее добавочный интерес.

Двадцать лет назад иностранцев в Испании было не чрезмерно много. Кое-где — в Толедо, например — и гостиницы были наперечет. Поезда — не в большинстве, как теперь, а все — ходили медленно. Дороги были средней руки, и машины долго катили по ним не находя пищи ни себе, ни для своих хозяев. Но немного позже картина как раз и начала с необычайной быстротой меняться. За 1968 год одних французов побывало в Испании семь миллионов, а из них уж наверное шесть именно тут, на ее недождливом берегу. Не туристы это были и не обозреватели диковин, а искатели солнца и песка, колонизаторы рыбацких поселков и приморских пустырей, строители жилищ, куда ежегодно, в месяцы недаром носящие имена божественного Юлия и кесаря Августа, повелителя вселенной, легионом возвращаются они, чтоб на завоеванном побережье, под трещотку транзисторов, плашмя, праздновать свои империалистические триумфы.

Не то, чтобы желал я на купально-лимонадные эти торжества — такие же, конечно, как и везде — ближе посмотреть; ведь и в путь я отправился «вне сезона», когда завоеватели только еще мечтают о завоеваньях, возвращаясь с работы на своих на четырех или в набитом до отказа вагоне парижского

метро. Нет, мне на самые эти берега захотелось поглядеть. Пока не поздно, говорил я себе, покуда хранят они еще свой издавна им присущий облик; не успели же они его утратить; колонизация их совсем ведь недавно началась. Costa Brava, между Пиренеями и Барселоной, «освоена», говорили мне, полностью: Бог с ней; на Балеарские острова я (пока что) тоже не поеду; но тот берег, что против них или чуть южнее, от Кастельона, или, скажем лучше, от древнего славного Сагунта до Аликанте — там и в апреле тепло, там, я слышал, купались в декабре. Часть его нынче зовется Costa de Azahar, но и весь он мог бы зваться так. «Где апельсины зреют...» «Ты знаешь край...» Тут-то они, обильней еще, чем в том краю и зреют. Azahar — апельсиновый цвет, fleur d'oranger, (или fleur d'orange, как у нас почему-то говорили в былые времена), но слово это — особое, другого корня, не производное от арабского «наранха» или испанской «наранхи». Azahar, azahar... Аравийский и пряный оно источает аромат. «Нард, алой и киннамон...» Нет — воздушнее, нежнее. Вслушаешься в это словечко и задумаешься невольно.

Предчувствую — не Барселону: я ее не так давно, хоть мельком, да повидал — но Валенсию, и с ней по соседству, дальше на юг, Гандию, полуитальянскую, для меня, маленькую столицу герцогства, пожалованного роду Борха Фердинандом Католическим: старший брат Цезаря Борджиа, убитый в Риме (по его повеленью?), носил этот титул. А еще поюжнее на берегу — Аликанте, город ароматного, приторного слегка вина и город Габриэля Миро, которого я читал когда-то идилически-меланхолический роман «Las cerezas del cementerio» («Кладбищенские черешни») и сладостно-рыдательную (чуть-чуть марципанного все-таки вкуса) семичастную поэму в прозе, любовно переведенную на французский язык дружившим с ее автором и с городом этим Валери Ларбо, — бедным, милым, всеми дарами одаренным, все утратившим, столько лет умиравшим Ларбо. Давно их обоих нет на свете. А те места? Взглянем, увидим. Аликанте, Аликанте, звонкое у тебя имя. Смотри, не обмани!

Вечером на Аустерлицкий вокзал. Завтра, в полдень — Барселона, в четыре — Валенсия.

2

Теперь я там. Лежу в постели. Комната, как я и просил, не выходит на улицу. Тихо. Темно. Поезд наш после Барселоны

шел с частыми замедлениями и ожиданиями на полустанках. Приехали в шесть. Устали. Ночь провели сидя: не получили спальных мест. Сквозь дремоту думал о Ларбо, о непринужденном антицизме его прозы, о его игрушечных солдатиках (огромная коллекция у этого наотрез безмундирного человека), о его любви к Англии, Испании, Италии, к их нравам, языкам, о его многолетнем бессловесном прозябании, и о том, как его «обожал» — вот именно, почти по-институтски — Миша Горлин, погибший в лагере, — не за то погибший, что был буржуй (во время его из отчества вывезли), а за то, что был еврей. На границе, при пересадке, вспоминал, что здесь, в Пор Бу, принял смертельную дозу сонного другой изгнанник, Вальтер Беньямин, острого и едкого ума писатель, совершенно мне чуждый по всему своему духовному устройству, хоть по темам порой и близкий, с которым я однажды беседовал в Париже, — за два года до того. Его имя теперь полной славой сияет в обеих Германиях, а тогда испугался он мнимой западни: ложному слуху поверил о поимке или измене проводника, который его, жену и друзей взялся перевести через Пиренеи. Не считая и войн, наш век шагает в крови. В русской, еврейской, во всяческой нынче, по пояс, без покаянья...

На полпути до Хероны, чей надменно облезлый собор бесприветно глянул в окно с высоты лестницы, к нему ведущей, начались сосновые перелески, темно-ржавые овраги, ветви в цвету, нежные весенние побеги, ослики и мулы на полях (трактор мы видели лишь раз), фермы кое-где, редкие невзьерошенные новизной селенья. Так и продолжалось почти до барселонских предместий, а потом море приблизилось, города участились; дальше и на полустанках верзилами торчали — ишь какие, как это их угораздило? — многоэтажные новые дома; на берегу и того пуше разношерстно сталпливались по полдюжине, по дюжине. Пересекли Эбро в Тортосе: древний город стал новым. Долго был фронтовым в гражданской войне. Щепень убрали, отстроили, — разженили с рекой: шоссе вдоль реки. А когда же Валенсия? Вот она! Нет: Кастильон. Но тут, в самом деле, «где апельсины зреют» и началось. Кусты, скорей чем деревца; порой низенькие («картошка?», спросил я, чтобы подразнить мою спутницу), порой повыше. Им не подстригают нижних ветвей, чтоб деревцом росли — как на тосканских фресках или в серебряных кадках версальской Зер-

кальной галереи (покуда не пришлось Королю-Солнцу монету чеканить из этого серебра). Зато глянть: и плоды несут, и цветут! Одновременно, тот же куст. Шарик-фонарики, яркие в темной листве, и воздушное белое оперенье. *Azahar! Costa de Azahar*. Плоская, как Голландия, а вдали широким полукругом — горы. Вся равнина, знаю, апельсиновой не названа; есть тут и шелководство, и рисовые болота, и гвоздика, и персики, и дыни; но все же во всех ее концах фонарики эти зажжены — полей апельсиновых, скорее, чем рощ; и цвет тот белый, особенно если, в ладони зажав, им подышать... *Azahar*. Иначе не скажешь: *Azahar*.

В темноте, в тишине хорошо. Воображаю этот запах. Тот цветок, успел я уже помять его в руке. И вкусить успел апельсинового плотного мяса, совсем другого, чем «далеко на севере», у нас: не расстающегося при надкусе со своим соком, а до последней клетки пропитанного им. Было бы приятно в апельсиновых этих мыслях и заснуть, да чувствую, что не это мне приснится, как и не трапеза наша, тут, на площади, рядом, — хоть и не могу не улыбнуться, о ней вспомнив. Изменилась Испания; уже в вагонное окно глядя стало ясно, что изменилась, но не во всем, отнюдь не во всем. По-прежнему тут сопротивляются желанию чужеземцев получить пищу — днем до двух или вечером раньше девяти. Поздно ложатся по-прежнему, поздно встают, поздно (хоть это и свято) соблюдают сиесту. Как это мне напомнило Мадрид, где я видел в половине первого, ночью, ребяташек катящих серсо по бульвару! Что же до еды — ее самой, а не ее сроков — то напомнила она мне Вальядолид, куда явился я под конец второго путешествия в сильно захиревшем виде, потребовал чаю вместо обеда, пил чашку за чашкой невозможный сенной отвар, и узнал от сердобольного портъе, что иностранные желудки (у меня было 38,5 температуры) не всегда хорошо переносят «наше испанское асейте» — то самое, что помянул, за век с лишним до того, Василий Петрович в первом же письме, говоря о первом знакомстве своим с испанской кухней: «Весь завтрак приготовлен был на дурном оливковом масле, которое воняло, как то, которое называется у нас обыкновенно деревянным. Впрочем, товарищи мои, испанцы, обрадовались ему, говоря, что они не могли есть оливкового масла во Франции: оно не пахнет маслом».

Умилительна, но немножко и прискорбна такая верность заветам предков. Однако, вскоре я перестал о ней думать, и не рестораничик на площади в преддверьи сна мерещился мне, а площадь; всю площадь видел я, закрыв глаза, главную площадь Валенсии — главное удивление наше после приезда — ее вечерние огни, ее многоцветные, мигающие, вспыхивающие световые зазыванья. Нью-Йорк первых небоскребов, Фридрихштрассе в Берлине почти полвека назад, «Метрополис» (был такой фильм, тех времен). Этого я не ожидал. Чего ожидал, не знаю, но не этого. Лихие эти дома (помню такие по Мадриду), должно быть и здесь немцы их строили, частью просто по-берлински, частью в испанизированном Югендштиле. Под этим южным небом, под невидимым звездным небом, в старом городе, отвоеванном у мавров, чьи стены снесены не так давно, посреди тех рощ или полей, где теперь фонарики погасли, но сильнее благоухает *azañar*. И какой грохот! Да еще оттуда, отсюда — лжемузыка, псевдопенье. Ничего я, слава Богу, не вижу и не слышу. Не рычат, для меня, машины вдоль площади. Умолкли, потухли трюки, рыки, крики. Есть другие улицы, старые, кругом, где тишь и тьма. Сонные дома; сонные деревья, рощи, огороды. И горы вдали, и море, близкое море, и вся апельсиновая эта Голландия... Ночь... Недвижим теплый воздух... Тишь и тьма.

Недвижим теплый воздух — ночь лимоном
И лавром пахнет...

Глубоко я уснул, спал спокойно, уже не за тридцать земель до Аликанте, в эту первую ночь в Валенсии.

3

Валенсия — старый, большой, плодородной землей порожденный, зажиточный город; не морской, но приморский. От Рынка, сердца ее, гавань ее, «грао», ближе, чем от Акрополя Пирей. Но Акрополя нет. Разлеглась, разрослась на заселенной с древнейших времен, неусыпным трудом орошенной и возделанной равнине, под несклонным хмуриться небом дыша и в жару легким морским ветерком. Тысячу лет назад отсчитай, и другую — она тут как тут; колония греков, потом Карфагена, итальянское право обретший римский муниципий. На реке ее, Турии, Серторий, в тяжком бою, был Помпеем укрошен. В лето

Господне триста четвертое, если верить преданию, претерпел в ее стенах мученическую кончину епископ Сарагоссы Валерий и с ним вместе дьякон Винцент, покровитель ее, со Пресвятой Девой, по сей день. Разрушались стены эти не раз, и вновь воздвигались. Владели Валенсией готы, владели арабы. Прогнал их воин славнейший, Сид, о ком в песне поется, — да не надолго. Столицей стала она их цветущего царства, покуда Дон Хаиме, король Арагонский, не отнял ее у слуг Магомета и не сделал столицей христианской державы на два с лишним столетия, до полного этих неверных разгрома и уничтоженья. К тем временам утвердилось здесь новая жизнь; напечатана была первая испанская книга; распахнулась дверь Возрождению, и здесь всего шире осталась в Италию раскрытой, как живопись о том повествует наглядней всего. Так и не был и не стал никогда этот город заштатным, отжившим, а вокруг не уставали никогда на земле копошиться, возиться, и в полдень, каждый четверг созывался, как созывается нынче, и тысячу лет выносил, как и нынче выносит решения, Суд Оросителей, тех, кто поит землю водой, чтоб она их кормила, Tribunal de las aguas, Водный Трибунал.

Учредил ли его, ровно тысячу лет назад, как того хочет молва, мудрый халиф Эль Хакем — хартии нет, где бы мы об этом прочли, как и грамот не знает поныне древнее это судоворенье. Сколько кому воды отпустить и все споры о том решают изустно восемь собратями избранных крестьян-садоводов. Их решениям присуща сила закона; им все каналы, канавки, колодцы и бочки подвластны. За соборной оградой, под розой царя Соломона, у апостольской двери творят они суд; вполне вероятно, что собирались они здесь или очень близко отсюда и при халифате. До собора была тут мечеть, до мечети — вестготская церковь, до церкви — капище Дианы; но никто цветущих садов не любил горячей, чем арабы, и недаром один из них, приезжий, тут побывав, «цветником Испании» назвал валенсийскую уэрту. Уэрта — не сад, в нашем смысле, не зеленый стриженный коврик, не гравий, не клумбы, а грядки и насаждения. На левантийских берегах — целый веер уэрт, но эта всех старшей, знатней, с большой буквы Уэрта. Река Турия ей отдала всю влагу, иссохла; под мостами нынче — трава; лишь в середке узкий ручей. Город на правом ее берегу не обуздан больше стенами: смелей перекинулся на левый, да и

зубы оскалил, истязает, калечит уэрту, но ею живет, как и прежде; оросителей не упразднил: нужны и ему. Но стены все-таки жаль. Рассыпавшуюся древнюю ею заменил, ее воздвиг из гордых каменных плит король Дон Педро Церемонный. Пять веков простояла. Сто лет назад ее срыли. Лишь ворота остались; да и не все. Две башни со взлетом стрельчатых арок. Другие две башни, толстостенные, глухие. Эти пригодились для тюрьмы.

С той поры и пошли перемены, — не такие, как прежде, и в другом темпе. Ничего своего, валенсийского в них нет. Как повсюду. Населенье перевалило за полмиллиона. Третий город страны. Обогнал Севилью. Быстрей, чем когда-либо растет за последние годы. Старое тут теперь, это лишь острова, островки; можно их и не замечать, если довольствуешься новым и новейшим. Были тут, к тому же, как во всех испанских городах, памятные старшему поколению изуверские неистовства, поджоги, разрушенья, осквернения церквей, еще сократившие и размеры, и число тех сохранных островков. Есть они, есть, — а что если б вовсе исчезли? «Лица на ней нет» пришлось бы сказать о Валенсии. Осталось бы небо, морской ветерок, уэрта, линия гор за ней, да еще, у высохшей реки не совсем по ранжиру разграфленная сеть домами обставленных улиц. Живите, чего вам? Все удобства, плата по зарплате. Будетлянами будьте. Глядите вперед, не назад... Глядим, готовы глядеть... Да только, куда ни гляди, горожанам город их мил, пусть и неосознанно, особым своим обликом, созданным веками. Прошлого еще довольно в Валенсии, чтобы осталась она Валенсией. Довольно, чтоб и чужестранец не только ее старину, но и весь город полюбил, чувствуя вместе с тем, как сурово осуждает эта старина (хоть и не одинаковым судом) все построенное здесь, и в нынешнем веке, и в минувшем. Повсюду, где есть старина, не иначе дело обстоит. Но здесь этот ропот осужденья так отчетливо был слышен, что не мог я в него не вслушаться.

В любые времена новизна противопоставлялась старине, но уживалась со стариной несравненно лучше, чем в нашем, и на совсем других началах, чем в прошлом веке. Собор Валенсии совместил в себе замыслы и вкусы шести веков, от тринадцатого по восемнадцатый. Каждый себя предыдущим векам предпочитал, их творенья с чистой совестью уничтожал, но там, где решал сохранить их, начатое ими продолжать, и с такой задачей

справлялся большей частью вполне успешно. Конечно, стилистически единые целые удовлетворяют нас полней, чем составные из следовавших один за другим стилей; но сочетание романского с готическим, а их обоих с ренессансным или значительно позднейшим, как здесь, остается приемлемым, живым, не вызывает озноба, который мы впервые ощущаем, когда приходит всему этому на смену рассудительный и худосочный классицизм, а ему на смену та совсем уж бумажная, канцелярская, всех стилей, но без стиля архитектура, что наводит на нас безысходную тоску, хоть и множатся за последние годы попытки ее реабилитации, — зловещие на мой взгляд, потому что стирающие разницу между подлинным и поддельным. Есть города — Париж, Флоренция — до последней четверти века сравнительно мало пострадавшие от нее, то ли благодаря сопротивлению хороших привычек, то ли, как в Париже, вследствие коллективного отказа от излишней приукрашенности «доходных домов» (точно собрались домовладельцы и заявили: насчет «общественных зданий», так и быть, устраивайте конкурсы, костюмируйте их по всем правилам искусства, а уж нас увольте, мы спокойную приятность жилищ без всяких искусств соблюдаем). О Валенсии не скажешь, чтобы она от девятнадцатого века, затянувшегося в ее архитектуре чуть ли не до половины нашего, не пострадала. Плохо ей пришлось; и наш, столь недавно воцарившийся здесь, полное имеет право весь тщеславный этот разноречивый вкупе презирать. Но не уживаясь с ним, не уживается он и со стариной, а тот, худо ли, хорошо ли — как лицемерие с добром — все-таки с нею уживался.

Старинные здания разных, но преемственно связанных друг с другом стилей соседят дружелюбно, дружелюбней еще, чем разновременные части того же здания, — живут одной жизнью и радуют нас тайным родством не меньше, чем явной разностью. Связывает их в одно, кроме преемственности этой, еще и одинаковость строительных материалов (тот же камень или кирпич, та же черепица), и устойчивая осмысленность названий, и попросту давность соседства: сглаживающий рубанок или напильник времени. Прошлый век материалам остается верен или (кроме отдельных случаев как бы еще экстерриториальных вроде Эйфелевой Башни и Хрустального Дворца) создает видимость этой верности; назначения, хоть и вяло, но

сохраняет, а совсем новые, не без невольного сарказма, приравнивает старым: вокзалы храмам, заводы монастырям или крепостям; давности соседства подделывать не может, зато симулирует несходство, подделывает стиль, сегодня этот, завтра тот, хамелеоном включаясь в их разность или ублюдком в их породистость. Он приемлемей в бедности, чем в богатстве. Прихотливая планировка, завещанная прошлым, и южная манера жить скрадывают скуку скромных и старых улиц Валенсии (сплошь старинных не сохранилось); изуродовали ее поздней проведенные коммерческие «артерии», — как любят выражаться виновники и пособники этого уродства. Дома на этих улицах, как на площади, которая так нас поразила в вечер нашего приезда, отнюдь не отрицают прошлого: они заигрывают с ним, подмигивают ему, тщатся его перещеголять... Горько на это глядеть; а все же век, породивший их, куда меньше нарушает веками вынянченное городское единство, чем его наследник, железобетонный честный малый, грохающий без всяких извинений свои сорок этажей рядом с четырьмя и готовый нахлобучить на любую церковь свой гараж, с писаревской развязностью и писаревским азартом.

Сорокаэтажных домов в Валенсии нет, но десятиэтажных и повыше есть немало. Самый высокий стоит в центре старого города и всем своим существом этот старый город отрицает; почти все другие, вместе с меньшими братьями, образуют новые кварталы, у которых со старыми нет ничего общего. Плохого об улицах этих не скажешь — широких большей частью, пальмами обсаженных, с широкой тропой для пешеходов посередине (на манер барселонских бульваров именуемых оврагами, «рамблами»). Нет на них ни одного мизерно расфранченного, уже по замыслу фальшивого, всем своим обликом говорящего неправду дома. Только где тут халиф Эль Хакем и Дон Педро Церемонный? И где Валенсия? Этим новым городом она унижена, посрамлена, объявлена рухлядью, приготовлена для слома. Девятнадцатый век многое уничтожил, но и ко многому подольстился; многое подмазал, подфальшивил, склеил с подделкой, а все же тем самым и сохранил. Двадцатый научился реставрировать, при случае, куда искусней; но и разрушать, во всех случаях, куда бойчей. А главное, незачем ему разрушать, достаточно строить. Этим одним он отменяет все построенное до него.

Не предполагал я, собираясь в путь, что Валенсия, где положил задержаться, заставит размышлять меня о том, о чем я здесь размышлял три дня подряд. Не нынешний век мне мил, и не вчерашний. Но здесь они оба так настойчиво дают о себе знать, и прошлое с ними так упорно отказывается ладить, что невольно о них думаешь, даже когда ищешь и находишь то самое, с чем минувший век хотел бы, да был не в силах, а нынешний вовсе и не хочет вступать в союз. Теперь, однако, пора уезжать; ждет меня Аликанте, куда на автобусе всего пять с небольшим часов отсюда; вспоминать же я буду — уже в пути буду вспоминать — не то, о чем я здесь думал, а то, что видел просто так, душе на радость, безо всяких особых дум.

Огорчил нас отчасти музей, не соборный, а городской, где слишком много холстов заслуживают ссылки в запас или требуют чистки. Зато угодил Патриарший Двор (Коллегия св. Хуана де Рибера, носившего титул антиохийского патриарха) и раза три мы любовались соседним с ним домом Маркиза Двух Вод (*de dos Aguas*), его двумя фасадами, затейливо разделанными «под атлас», в розоватых, опаловых, аквамаринových тонах с беломраморными ангелочками-амурчиками, порхающими, ныряющими, подлетающими роем к Мадонне над главным порталом. Любовались мы ими, пожалуй, и больше трех раз, но побывать внутри больше одного раза не захотели. Там, при последних маркизах, все было переделано в самом безвкусном вкусе отцов наших или дедов, а теперь там музей керамики и всякой другой всячины, без разбору накопленной, хоть частично и вовсе неплохой; вдобавок же еще и склад реликвий, кунсткамера местных знаменитостей, вроде Бласко Ибаньеса, чей рабочий кабинет полностью восстановлен в одной из зал, с коллекцией его романов на разных языках (в том числе и на русском, что напомнило мне юность, хоть я их ни тогда, ни позже не читал) и со всеми красотами обстановки: если кому охота такое оправдывать, пусть прямо и начинает с устрашающих этих образцов. Мы от этих красот отдыхали в уютном Ботаническом саду, посещаемом главным образом жильцами соседней богадельни, а потом долго шли по небогатым пустынным улицам (было воскресенье), миновали толстобашенные ворота, вышли к церкви двух Иванов (Предтечи и Богослова),

невзрачной вследствие разрушений и перестроек, и тут, от нее наискосок...

Впрочем, нет, я путаю. Не тогда мы увидели в первый раз чудесную соседку этой церкви, а в первый же день, утром; через круглую площадь с лавками кругом, к ней неожиданно подошли; в воскресенье опять ею любовались, а перед отъездом, сегодня, вновь ее навестили, прощались с ней: нет в Валенсии ничего, с чем бы больше стоило прощаться. В то первое утро вышли мы из гостиницы, пересекли площадь, зашагали по шумной прямой улице, но потом — всего два поворота, за угол, забавная эта кругляшка-площадь, и вдруг — точно все прочее было крашенный картон, точно рассеялась скучная неправда — из светящегося светло-серого камня сложенное диво, ассиметричное, безошибочно выверенное во всех пропорциях негрозное здание конца XV века, приветливо приукрашенное, но не обремененное никаким излишком, вежливо-нарядное, а потому и в самой нарядности простое.

Войдем. Это — Лонха. Торговая палата или биржа; когда-то принадлежала шелководам и торговцам шелком (как сукноделам флорентийский дом *Arte della Lana*). Назначение было, значит, самое деловое, прозаическое; но лишь недавние времена научились прозу от поэзии начисто и непоправимо отделять. Внутри — сводчатый зал, разделенный двадцатью-четырьмя пальмообразно-стройными витыми столбами на три равновысоких корабля. В этом зале и нынче подписывают контракты, совершают сделки, а по воскресеньям продают почтовые марки собирателям; но лишь аркада и решетка отделяют его от часовенки, умирительно благолепной. Рядом, в узенькой башне, искусно высеченная витая лесенка без среднего столба подымается в верхний зал с богатым резным потолком, снаружи украшенный (уже в следующем веке) медальонами королей на итальянский лад, а рядом с лестницей дверь в той же стене ведет во дворик с апельсиновыми и лимонными, подстриженными снизу, грациозными девическими деревцами. Оттуда за невысокой стеной сквозь решетку видна улица... Бог с ней! В этом дворике, в этом зале думаешь, что кругом — то, что было, а не то, что есть.

Средневековый город сквозняков и просторов не любил. Его изогнутые улицы отовсюду замыкают горизонт; выйдя из дому, вы еще дома; и зданья города, даже лучшие и самые

большие, даже церкви, даже соборы, вправлены в его оправу, как самоцветные камни в замысловатую вязь канделябра, посоха, венца. Украшены двери, порталы, нижние окна; но есть фигурная лепка или резьба даже и там, где ее не разглядишь не отойдя, а отойти сплошь и рядом бывает некуда. Наличие осмысленного образа, наличие доброй красоты важней почиталось, чем их видимость; бывали ведь в готических соборах (Реймском, например) монументальные изваяния, ни откуда и вообще не видимые, кроме как с небес. Тщательность выполнения не оставляет желать в таких случаях ничего лучшего. Так и в Лонхе. С одинаковой любовью изваяны здесь все фигуры, все узоры, далекие и близкие. Какие мастера тут работали! Как хитро задуманы, как тщательно сработаны все скульптурные детали внутри и снаружи! Рассматриваешь их и понимаешь лишний раз, как вездесущи были в тот век, в те далекие века библейская поэзия и позднейшая питаемая ею христианская легенда, как они требовали, как подсказывали воплощение свое в зрительных образах, как ни они не могли обойтись без искусства, ни искусство не могло обойтись без них. Должно быть те, кто в Лонху эту ходили и еще ходят «по делам», на рассматриванье всех этих благочестивых, нравоучительных или обличительных сюжетов времени не тратят, но все же видят изваяния эти, кое-что о них знают, гордятся своей Лонхой, а в прежние времена, да и вчера еще быть может, косились иные на высеченные в стене главного зала увещанья — денег в рост не давать, не лжесвидетельствовать, не обманывать. «Не обманешь, не продашь». Но ведь это всего лишь поговорка. Кроме «житейской» этой мудрости есть и другая. О ней, в старину, не казалось смешно напоминать.

Попрошались мы с Лонхой, вышли на крыльцо — только что это было, а вот уж и превращается в воспоминанье; вечером мы будем в Аликанте, и Аликанте точно также вскоре в воспоминанье отойдет... С крыльца направо — попорченные «два Ивана» (хоть и старше Лонхи эта церковь, что можно угадать, если в нее войти), а напротив — совсем уж противенько расфуфыренное здание Центрального Рынка — 1928 — в запоздалом к тому времени вкусе, за четверть века до того называвшемся «модерн». Испокон веков был здесь рынок под открытым небом, главным образом съестной, и до того хороша эта снедь, фруктовая особенно и овощная, что и сейчас, если, не

испугавшись всех этих желтых с бирюзою майолик или изразцов, вы войдете внутрь, поразит она вас яркостью, живостью своей, и под желтыми ребрами огромной храмины этой, не о вокзальных навесах начнете вы думать, а о богатстве земли, вскормившей этот город и здесь, каждое утро, заново ему говорящей о том, чем он жив, и о том, кто кормилица его. Так что если в Лонху лишний раз на последок заглянуть, то и сердцебиенье это — или чревовещанье — тут же рядом можно услышать, и потом утешаться им, по тротуарам безрадостно шагая, вдоль таких же, как повсюду, витрин и вывесок. Утешаться тем, что плодородная эта земля, чуть за город выйди, еще тут со всех сторон, не утрамбована, асфальтом не залита, согревает ее солнце, освежает близость моря. Сейчас мы ее увидим, пусть хоть из автобусных окон; но и думая всего лишь о ней, как-то город этот чувствуешь по-новому: проще он становится, к сути своей ближе. Вон соборная Михайловская или Архангельская башня, Мигелете (по-валенсийски Микалет) и стройная, по-моложе, но с ней дружная, совсем близко от нее колокольня св. Екатерины — ведь они должны быть издали видны; с моря их различали, колокола их слышали в полях. Микалет не одних был горожан, но и всей Уэрты Микалет. На закате, когда он звонил, огородники вдали прерывали работу, наклоняли голову, крестились. С отплывающих кораблей махали ему платком...

5

Размечтался я, а тем временем машина (не так уже много набилось в нее людей), выехав точно, по расписанию, покрутившись на поворотах, переждав у перекрестка, и еще переждав, и еще, и еще, катилась уже не по улице, а по дороге, — из чего поначалу проистекла не очень большая разница. Город раздается во все стороны невероятно быстро, точно взапуски с другими, но не равномерно, а скачками, рывками: тут деревья срезал, там оттяпал грядки и лужок. Куда ни рванет, жизни конец, точно негашеной известью ее выжгли. Добро бы сад, домик в саду... Ишь ты, деревни захотел! Туда и отправляйся, пока мы до нее не добрались. Город здесь, понимай! Вот тебе дом: бел как мел, прям, срезан по краям; этаж на этаж, а внизу гараж; снимай, селись, покупай, торопись! Раешника нет, но колеса подо мной не на шутку выстукивают что-то в этом роде.

Только все-таки мы вскоре оставим все это позади. Равнина широка. Где города еще нет, там луга и поля, фруктовые сады: Уэрта. К слепой бетонной стене прильнуло насаждение томатов, привязанных к высоким кольям. Спелые, налитые, сладкие... Слишком сладкие. Здесь отдают предпочтение недозрелым. Здесь и лук сладковат; достигает размеров маленькой дыни. Земля не хиреет; земля живет и цветет; ее убивают в полной ее силе. Возле нашей, впрочем, дороги садов и деревьев не много. Мы едем на юг, не приближаясь к морю. Начинаются канавки, рисовые болотца. Вот мелькнуло вдали первобытное маленькое жилище, «баррака» (их становится все меньше): домик из самодельных кирпичей, выбеленных снаружи, с высокой двускатной крышей из тростника, скрепленного вереском. На стыке спереди — крестик: крестьянское, христианское жилье.

После Сильи мы едем на небольшом расстоянии вдоль Альбуферы, лагуны, но пресноводной, длинной и узкой косой отделенной от моря, славной с давних времен угрями и болотной дичью. Нынче, я слышал, всю косу собираются превратить в сенсацион-аттракцион, луна-парк, мирамар, парадиз, тыща комнат, тыща ванн, — что и предвидел, должно быть, стародавний книжник Хуан де Мариана, когда писал, посетив эти места, что они, вероятно, и есть то жилище блаженных на западе солнца, те Елисейские Поля, о которых так настойчиво, хоть и невнятно вещали древние поэты.

Суэка. Сюда охотники и съезжались, диким уткам угрожая туго натянутым луком — арбалетами, пищалями, двустовками, заряженными дробью. Кульера, близ моря, под скалой, с монастырем на скале. Мост через реку Хукар (она и Турия, это и есть две воды маркиза Двух Вод). Темной зеленью все заросло по обе стороны дороги. Снежный цвет, золотые плоды. Если тут обиталище блаженных, то не это ли яблоки Гесперид? Апельсинных плантаций такого размаха я еще не видывал. Гандия. Апельсинный ее порт (он, однако, остается в стороне). Дворец семьи Борджиа-Борха еще цел на главной улице. Узкие окна вверху, не итальянские, арабские. Высокая церковь с высоким готическим порталом. И жгли, и громили ее в 36-ом году; до тла не сожгли, в конце не разгромили. Вернемся, посмотрим. А теперь опять Геспериды: яблони их с двух сторон. Из апельсинов, в длинные сетки насованных, сооружают гирлянды и

вешают возле дверей фруктовых лавок. Мы пересекаем гандийскую уэрту, где вокруг бесчисленных колодцев, летом, ходят и ходят покорные мулы, приводя в движение колесо, которое черпает воду, разливает по канавкам. Увлажняется ею солнцем иссушенная земля.

Олива. Славный городок, почти не испорчен. По главной улице во всю длину его пересекаем; людей не видать, все ставни прикрыты — сиеста. Дальше опять апельсины; поле фиалок; кукуруза. Исчезло все это. Виноградники. Верхель. Здесь мускатные гроздья в августе сушат на солнце. Изюм. В Англию поплывет — лакомятся им с давних пор англичане. Ондара. Ответвление на Дению. Дианиум римлян, Артемизион греков; но храм богини над морем исчез. Мы туда не завернем, мыса не обогнем; срежем, подыдемся в горы. Скалистые, тяжким трудом покоренные горы: над террасой терраса. Оливы, лоза и миндаль; миндаль, оливы, лоза. А мыс не один, их три: св. Антония первый; Нао второй — восточнейший, ничего восточней в Испании нет, напротив — Ибиса; и Пенъон де Ифач, грёбень крутой, ни дать, ни взять гibraltarская твердыня. Среди террас поднимаемся выше. Гата — старый город, стены и башни, дорога его не пререзает. Церковь его, она же и крепость. Так и дальше, в Бенизе (белые домики, чугунные решетки). Виноградники здесь дают вино Аликанте, но Аликанте впереди; скоро начнем спускаться к нему. А пока становится пустыней. Мы смотрим с птичьего полета на воронкообразные ложбины, сплошь в террасах, словно вырезанные в скале амфитеатры, один над другим, один пересеченный другим, сверху пересеченный или сбоку, вставленный, надставленный; и все это скалисто-землистого, но и лучистого, солнечного цвета. Мы спускаемся к морю. Кальпе. Альтёа. Скалы; ослепительная синева. И вдруг — что это такое? Калифорния? Чикаго? Остекленные, полированным металлом оснащенные высоченные постройки. Стоп. Толпа ожидающих, полмашины вылезающих. Бенидорм.

Не слышался? Нет, вот и надпись. Бенидорм... «Безмятежное светлое селенье, пропитанное синевой. Стены словно из пшеничных колосьев; прозрачные очертанья, словно соль. Дома, прилепленные к лимонного цвета скале; холщевые шатры рыбацких лодок. Среди сетей и весел смоковница источает густой, как смола, жаркий аромат». Так воспевал Бенидорм Габ-

риэль Миро, лет сорок назад. Приезжал из Аликанте. Любил, очевидно, этот мавританской памяти, мавританского имени рыбачий поселок; неторопливые дни; горячую тишину. Еще и после смерти, лет десять, пятнадцать спустя, мог бы дух его эти места посетить и все найти по-прежнему. Есть, пожалуй, остатки того и сейчас — вон мысок вдаль, низенькие домишки. Но слова восхищения напечатаны теперь в брошюре, раздаваемой туристам, где сказано также, что гостиницы Бенидорма могут им предоставить 4.608 постелей, а квартиры в новых домах еще 19.375, если же и этого окажется мало, то есть для вас по соседству четыре летних лагеря. Насчет пляжа не беспокойтесь: тут же он, рядом с асфальтом. Катитесь на всех на четырех, прикатили — бух! Или, обмазавшись жиром, ложитесь на песок, как в сардинную коробку. Одиночества не страшиться: двадцать пять тысяч соседей обеспечено. По ту сторону асфальта гляньте: двенадцать этажей, опять двенадцать, четырнадцать, восемнадцать, плоские сплошь как готовальни, а вон там, в одиночку, рыбий скелет без хвоста в землю врыт головой, шутка ли — тридцать этажей!

«Безмятежное селенье»... И подумать только: за какие-нибудь десять лет выросла вся эта небоскребы! Давно уж мы снова в пути, Вильяхойосу миновали, тридцать всего километров до Аликанте осталось, а я все в Бенидорме пребываю, от Бенидорма опомниться не могу. Какое синее море, какой чудесный свет, какой камень везде, солнечный, прогретый солнцем, и воздух какой — легкий-легкий, дышать им радость на этом блаженном берегу. Им дышать, а не бензином. Камень любит солнце, а бетон, ему все равно. Черепок, черепица, кирпич — это еще живое; как шкура и кожа, как древесная кора. Но мы, все что мы «творим», строим, сооружаем, в чем ездим, летаем, пусть оно и не из жести, а имя ему и всему о чем печемся, чем кичимся — жечь. Разбили машину, вот она, бросили у дороги — жечь. В жестяной коробке тряусь. Дотряусь — в жестяной коробке поселюсь. Умру — сунут в жестяной гроб.

У Сервантеса есть рассказ о человеке, вообразившем себя стеклянным. Как бы мы все не рехнулись помыслив себя жестяными. Разве не бьет жестяной колотилкой по жести наша музыка, живопись, литература? Жестяная ненависть, жестяная похоть, жестяная палба по жестянкам. Жечь, жечь, жечь...

Ослаби, остави... Сгинь, наважденье! Так же солнечно все

и, глянь налево, так же сине. Подъезжаем как будто. Южная сушь. Нет зеленей и канавок, как под Валенсией. Да и не так плоско. Скалы. Пальмы. Как? И здесь? Пляж, асфальт и песок, этажи, этажи... Не дорога уж больше, улица. Щебень, балки, железо: строят. Вся площадь разрыта. Едем вдоль двойной пальмовой аллеи, по ту сторону которой море, портовые сооружения. Пальмы — жирные, толстоствольные, вроде выросших вверх ананасов. Зрелый день еще не темнеет; созревает, желтеет. Грохочем, как и все кругом. Ожидаем. Стоим у огней.

Аликанте, Аликанте, звонкое у тебя имя.

6

Белых голубей тут кормят. Слетают с деревьев к вашим ногам, если присядете на скамью. Посередине — фонтанчик, сладенько-тщедушный, увенчанный бюстом: «Габриэль Миро. 1879-1930». Умер в Мадриде, но здесь родился, здесь и жил. Площадь, где садик, его именем зовется. Аликанте — родной его город. Прилагательное это не ко всем городам одинаково приложимо. Уроженец Нью-Йорка, Лондона говорит о своем городе, пользуясь тем же словом, но чувствует себя, пожалуй, скорее уроженцем Бронкса или Пимлико. Если скажешь «Арбат», разве не звучит это уютней, чем Москва, хоть и вся Москва в не столь давние времена была мастерницей уюта. «Большой город — большое одиночество». Это было сказано уже о Лондоне первой Елизаветой. Но Аликанте — город небольшой, и Миро, в самом сильном смысле слова, ощущал его родным — как и мне сейчас все еще чудится, в городе этом что-то родственное лирической его прозе.

Все еще... Не страницы эти истлели — разве что слегка пожелтели, рассыпчатыми стали; изменился город. Удвоилось население. Тридцать тысяч одних французов прибыло из Алжира. Домов понастроили вкось и вкривь. Третий день занимаюсь тем, что перемены отменяю, в скобки их заключаю, силюсь мысленно вернуться ко временам до перемен. Нелегкая это задача; прихожу отдыхать от нее сюда. Купил в киоске бело-голубиную, карамельно-фонтанную открытку; брр — лакированное небо, если б такой была его синева, дождь бы тогда поскорей; да, пожалуй, долго пришлось бы его ждать при двухстах семидесяти двух солнечных днях в году. Сажусь. За спиной — печатмт. Напишу; тут же и отправлю. Кладу открыт-

ку на колено. Сперва адрес. Чей? Да нет, не нужно адреса. Если б в памятнике был ящик, прямо туда бы и опустил. Из приятелей моих, никто, сколько я знаю, здесь не был: что им Аликанте? А ему...

Высокочтимый сеньор! Позвольте младшему собрату, хоть и не видали Вы его никогда, и не слышали о нем, послать Вам привет туда, на неведомый берег, со столь любимого Вами, Вашего, блаженного здесь, для нас, на земле; или, скорей, простите, блаженной памяти берега. В комнате своей постеснялся бы я Вам писать: истиницы этой при Вас не было, и отвели мне в ней номер ~~ни~~ двенадцатом этаже. Против нее, на хорошо Вам известной улице (Рамблой, узнал я, зовется, по примеру Барселоны) столь же рослое торчит строенье, сильно мне срезающее вид на Варварину скалу и крепость, в Ваше время царившую над городом, а нынче отрекшуюся от престола: над всем этим беспорядочным торчаньем (много их тут, этих дылд, есть и повыше моего) нельзя, да и скучно было бы ей царствовать. Крепость старая, крепкая и в разрушении; верно вы подымались туда часто, на ее солнечные камни поглядеть.

Под вечер, когда я приехал, треск и грохот был на Рамбле, а утром вышел на балкон: грохочут на ней и с утра. Вся она с балкона видна, до пальмовых аллей Эспланады у моря. Сразу подумал, узнали бы Вы ее, если б отпустили Вас с того берега на часок? Уверить Вас рад: не все дома новые, ни тут, ни вдоль Эспланады, и лавки не все новые (но, конечно, позапальчивей, чем прежде), а порт, он уже наверное и при Вас красотой построек не блистал; что же до судна какого-то углекотного, чумазого, которое там стоит, то ведь не навсегда оно там бросило якорь. Вот только возле сквера внизу, не доходя до пальм, строят и скоро достроят великана-болвана выше всех, лилово-бурого почему-то цвета, и еще не достроив размалевали боковую безоконную его стену тошнотворнейшим в шесть этажей плакатом... Пожалуйста, отвернитесь: помутится у Вас в глазах; мне и с балкона моего глядеть в ту сторону больно. Зато в самом этом сквере — Вы его знаете, помните какая там цустая, темная листва — и в ней, в кронах деревьев, к концу дня...

Сеньор, Вы их слышали? Птицы, птицы! Так громко! Невозможно громко, — радостно, ожесточенно; залуная весь этот нынениный машинный рев. Во всю птичью лотку. Дружно, упорно! Они Вашему Аликанте верны, сеньор.

На следующий день побывали мы в Эльче. «Полчаса на автобусе. Обязательная экскурсия. Пальмовый лес; пальмовые сады. Африканский город. Белые дома с узкими окнами и плоскими крышами. Жители, больше похожие на арабов, чем на испанцев, заняты плетеньем соломенных туфель, всем семейством на улице перед домом или в главной его нижней комнате. Есть гостиницы (скромные). Кафе-ресторан в городском саду». Так говорит путеводитель, очень недавний. Когда мы возвратились назад и с автобусного вокзала направились в гостиницу, путь наш был через «Площадь Габриэля Миро», и я послал ему оттуда вторую открытку, густопальмовую нынче, но с таким же преступно-лазурным небом фальшивомонетчиков.

Сеньор, забудьте этот городок. То есть нет, не забывайте, но довольствуйтесь тем Эльче, который с Вами пребывает там, где Вы теперь. Вероятно, и он не совсем таков, как в путеводителе: много я видел домов не с плоскою крышей и не белых, а прошлого века, плачевных и пыльных. Но должен сказать, что белых и с плоскою крышей я вовсе не видел, как и плетенья соломенных туфель (хотя, признаюсь, очень долго ни того, ни другого не искал), а пыль порождалась не одной лишь песчаной почвой и сущию: строили везде, строили и ломали. Сломали Ваш Эльче. Церковь Девы Марии на шестой год после Вашей кончины пытались сжечь. Не сожгли. Обгорела, не сгорела. В Успенье справляют старое ауто да фе: Богоматерь провожают на небо. Только ныне не август — апрель.

Под широким сводом было пустынно. Поклонился Мадонне в расшитом розами белом шелковом одеянии и вышел; но стало мне грустно. Подумал отчего-то: не чересчур ли легко отпускают Ее на небеса. Мы направились в пальмовый сад, глядели, хвалили, цуляли там долго, пили кофе; но грусть не проходила. Отчего не сохранили городка таким, каким жил он из века в век и дожил до нашего века; таким, каким Вы его знали? Воображаю его прежним. Дома, которые я здесь не нашел, видел я их мельком в Беннзе, в Альтее. Значит, на слов? Да и то сказать, не под стеклянный колтак же их ставить, ставить весь город. Не прощ ли в память его гостиницам соседним приморским разослать для показа в витринах монтаж из соломенных туфель? Не при-

шел ли конец и всем старым милым местам? Что думают, скажите, об этом на Вашем дальнем берегу? Откликнитесь. Ве-

сточку пришлите. Препоручаю эти строки одному из Ваших белых голубков.

Белые голуби лучше откормлены тут, и еще доверчивей, чем сизые у св. Марка. На их теплую белизну отдохновительно глядеть. Радуюсь, что они не такие, как там. Довольно у Венеции всего, надо чтобы у Аликанте осталось хоть это, голубиное. Чем ему еще похвалиться? Разве тем, что зимой здесь не холодно, а главное не сыро (как в Венеции) и летом нет изнурительной жары. Вместо сирокко, прохладная бриза (так, по крайней мере, уверяют). Двести семьдесят два дня пекишь, не варись, и блаженствуй. Но ведь город тут не причем; блаженствует весь блаженный берег, пожесточе жару отгоняя и на север, и на юг. А по части зодчества и других художеств ничего из ряда вон выходящего я тут найти и не ожидал.

Городом объявлен был Аликанте в 1490-ом году, но зданий старше XVII века тут не сохранилось. Богородичная церковь была перестроена к середине следующего века в том затейливом играющем, инсценирующем райскую беспечность стиле, что зовется в Испании чурригереско (Хосе Чурригера был главой семьи архитекторов), и в этом же духе украшен дом городского управления (аюнтамьенто), чем, однако, не устранилась его более раннему вкусу отвечающая нынешняя серьезность. Оба здания, церковь особенно, радуют глаз; о главной, св. Николая, сказать это было бы мало. Строитель ее неизвестен. Она в XVII веке воздвигнута, но задумана еще в традиции Эрреры, строителя Эскориала и — нет, заурядной ее не назовешь; заслуживает она гораздо большего внимания, чем до сих пор ей уделяли. Она теперь — собор; по размерам, а главное, по строгому величию внутреннего пространства, малоукрашенного, грозного почти в своей высокой простоте, она и достойна быть собором. Фасад ее (дополненный поздней) не замечателен, но впервые в нее войдя, сразу же был я покорен, вернулся на другой день, оставался там долго. Глядишь в ее купол, измеряешь ее взглядом, и покой воцаряется в тебе. Я не знал о ней, но понял, в ней побывав, что для нее одной стоило приехать в Аликанте.

Однако, я ведь приехал не для нее. Для берега приехал, и для города на берегу. Угадал, как мне казалось, его прелесть, хоть никаких изображений его и не видал. Что ж я — ошибся? Нет. Была эта прелесть. Улетает, но еще не совсем улетела. Все

эти дни я ее искал, бродил по ее следам. Изуродован (как почти повсюду от Антверпена до Пирея) порт. Зигзагообразным су-етливо-пестрым узором вымощена зачем-то Эспланада; пальмы противоестественным образом кажутся вырастающими из него. Понатыканные без толку «высотные здания» перекрикивают друг друга, нарушают все пропорции, превращают в недорослей прежние городские постройки. Винегрет вывесок. Мешанина машин. А все же проступает сквозь все эта старая соразмерность, старые ласковые очертанья, тех времен, когда строители считались с природой, землей, историей, а не с одной лишь геометрией. Чувствуешь, что некогда, что еще недавно можно было здесь жить, хорошо здесь было жить...

В третий раз пишу Вам, сеньор; тень Вашу тут, у фонтана, в последний раз потревожу. Ваш город запомню таким, как его знали Вы. Кажется, я Вам жаловался на что-то. По малодушию, простите. Все как было, все на месте. Посидел я только что в кофейне, где должно быть сживали и Вы. Голубой клочок моря за пальмами был виден, — голубой, но теплый: день уже склонялся к вечеру. Ветерок повеял нежнее нежного. Какой воздух, какой свет! Прогулялся по Эспланаде, где и Вы гуляли. Представил себе Вас, с тросточкой почему-то, в изящно изогнутой шляпе, слегка широкополой, каких больше не носят. Ваши пальмы, как они мощно разрослись! Не то, что у нас — на севере, в Париже — где всегда в них есть оранжевое что то, или оперно-буфетное. Золотили их искоса лучи. Крепость Санта Барбара, на своей скале, предзакатно пламенела; Вы мне показали бы ее тростью. В город я свернул. Улицы Ваши и улочки так же не спеша поднимаются вверх и спускаются к морю. В соборе снова побывал, и не хотелось мне оттуда уходить. Распятию поклонился, Христу Доброй Смерти, смежившему очи, смиренно склонившему главу на плечо. Оттуда к Вам и пришел. Проститься. Спасибо за Аликанте! С того берега поглядите какой благодатный осеняет нас вечер на земных блаженных берегах.

Возвращались той же дорогой. Была Барселона, ее размашистые рамблы, ее тесный соборный городок. Осматривал, — как и Валенсию, без настоящего усердия. Но та левантийская береговая полоса, там не в осматриваньи дело. Там и канавки и колодезные колеса хороши, там сама земля благословенна.

Особенно по эту сторону мыса св. Антония, где полоса эта всего шире, где на западе солнца, между морем и горами, ждут меня, поджидают изъязвленные, но все еще дышащие довольством и покоем темнозеленые роши Гесперид. Едва увидел я их, подумал: сюда вернусь, вернемся сюда... Не в Аликанте? — Не спрашивайте. Не знаю. Но не пожалею никогда, что в Аликанте побывал.

Из парижского моего окна гляжу на весь долгий пройденный путь и на эту недавнюю, вблизи, светящуюся тропинку. Никакой мерзости, ничего жестяного нигде не вижу. Конец дня, конец лета, теплый повсюду свет, соразмерность, тишина, и как будто тот самый, с моря, легкий-легкий ветерок. Что он значит, не хочу гадать, но хочется мне на лице ощутить тихое его прикосновенье. Разлюбил давно «Розу и крест», но не песню Гаэтана:

Мчится мгновенный век,
Снится блаженный брег.

В. Вейдле



Ни целовать тебя не смею,
Ни поглядеть тебе в лицо.
Ты стала для меня камеей,
Что вправлена в мое кольцо.

Ты вечно в профиль, вечно мимо
Глядишь и никогда в упор.
Ты в камне от меня хранима,
А с камнем кто вступает в спор!

Гляжу на непокорный локон,
На очертанье строгих губ
И будешь ты всегда упреком
За тех, кого не берегут.



Нынче вошел он в моду,
Знаменем непокорных,
В мокрую непогоду
Зонтик цветной, не черный.

Мне полюбился этот
Яркий, упрямый выпад
Против того, что летом
Дождик нехстати выпал.

Нет! Мы его не встретим
Траурною одеждой!
Нет! Мы ему ответим
Светлой, живой надеждой!

Если бы только вскоре
Так и с душою стало,
Так и она б от горя
Светлым себя спасала!



Будь благодарен новому цветку,
Что распустился за ночь на балконе,
Будь благодарен морю и песку,
Девической груди в твоей ладони!

Будь благодарен... — нет, не перечить
Всего, за что быть благодарным надо!
Вплоть до креста за низкою оградой —
Его могло не быть, а вот он есть!



Песнь моя часовней будет длиться
Всем открытой на земном пути.
Можно и войти и помолиться,
Можно мимо, не взглянув, пройти.

Ничего особенного нет в ней,
Именно часовня, а не храм,
Разве только ярче и заметней
Ангелы на всех иконах там.

Да в окно, что может быть строитель
Вправил в стену слишком высоко,
Небо как-то явственней струится,
Словно до него — недалеко.

Дм. Кленовский

ПИФАГОР

Не думайте, товарищ, что она кусается. Нет. Зовут Шарлоттой. А вас? Рыдаев? Ага. Так вот, товарищ Рыдаев, может быть, пройдемся? Это у меня как бы вечерний моцион. Для Шарлотты, разумеется, для нее. Слава Богу, есть бульвар и кусты. А вы тут где-то живете, товарищ Рыдаев? У Шабловки? Ага.

Да, я не назвался. Извините. Чечник, Алексей Модестович. Очень приятно. В случаях, когда меня спрашивают о профессии, я говорю: *почтовый* работник. Когда же спрашивают, где я служу, отвечаю: *в почтовом* ящике. Правда, правда. Мой адрес: Москва 24, почтовый ящик 0087699. Не верите? Ах, у вас шурин почтовик, ну тогда это вам не в новь.

Эй, Шарлотта, ты куда? Не смей. Там же грязно, мусор и все прочее. Ты лучше иди в ногу. Вот так. Не думайте, товарищ Рыдаев, что она не понимает. Пуделя — *сократы*. А Шарлотта отпрыск знаменитых пуделей академика Германа Гицерод. Слыхали? Он, собственно, мне ее, щенком, и продал. За сотню. Ага. А как же вы думали? Собаки — предмет роскоши. Странно, что их подходящим налогом не обкладывают...

Герман мой “шеф”. Под его началом в нашем почтовом ящике работают 65 докторов физико-математических наук. Все засекреченные, конечно, все члены КПСС и все с окладами за косяк в месяц. Я получаю полторы. Ведь на коммунизм трудимся, товарищ Рыдаев. Ага. И хотя Герман получает две косяка в месяц, а за Шарлотту пришлось заплатить. Сотню. Торговался, хотел больше, немчура московская. (Сам по-немецки ни в зуб ногой, а пуделям дает заранее немецкие имена. Одного даже назвал Бисмарк).

Шарлотта, не дури! Не задевай нормальных прохожих. Извините, гражданин.

Так вот, товарищ Рыдаев, если ваш шурин тоже почтовых

дел мастер, то я вам, по секрету, между нами, могу рассказать курьезную историю. О собаках. Вернее о собаке. Как вспомню, так и по сей день стыд берёт, хотя нынче говорят: “Стыд костей не ломит”. Хи-и-и...

Однако, я в порядке самокритики. Ага.

И учтите, товарищ Рыдаев, что я лично *там*, ну там, там, не сидел, но дядя мой, профессор-географ, там сидел, а дед мой, не буду называть его по фамилии, но теперь в Большой Советской Энциклопедии ему отведено две страницы. (Теперь. Ага), он *там* даже помер.

Шарлотта! Шарлотта, на место!

Словом, товарищ Рыдаев, три с половиной года назад я овдовел. Жена умерла. Долго, бедняжка, болела. Гипертония, конечно. Остался я, следовательно, в одиночестве. Сын на Дальнем Востоке. У него семья. Загрустил я, разумеется. И вот по совету сослуживцев и врачей поехал на курорт. Как бы развеяться. И поехал не в наш академический санаторий или в дом отдыха, там же скука и от ученых мужей прохода нет, а в Дом *Творчества* Литфонда СССР на Рижском взморье. Называется он “Дуболты”. (И все это место так называется) Слыхали? Нет? Это, копечно, по обменному фонду. Как бы смычка между писателями и учеными. Ага. На мое место в санатории Академии Наук СССР в Ялте послали какого-то *индустриального* поэта, а на его место в “Дуболты” послали меня, член-корра. Чечникá, Алексея Модестовича. Что ж, по идее неплохо. Да и вообще, скажу вам по секрету, товарищ Рыдаев, писатели народ веселый в основном, хотя и малость жуликоватый...

Один “сатирист”, с биноклем и значком “Крокодил”, вышел как-то на пляж, где лежали, преимущественно, писательские жены (жены творческих работников), и в моем присутствии, глубоко вздохнув, сказал: “Видите... тела давно минувших лет”. Сострил. Хи-и-и...

Пляж на Рижском взморье великолепный, песчаный и тянется километры. А за пляжем, по берегу, множество курортных построек и растительность, конечно. Надо заметить, что среди курортных построек, недалеко от Дома Творчества, находится роскошный, как писатели говорят, монументальный, *прав*

теперьшний дом, бывший дворец какого-то рижского миллионера, кажется, газетного магната, которого в 1939 году красная армия попросила убраться вон. (Он убрался) И в этом монументальном доме, с кремлевской охраной и, по слухам, с грузинскими поварами, нет-нет, а живут, вернее отдыхают, наши *вожди*, самые крупнокалиберные.

А где Шарлотта? Эй, Шарлотта! Вот чертовка... Ах, вот она. Что? Нет, паренек, она у меня не поет. Пуделя, как правило, не поют.

Так вот, товарищ Рыдаев, жил я, следовательно, в Доме Творчества Литфонда СССР, присматривался к нашим современным пушкиным, толстым и чеховым, купался, ел мороженное-суфле, и поигрывал на бильярде с металлическими шарами. (Наши столы — в Доме ученых в Москве — для царей) И ничего примечательного, если не считать совсем крошечное происшествие: пристала ко мне бездомная собака. Ага. Пристала и все. Худая, по рослая. И рыжая. Безо всяких следов породы, разумеется. И без ошейника. (Таких у нас пускают па мыло). И была она тихая, покорная, забитая. Пристала и все. Может быть почувствовала своим псиным сердцем, что я овдовел, что я в одиночестве, что мне нужна *компания*. Ходила за мной как тень. Сначала я ее от себя гнал, потом стало как-то совестно и я даже решил ее подкармливать остатками ужина. Я по сути дела вечером, после шести, не ем и давно завел такое правило. Писатели заявили мне, что в Латвийской ССР бездомных собак нет, что здесь прежние порядки и что наверное рыжую худобу завез какой-то “профсоюзный” деятель из РСФСР и оставил ее тут в знак протеста против европейских тенденций латышей. (Вероятно, писатели имели в виду курортников из соседнего дома отдыха ВЦСПС).

Ну, а я как-то в шутку прозвал эту рыжую худобу *Пифагором*. И так это поправилось писательской массе, что кто-то из куплетистов сочинил ребус на эту тему, в котором я был обозначен следующим образом: “ГУМ’анист”.

Прошло недели две, товарищ Рыдаев. Скажу честно, я даже привык к Пифагору, который, повторяю, не отлучался от меня ни на шаг. Я даже стал с ним разговаривать и обратил внимание

на то, что у него как бы добрые и весьма печальные глаза. Ага. Однажды мне показалось, что он посмотрел на меня так, словно сказал: "Эх ты, а еще член-корр...". Правда, правда. Я даже начал думать, что может быть Пифагор был создан лишь в последнюю минуту псом, а что поначалу Бог, или кто там другой, замыслили его, ну, скажем, проповедником или каким-нибудь там Диогеном.

Короче, подружились мы с худобой. И все было хорошо до тех пор пока не приехал в монументальный *правительственный* дом *Он*. Самый главный в кругу коллегалистов. Понимаете?

И сразу все в Дуболтах изменилось. Появилась московская милиция, мальчики в кепочках, машины с сиренами. В магазинах же изумленные курортники обнаружили египетские гранаты и болгарские помидоры в банках. Ну, писательская масса, разумеется, зашумела и к вечеру устремлялась на пляж, где обычно часов с семи происходит гуляние, в надежде посмотреть на *самого*.

Сам же из правительственного дома никуда и носа не высовывал.

Шарлотта, если ты устала, мы можем сесть. Присядем на скамеечку, вот сюда, товарищ Рыдаев. Благо она свободная и без гвоздей, кажется. Без? Отлично. А ты садись у моих ног, Шарлотта.

Так вот, товарищ Рыдаев. *Сам* в своем правительственном доме, вероятно, играл с начальником охраны в подкидного дурака или в шашки. А почему бы и нет? Мне рассказывали, что "коллегалисты" очень даже увлекаются шашками, во вне-рабочее время, конечно.

И все было хорошо до тех пор, пока...

Случилось, что в один прекрасный день, часов в пять, когда обычно на пляже никого нет, или почти никого нет, я вышел с Пифагором погулять. Сел на скамеечку, вот таким же манером и устремил взгляд на море. Замечу, между прочим, что скамейки есть только на территории пляжа Дома Творчества Литфонда СССР. С трудом выхлопотали через Министерство просвещения Латвийской ССР.

Итак, сел на скамеечку вот таким же манером и устремил

взгляд на море. Кстати, это было как раз у памятника латышу, который приложив руку ко лбу смотрит в сторону, кажется, Швеции. “Сатирист” с биноклем и значком “Крокодила” сказал мне полу-шепотом, что этот латыш, по общепринятой в республике версии, поджидает белые корабли с “освободителями”. Хи-и-и...

Ну, а у ног моих, товарищ Рыдаев, расположился Пифагор, вот точно таким же манером, как и Шарлотта.

И вдруг, вдруг я поворачиваю голову направо и вижу: совсем недалеко от меня, по берегу, идет группа людей. Еще не разобрав как следует что это за люди, я почувствовал, как сердце мое екнуло. И вслед за тем я увидел *Его*. Да, да, это был *Он*. Представляете себе, товарищ Рыдаев? Он в этот час должно быть решил выйти из монументального дома и пройтись по пляжу.

Скажу вам, что было в эту пору достаточно жарко. Стоял ведь июль. Солнце пекло здорово. Он же был в длинном, как у *наших* принято, сером коверкотовом пальто, из-под которого выглядывали темносиние и широкие, как шаровары брюки, на голове его была, как у *наших* принято, зеленая фетровая шляпа с загнутыми кверху концами, и вообще он абсолютно походил на начальника нашего института, генерала КГБ Бровинского, Анатолия Максимовича. (С месячным окладом в две с половиной копейки, включая: за погony, выслугу и пр.).

Вокруг *него*, разумеется, пла охрана, человек восемь, а то и десять. Упитанные такие, плечистые, метра по два в высоту (как баскетболисты), некоторые в сапогах, и все в кепочках и в пальто (июль!). Они как бы цепочкой обхватывали *самого*, начиная от моря и в сторону, где уже виднелись растения.

Он смотрел в даль, почему-то надув щеки и напружинив брови. Он шел быстро, точно куда-то торопился или это была, просто-напросто, его партийная походка. Некоторые из охраны следовали за ним вирипрыжку. Я подумал тогда: почему бы ему не остановиться и не подышать всей грудью, ведь воздух тут полезный, иодистый, вечером к берегу прибывает уйму водорослей. Нет, *он* торопился.

Так вот, товарищ Рыдаев, когда он со своей свитой при-

близился ко мне и Пифагору, ну метров на пятьдесят что ли, Пифагор вдруг, ни с того, ни с сего, обычно он ведь был спокойный, миролюбивый, тихий, вскочил, взметнул хвост вопросительным знаком, и пулей помчался *к нему*. Я не успел окликнуть Пифагора. Я не успел остановить его. Честное слово. Да, Пифагор помчался *к нему* и уже заранее начал оглушительно и достаточно гневно лаять. Это было просто-напросто чудовищно. Я никак не подозревал, что в этой рыжей худобе скрывается такой заряд ненависти, ярости. Я никак не подозревал, что Пифагор умеет *так* лаять. Я не подозревал, что он умеет *так* оскаливать зубы и *так* рычать. И почему, собственно, Пифагор решил обрушить все это на *него*? А он именно обрушил все это на *него*. Он не обращал внимания на “баскетболистов”. Он лаял и рычал на *него*. Почему? За что? Справедливо ли? Разве *он* посадил дядю или дедушку Пифагора?

Все это произошло, я подчеркиваю, столь неожиданно, что *он* даже оторопел и на секунду остановился. Затем он сделал попытку улыбнуться. Из этого ничего не вышло. Тогда он опять надул щеки, напрягнул брови и, не глядя уже на Пифагора, пошел полу-бегом дальше. А Пифагор не унимался, хотя “баскетболисты” отгоняли его и кричали на него. Представьте себе, товарищ Рыдаев, ведь Пифагор пытался *укусить его*. А что было бы если бы он укусил? Нет, охрана была на месте. Один из “мастеров баскетбольного мяча”, круглолицый такой, заорал на весь пляж:

“Где хозяин собаки?!”

И вот тут со мной... вот тут я почувствовал, что инстинкт все же самое сильное в жизни человека. Вот тут я вспомнил дядю и деда. И поверьте мне, товарищ Рыдаев, я это сделал помимо воли. В ответ на крик кагебиста, я просто-напросто повернулся спиной, изобразив из себя просто-напросто дремлющего на скамеечке курортника, “профсоюзного” деятеля, так сказать, тредюниониста. Я сделал вид, что ничего не слышу и никого не вижу, что все *это* не имеет ко мне никакого отношения и что уж, конечно, *не* я хозяин Пифагора. А поелику на пляже было еще несколько тредюнионистов и поелику Пифагор отделился от меня не будучи замеченным в первый момент охраной,

я вышел из воды *сухим*. Я только услышал после этого визг Пифагора, его отчаянный визг, видимо, кто-то из чекистов со всего маха пихнул его ногой. Я представил себе, конечно, как Пифагор, поджав хвост, бросился ко мне, ища защиты и поддержки, и как, увидя мою спину, он бросился в кусты и...

И исчез. Раз и навсегда, представьте себе. Исчез.

Я же плохо спал ту ночь. Переживал. Переживал это “предательство”. Хи-и-и...

Но вернувшись в Москву, я пошел к Герману и сказал: “Ставь меня в очередь на пуделя. Покупаю”.

Шарлотте скоро уже два года...

Пуделя — *сократы*. С ними никогда не произойдет того, что произошло с беднягой Пифагором.

Ты у меня умница, Шарлотта, и на рожон лезть не станешь. Зеваешь?

Товарищ Рыдаев... постойте... да куда вы... Товарищ Рыдаев! Товарищ...

Странно. Наклонился к моему уху, сказал, что я... извините, он произнес не совсем приличное слово. И ушел. Ушел. Ага.

Да ведь это житейская история. И потом: надо же ценить *сдвини*. Вот, слава Богу, можно с первым попавшимся на бульваре поговорить без спец. страха и даже в мелких грешках покаяться. Хи-и-и...

И потом ведь я плохо ночь спал. Совесть терзала. И ведь вот я завел Шарлотту, а кроме того читаю книги о собаках, хожу на собачьи выставки, словом, по выражению старшего научного сотрудника Ивана Душкина, пропах насквозь псиной, как и академик Гицерод.

Грешок искупаю как бы...

Чудак этот товарищ Рыдаев. За Пифагора обиделся, а сам может быть, когда Сталина хоронили слезы лил. У нас есть и такие.

Гражданка, не трогайте собаку. Она этого не любит. Она гордая. Пудель.

Ю. Кротков

ПРУД

Пруд — лесной импрессионист,
Старый князь древесного быта,
Как ты зелен и как ты мглист,
Мысль в глубинах твоих забыта.
Ты написан мазком густым,
Я легенд твоих не нарушу,
На тебе кругами застыл
Травянистый басок лягушек.
На конце своего пути
Солнце тычет в тебя ржавея,
Опрокинутые деревья
Могут в небо твое врасти.

РОДЕН НА ЭКРАНЕ

Роден вломился в плоть живую,
В ней пламя белое горит,
Блаженным чудом поцелуя
Чистейший мрамор разморив.
И вот возник из черной рамы
В квадрате ярком как витраж
До воска доведенный мрамор,
Ценнейшая из честных краж.
Она не блекнет и не стынет,
Любовью камень охватив,
Цветет на золотой холстине
Бессмертный диапозитив.

ЕЖЕВИКА

Шершавый лист и ежевика в колючках,
В чернильных бликах миниатюрных солнц.
Пахнут глухой крапивой плети ее ползучие,
И в плоских каплях на листьях цепенеет утренний сон.
Любому свои пределы, любому свой ум и толк:
Малина — красная девка, а ты, ежевика — волк.
Утро — веселый художник с папкой лесных этюдов
Пожалуй тебя не заметит и пройдет стороной.
Ты от него скрываешь свое негритянское чудо,
Свой иссиня-черный уголь, пыльно-блестящий зной.
Я потерял дорогу, руки мои в занозах,
Ежевика меня купает в синей своей росе,
Меня в зеленые плети знахарка лесная заводит,
А солнце жалит пребольно: вечером быть грозе.

ГОРНЫЕ ЛЕСА

Бурелом громоздится на склон,
В нем дремучая ель загрустила,
И зелеными звездами клен
Припекает поляне затылок.
Циклопический каменотес
Сквозь завал, в ледниковом разгроме
Валуны на вершину понес,
Да оставил ржаветь в буреломе.
А внизу — первозданный уют
И овраги не пахнут угрозой,
Даже эти леса признают
Столбовое дворянство березы.

Олег Ильинский, 1969

ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ*

Двадцатого сентября открылось кабаре Эвелины, — я вспомнил об этом накануне, разбирая письма и найдя приглашение, которое она мне послала. Этот день приходился на субботу и я остался дома, потому что думал, что в кабаре будет слишком много публики. Я пошел туда в ночь с понедельника на вторник.

Не все столики были заняты, оркестр играл как-то вяло. На эстраде известная певица — как это было объявлено в программе, и я никогда не слышал ее имени, — пела с одинаковой легкостью на всех языках сентиментальные романсы, переходя от американского репертуара к итальянскому и от мексиканского к русскому. Нельзя было понять, какой она национальности. Сначала я думал, что она американка, потом мне стало казаться, что она может быть итальянка, жившая в Соединенных Штатах и даже по-русски она пела без малейшего акцента. В конце концов оказалось, что она венгерка.

Эвелины не было видно и она появилась только через полчаса после моего прихода, войдя в зал из боковой двери. На этот раз она была в белом шелковом платье. В ее глазах, когда она переставала улыбаться тому или иному посетителю, вновь было то далекое выражение, которое я хорошо знал. Она увидела меня, подошла к моему столику, села против меня, отпила глоток шампанского из моего бокала, до которого я не дотронулся и спросила:

— Ты один? Ты никого не ждешь?

— Один, как всегда.

— Пойдем ко мне, поговорим, у меня тут рядом бюро.

Я пошел за ней. Мы вошли в хорошо обставленную комнату, украшенную многочисленными портретами артистов с ав-

* См. кн. «Н. Ж.» 92, 94, 95, 96, 97, 98.

тографами; я смотрел на эти выставочные лица и буквы, написанные нарочито размашистым почерком. Эвелина села на диван и указала мне место рядом с собой.

— Что у тебя хорошего? — спросил я. — Ты не изменила своего мнения о метампсихозе?

Она посмотрела на меня насмешливо.

— Ты хочешь, чтобы я тебе все объяснила?

— Нет, — сказал я, — в этом нет необходимости. Я хотел бы только тебе напомнить, что каждое твоё увлечение чем бы то ни было — философией Платона, к которой ты в своё время питала слабость, Бетховеном, литературой, современной живописью, чем угодно, вплоть до метампсихоза, возникает, моя дорогая, моя несравненная Эвелина, из твоих эмоциональных глубин, а не из предпочтения, основанного на выводах и рассуждениях.

Если бы это было иначе, я не была бы женщиной.

Я очень далек от мысли тебя за это упрекать.

У тебя всегда была эта особенность, — сказала Эвелина, — не называть вещи своими именами.

— Ты знаешь, почему? Потому что мне кажется, что так называемые свои имена не всегда соответствуют тому, что ты хочешь сказать. Свои имена, это вещи простые, а это далеко не ко всем подходит — к тебе в частности.

— Я хотела бы знать, — сказала она, — почему это так неизбежно — умирание каждого чувства?

— Это, милая моя, тема для Мервиля. Я думаю, что с ним тебе было бы легче сговориться, чем со мной.

— Его нет в Париже, — сказала она. — Ты знаешь, он так увяз в этой своей истории — я не представляю себе, чем все это кончится. Ты знаешь, что после её исчезновения они в конце концов встретились?

— Мне об этом говорил Артур.

— Очень темная история. Тем более, что **нет ничего легче**, как обмануть Мервиля, он всему верит. Любая женщина может его заставить сделать все, что она захочет. Если бы я могла ему помочь...

— Мне кажется, что сейчас ему помощь не нужна.

— Не знаю, — сказала Эвелина. — Мы это увидим. Но вернемся к тому, о чем мы говорили. Ты меня хорошо знаешь. Ты думаешь, я не заслуживаю лучшего, чем то, что у меня есть?

— Чего-то тебе нехватает для этого. Может быть, — я в этом не уверен до конца, — способности созерцания, углубления, что ли. У тебя все протекает бурно и стремительно.

— Это вопрос темперамента.

— Равновесие, Эвелина, вот то слово, которое я искал. И еще одно.

— Что именно?

— Я думаю, что для тебя важнее всего не тот, кого ты, как тебе кажется, любишь, а твое чувство, которое растет само по себе, развивается и потом постепенно слабеет и умирает. Но в этом чувстве ты, в сущности, одинока, как это ни кажется парадоксальным. Никто до сих пор не мог задержать его ослабления, как нельзя задержать развитие некоторых болезней. И никто тебе в этом не может помочь. Если когда-нибудь придет такое время, когда ты забудешь о себе и будешь думать только о том, кого ты любишь, а он, в свою очередь, будет думать только о тебе, — тогда, теоретически, ты испытаешь настоящее счастье. Может быть — понимаешь?

Она смотрела на меня, у нее были далекие и печальные глаза.

— Ты недоволощена, Эвелина, — сказал я. — До сих пор это тебе не удалось. Но может быть когда-нибудь удастся.

Выражение ее лица опять изменилось, в ее глазах снова появилась насмешливость, но голос еще хранил отражение того чувства, которое она только что испытала и поэтому странно не соответствовал ее взгляду. Она сказала:

— И тогда я предложу тебе написать обо мне книгу. Это избавит тебя от необходимости писать о выдуманных героях и героинях. Ты напишешь о том, как мутнеют мои глаза от охватившего меня чувства. Ты напишешь, как я сижу и плачу и мое лицо становится некрасивым от слез, потому что я думаю, что мой возлюбленный меня забыл. Ты напишешь, как мы медленно идем с ним ночью, под дождем и он держит меня

за талию и мои мокрые волосы свисают на плечи. Что ты напишешь еще?

— Я напишу, как ты просыпаешься утром и смотришь на лицо твоего возлюбленного до тех пор, пока он не откроет глаза, почувствовав на себе твой взгляд.

— Ты этого не забыл? — сказала она. — Ты знаешь, мой дорогой, один из твоих недостатков, это твоя память, которая тебе никогда не изменяет.

— Если бы ее у меня не было, Эвелина, — как я мог бы написать о тебе книгу?

— Ты хочешь, чтобы я сделала тебе признание?

Признание?

Да. Ты знаешь, почему я тебя люблю?

Ты меня не любишь.

Я знаю, что я говорю. Я люблю тебя за то, что ты — живое напоминание о сожалении, которое я испытываю. Я думаю: как жаль, что мы не можем быть вместе. Как грустно и приятно в то же время думать о том, что могло бы быть и чего нет и как жаль что этого нет. Ты для меня — напоминание о возможности счастья, которого нет.

— Мы с тобой еще поговорим об этом, — сказал я. — Сейчас поздно, надо идти домой.

И я встал с дивана. Она протянула мне руку с кольцом в котором сверкал фальшивый брильянт.

— Спокойной ночи, — сказала она, — и в ее голосе прозвучала та нежная интонация, которую я слышал два или три раза, несколько лет тому назад и которой я не мог забыть все эти годы. — Хорошо, что ты все-таки существуешь и я знаю, что если наступит день, когда у меня ничего не останется, когда я буду бедна и несчастна, я приду к тебе и ты отворишь мне дверь.

— Ты знаешь очень хорошо, — сказал я, — что пока мы есть, Мервиль и я, ты никогда не будешь без крова и без средств.

— Самая большая ошибка, — сказала Эвелина, — это сжигать за собой все мосты. Спокойной ночи — и не забывай меня.

— Кто может тебя забыть? — сказал я, уже уходя. — Даже если бы он хотел?

Я вышел на улицу. Была теплая сентябрьская ночь и я невольно вспомнил декабрьский холод, когда я был первый раз с Мервилем в кабаре Эвелины. С тех пор прошло десять месяцев — после этой второй встречи Мервиля и Лу. — Что он в ней нашел? В десятый раз задавал я себе этот вопрос, совершенно бесплодный и беспредметный, ответ на который терялся в бездонной глубине бесчисленных совпадений, долгого ожидания, сожалений и надежд. Я шел вверх по пустынным в этот час Елисейским Полям и думал о мире, в котором я жил и который пытался определить знакомыми мне понятиями. Но их хватало только для изложения фактов и нескольких выводов, не имеющих особенной ценности. И они оказывались несостоятельными, когда я пытался найти подлинные причины того, что происходило. Я давно привык к этим постоянным и неизбежным неудачам. Все, что я знал, все, что я мог сказать, было приложимо, в сущности только к неподвижным вещам, к тому, что прошло и кончилось. И в этой застывшей раз навсегда неподвижности того, что перестало существовать, выводы и заключения вновь приобретали смысл, которого у них не было при других обстоятельствах. — Мы можем судить о значении и смысле той или иной человеческой жизни только после того, как она кончится, — думал я. — Потому что, пока она движется, вчерашний герой может стать преступником или порядочный человек растратчиком чужих денег. Я знал профессионального вора, который стал всеми уважаемым священником, знал шулера, который стал знаменитым артистом, знал профессора философии, который стал нищим и бродягой, знал людей, которые, казалось, могли многое дать и не дали ничего и знал других, над невежественностью которых все смеялись и которые стали учеными. Эти неожиданные и необъяснимые, казалось бы, превращения совершенно меняли наше представление о них, их психологический облик, в определении которого мы так жестоко ошибались и это было доказательством нашей ор-

ганической неспособности отличить в истории человеческой жизни то, что в ней было самым важным и существенным. И только смерть, останавливавшая навсегда это движение, давала ответ на те вопросы, которые еще накануне казались бессмысленными и теперь приобретали все свое, столь очевидное значение.

Елисейские Поля давно остались позади. Я шел и продолжал думать о том, о чем я думал всегда, всю жизнь, везде, где я был. Всегда были эти одинокие прогулки — в России, во Франции, в Германии, в Италии, в Америке, всюду, куда заносила меня судьба. Менялись города, страны, пейзажи, но не менялось только одно — это непрерывное и медленное движение ощущений и мыслей, то, о чем мне как-то сказал Жорж:

— В сущности, в знаменитой фразе Декарта нужно было бы переставить глаголы: не “*Cogito Ergo Sum*”, а “*Sum Ergo Cogito*”.

— Откуда у тебя такие идеи? — сказал ему Мервиль. — Ты, по-моему, думаешь больше всего о том, сколько ты истратил денег и испытываешь по этому поводу глубокую и неподдельную печаль. Любую философскую систему тебе заменяют простейшие арифметические действия, сложение и вычитание.

— То, что ты говоришь, — ответил Жорж, — свидетельствует о твоём неумении или нежелании понять человека, который непохож на тебя. Ты не понимаешь, что деньги, это символ власти. Нищий, который сидит на грудe золота, знает, что он король, что он может сделать все. И потому что он знает, что в его руках власть над людьми, одного этого ему, как созерцателю, достаточно. Так он и живет — властелин в лохмотьях и ты находишь, что в этом нет какого-то библейского великолепия?

— Нет, милый мой, — сказал Мервиль, — не только нет библейского великолепия, а есть то, что наш общий друг — он показал на меня — как-то назвал моральным идиотизмом. Ты говоришь о потенциальных возможностях, но если они не использованы, то остается неподвижность и бессилие, — какой тут к чорту король? Тем более, что твой нищий умирает на своем золоте, которое тянет его вниз, как мертвый груз, так и

не сделав ничего в своей жизни — не потому, что он этого не хотел, а оттого, что не мог.

— Ты никогда не поймешь, что такое деньги, — сказал Жорж, — хотя их у тебя больше, чем у всех нас, вместе взятых. Но это величайшая несправедливость, это ошибка слепой судьбы.

Я вспомнил об этом разговоре Мервиля и Жоржа, людей со столь разной судьбой, точно их создал и придумал какой-то насмешливый и жестокий гений. Но что вообще характернее почти для всякой человеческой жизни, чем повторение этих двух слов — ошибка и несправедливость ?

— Ты понимаешь, такие люди, как я, которые созданы для спокойной жизни без материальных забот...

Это были слова Андрея, когда мы все как-то ужинали у Мервиля. И Эвелина сказала, смотря ему в лицо холодным взглядом своих синих глаз:

— Откуда ты знаешь, для чего ты создан?

— Ты считаешь, что у человека нет определенного назначения на земле?

Есть, но не у всех.

— Что ты хочешь сказать?

— Ну вот, Мервиль создан для того, чтобы делать глупости и тратить деньги. Он — она кивнула головой на меня — для того, чтобы заниматься литературой, в ценность которой он не верит, жить в воображении жизнью других и делать из всего, что он видит и чувствует, выводы и заключения, чаще всего ошибочные. Жорж, твой брат — для того, чтобы своей жизнью доказывать, что может существовать такое соединение — жалкая скупость и исключительный поэтический дар. Но для чего ты создан, этого никто не знает.

— Эвелина, ты когда-нибудь кого-нибудь пожалела в твоей жизни? — спросил, улыбаясь, Мервиль. У Эвелины с актерской быстротой изменилось лицо, как будто осветившись внезапно возникшим чувством и тотчас же, следуя за выражением глаз, изменился ее голос.

— Да, мой дорогой, — сказала она, — жалела — и прежде

всего тебя. И не только тебя, — добавила она, взглянув в мою сторону.

— Эвелина, — сказал Жорж, — если бы каждый из нас сделал тебе предложение, как бы ты ответила на это?

— Отказом, — сказала она, — отказом, но по разным причинам. Тебе — потому, что я тебя презираю. Андрею — потому, что он не мужчина. Мервилю и моему дорогому другу — она положила мне руку на плечо — потому, что я их люблю и не желаю им несчастья. И единственный, кому я не ответила бы отказом, это Артуру, потому что он не сделал бы мне предложения. Но это мне не мешает испытывать к нему нежность.

Позже, когда все разошлись, и мы остались вдвоем с Мервилем, он мне сказал:

— Ты знаешь, мне иногда кажется, что Эвелину создал задумчивый дьявол, в тот день, когда он вспомнил, что когда-то был ангелом.

Вспомнил ли? — сказал я. — Я в этом как-то не уверен.

Ее мать голландка, — сказал Мервиль, — отец испанец. Но все не так, как это можно было бы себе представить. У ее матери была бурная жизнь и неутолимая жажда душевных движений — ты понимаешь, что я хочу сказать. Ничего северного, голландского в ней нет. А отец Эвелины — один из самых меланхолических и спокойных людей, каких я видел, меньше всего похожий на испанца. Результат этого брака — Эвелина. И вот теперь, ты видишь, она вносит в нашу жизнь элемент абсурда, без которого иногда было бы скучно. Мне порой кажется, что она все это делает нарочно, потому что она действительно умна и все понимает, когда находит это нужным.

— Станный у нас все-таки союз, — сказал я. — Мы очень разные — Эвелина, Андрей, Артур, ты и я. Но вот, наша связь не рвется ни при каких обстоятельствах. Что, собственно, нас объединяет?

— Может быть то, что никому из нас до сих пор не уда-

лось стать счастливым. Или — что было бы печальнее — никто из нас не способен быть счастливым.

— Во-первых, одного этого недостаточно. Во-вторых, я в этом не уверен. У меня, например, как мне кажется, очень скромные требования к жизни и, я думаю, будь всё чуть-чуть лучше, я мог бы быть совершенно счастлив.

— Я не могу поверить, что у тебя есть эта иллюзия, — сказал Мервиль. — Твоя память перегружена, твоё воображение никогда не остается в покое и даже когда тебе кажется, что ты ни о чем не думаешь, в тебе все время идет упорная работа и это продолжается всю твою жизнь. Быть счастливым, это значит забыть обо всем, кроме одного, — блистательного чувства, которое ты испытываешь. Но ты никогда ничего не забываешь. Нет, милый мой, до тех пор, пока ты не изменишься и не станешь таким, каким ты был раньше — мы все помним, каким ты был несколько лет тому назад — до тех пор ты не способен стать счастливым.

Не забудь, что иногда я погружаюсь в блаженное небытие.

Это потому, что твой организм требует отдыха, — сказал Мервиль, — это как потребность сна. Не смешивай это с другими вещами.

Я подходил к своему дому. Он стоял на маленькой улице, довольно далеко от центральных районов города и эта улица, с узким пространством между ее зданиями, когда туда проникал солнечный свет, напоминала мне гравюру в темных тонах. Но в свете электрических фонарей это впечатление терялось.

Я поднялся на лифте на свой этаж и, подходя к двери, услышал, что в моей квартире звонит телефон. Кто мог вызывать меня в этот час, на рассвете сентябрьской ночи?

Далекий женский голос спросил по-английски, но с резким иностранным акцентом, я ли такой-то. После моего утвердительного ответа, женщина сказала:

— С вами сейчас будут говорить.

Через несколько секунд голос Мервиля сказал:

Я хотел знать, все ли у тебя благополучно.

— Как всегда, — сказал я, — откуда ты звонишь?

Из Мексики.

Как ты туда попал?

Мы тут задержались на некоторое время. В недалеком будущем мы вернемся в Париж и я тебе все расскажу. Ты видел Артура?

— Он живет у меня.

— Значит, главное ты знаешь. Я давно хотел тебе позвонить, но как-то не получалось. Ты понимаешь, трудно это сказать в нескольких словах, все так необыкновенно...

— У тебя часто бывают необыкновенные вещи, — сказал я. — Буду ждать твоего приезда.

На этом разговор кончился и, ложась спать, я подумал — почему Мервиль оказался в Мексике, что это могло значить?

Утром Артур мне сказал, что ему снилось, будто ночью звонил телефон, но когда он проснулся, в квартире было тихо.

— Ты видишь, — сказал он, — насколько обманчивы наши представления и насколько неверны даже те ощущения, которые возникают из таких, казалось бы, конкретных вещей, как пять чувств. Мне снится, что звонит телефон, это происходит от раздражения уха. Мое воображение, под влиянием сна и звуковых воспоминаний создало это впечатление, которое не соответствует ничему реальному. Наше восприятие, это сны, воспоминания, ощущения, значение которых от нас ускользает, это ежеминутно меняющийся мир, природа которого тоже не какое-то постоянное понятие. Вся непостижимая сложность нашего душевно-психического облика, который тоже...

— Подожди, — сказал я. — Все, что ты говоришь, может быть верно...

— Мы не знаем, что верно и что неверно. Когда ты вступаешь в область категорических утверждений, единственное, в чем ты можешь быть уверен, это в их несостоятельности.

— Ты мне не даешь договорить. Дело в том, что вчера ночью в моей квартире действительно звонил телефон. Ты это услышал во сне, но проснулся не сразу и когда ты открыл глаза, то все уже было тихо. А тихо было потому, что разговор

по телефону был очень короткий. Так что вся твоя тирада о недостоверности и неопределимой природе наших ощущений произнесена зря.

Кто тебе мог звонить в это время?

Мервиль.

Мервиль? Откуда?

Из Мексики. Он сказал — мы в Мексике.

Ах, опять эта женщина, — сказал Артур. — Я чувствую в ней что-то враждебное и не могу от этого чувства избавиться. Она тебе нравится?

— Нет, — сказал я. — Я провел с ней некоторое время, довольно короткое, и нашел, что это крайне утомительно.

— Я думаю, что она должна приносить несчастье всем, кто с ней сталкивается. И мне искренно жаль Мервиля, я за него боюсь.

— Ты уже говорил мне об этом, — сказал я. — Но какие у тебя основания для этого?

— Я не могу тебе объяснить. Это интуиция. Конечно, логически, чего, казалось бы, бояться? Но вспомни, что Андрей так же думает, как я.

— Все это решительно ничего не доказывает.

— Дело не в доказательствах, а в ощущении. Если ты будешь ждать доказательств или фактов, то может оказаться, что будет слишком поздно. Посмотри — ты, Андрей, Эвелина, я — мы все к ней относимся отрицательно не потому, что она нам сделала что-то дурное, а инстинктивно и это недаром.

— Почему ты считаешь, что твой инстинкт — или чей-либо другой — безошибочен, а инстинкт Мервиля вдруг оказывается не таким, как нужно? Почему ты думаешь, что прав ты, а не он?

— Я ничего не думаю, я чувствую и очень жалею, что этого чувства Мервиль не испытывает.

— Рано или поздно мы увидим, кто в конце концов окажется прав.

— Мне не хочется даже думать об этом, — сказал Артур.

На следующий день Артур исчез, — как это с ним уже

неоднократно бывало, — не оставив, по обыкновению, даже записки. Утром, когда я проснулся, его уже не было. Комната, в которой он жил, была в идеальном порядке, все стояло на своем месте. Но шкаф, в котором висели его костюмы, был пуст и коврика, на котором спал Том, не было. Артур прожил у меня недолго, но я успел привыкнуть к его присутствию, которое никогда не было стеснительным, привык слышать его быструю походку, его голос, видеть его за столом или в кресле, и мне показалось, что в квартире стало пусто. Я годами жил один, никогда не думал о своем одиночестве и его не чувствовал. Но после ухода Артура я вдруг по-новому понял, что я опять остался один и на этот раз мне было как-то неприятно, — точно Артур не был моим случайным и временным гостем, а был человеком, присутствие которого мне стало казаться естественным и почти необходимым. Я знал, что рано или поздно он вернется. Но он мне был нужен именно теперь, потому что пока он жил в моей квартире я, в свою очередь, был нужен ему и от этого мое существование переставало казаться мне совершенно бесполезным.

Я думал о своих друзьях. У каждого из них было что-то, чего у меня не было, чаще всего чувства, которое искало бы выхода или удовлетворения, интерес к искусству или философии, наконец просто стремление к спокойствию и обеспеченности, как у Андрея. У Артура были бурные страсти, над которыми мы смеялись, потому что нам они казались непонятными — в том смысле, что мы не были способны даже отдаленно себе представить, что могли бы испытать нечто подобное. У Мервиля был его «лирический мир» и поиски эмоционального равновесия, у Эвелины — своя собственная жизнь, в которой она, как актриса, играла то ту, то другую роль, чаще всего роль возлюбленной, и жестокий ее эгоцентризм. Правда, в отличие от Мервиля и Артура, она знала, избегая в этом признаться даже самой себе, что это все было похоже на вздорный мираж, и что в этом не было ни подлинного чувства, ни подлинного увлечения. Ее существование однажды очень правильно определил Мервиль, сказав, что для него в одинаковой степени характерны две особенности, которые, казалось бы, должны

были исключать друг друга: глупейшая жизнь — и несомненный ум. И когда после этих размышлений я возвращался к мыслям о самом себе, я думал, что у меня не было ничего, чем жили мои друзья, — даже возможности хотя бы на короткое время представить себе, что все идет так, как нужно и что я именно этого хочу. Вместе с тем, когда у меня проходила душевная усталость, которая чаще всего отравляла мое существование, как постоянно действующий медленный яд, мне казалось, что в известных условиях, — как это было до тех пор, пока Сабина была со мной, — все могло бы быть совершенно иначе, чем теперь. Но об этом я никогда никому не говорил.

Я принялся за чтение, которое прерывал обычно приход женщины, которая убирала мою квартиру три раза в неделю, немолодой испанки, чрезвычайно словоохотливой, бросавшей работу, когда она начинала мне что-нибудь рассказывать. Работать и говорить одновременно она не могла и получалось впечатление, что произносить слова и составлять из них фразы, требовало от нее такого же усилия, как мыть окна или посуду. У нее не было точной границы между речью и движением, так, как будто в ней духовный и физический мир были одним целым. Она неоднократно рассказывала мне разные эпизоды своей жизни и если бы я понимал как следует то, что она говорила, я, вероятно, хорошо бы знал ее биографию. Но мне почти никогда не удавалось, несмотря на все мои усилия, понять то, что она говорила. Она была убеждена, что говорит по-французски, но, насколько я мог составить себе об этом представление, это была странная смесь безжалостно исковерканных французских слов с испанскими, смесь, в которой существительные иногда были похожи на французские, но глаголы были испанские. И если мне удавалось понять то или иное существительное, то я не знал, что с ним происходило, потому что эти обозначения предметов или фактов были связаны между собой словами, значение которых от меня ускользало. Она мне как-то рассказала, что когда она была на похоронах своей матери, она встретила там человека, который впоследствии играл очень важную роль в ее жизни. В то время, как, кончив свой рассказ, она принялась за работу, ко мне пришла Эвелина, ко-

торой я сказал, что вот, уборщица рассказала мне, как на похоронах ее матери...

— Ты уверен, что ты все правильно понял? — спросила Эвелина.

— Нет, — сказал я, — но мне показалось...

— Подожди, я ее спрошу.

Последовал быстрый разговор по-испански между Эвелиной и уборщицей и потом Эвелина сказала:

— Она говорит, что не могла быть на похоронах своей матери, потому что в это время была в другом городе и была связана с человеком, который был ничтожеством и не играл в ее жизни никакой роли, она с ним очень скоро рассталась и никогда об этом не жалела.

— Ну да, — сказал я, — это подтверждает то, что я давно подозревал: я понял некоторые существительные, но не понял глаголов.

— Что важнее? Глаголы или существительные? — сказала Эвелина.

— Вероятно, все-таки, соответствие между ними, — сказал я.

По мере того, как проходило время, я замечал, что многих книг, которые я брал с полки, я не мог читать, их несостоятельность начинала мне казаться очевидной с первых же страниц. Я вспомнил, как мне попались путевые записки автора, который одно время пользовался некоторой известностью. Я открыл его книгу и первая строка, которую я прочел, была такая:

«Я приближаюсь к морю. Знает ли оно, как я его люблю?»

На этом мое чтение его записок кончилось и у меня не хватило мужества читать дальше. Но пример этой риторической глупости далеко не был единственным или исключительным. Если бы я читал эту книгу много лет тому назад, я бы продолжал все-таки искать в ней что-нибудь, что заслуживало бы внимания. Но длительный опыт научил меня тому, что эти поиски обычно оказываются бесплодными и теперь у меня не было желания терять на них время. В результате этого круг моего чтения все время суживался, как шагреневая кожа.

Я сидел в кресле и перечитывал еще раз «Войну и мир», —

это было через три дня после ухода Артура, был шестой час вечера, — когда раздался телефонный звонок. Звонила Эвелина, сказавшая, что ей нужно со мной поговорить и она придет через двадцать минут.

Когда она вошла в квартиру, у нее было такое выражение лица, по которому было видно, что она только что приняла очень важное решение.

Чем я могу тебе быть полезен? — спросил я.

Ты не хотел бы стать моим компаньоном?

Компаньоном? — сказал я с изумлением. — В чем?

— В моем деле. Я знаю, что ты в этом ничего не понимаешь, но твоя роль была бы очень скромной, ты был бы только юридической фикцией.

— Худшего выбора ты не могла бы сделать, — сказал я, — и ты должна это знать. Какое дело? Твое кабаре?

Да, — сказала она. — Оно приносит некоторый доход.

— А Котик?

— Котик, — сказала она, — это прошлое, и вдобавок такое, которым гордиться не приходится.

— Это было ясно с самого начала, — сказал я. — Но что изменилось и что произошло?

— Я не могу больше выносить его утомительной глупости, — сказала Эвелина. — Я сделала все, чтобы придать этому видимость какого-то приличия, но это невозможно. Ты знаешь, в чем мой главный недостаток?

— Для этого следовало бы знать, какой из твоих недостатков ты считаешь главным?

— Тут ты не мог удержаться, — сказала она. — Но не будем спорить. Я только хотела сказать, мой милый, что ничего не может быть грустнее, когда женщина умнее своего любовника. А со мной это всегда именно так и происходит.

— Ты считаешь, что каждый раз это случайно?

— Вероятно, мне не везет.

— Нет, моя дорогая, — сказал я. — Будем откровенны. Я тебе, помнится, как-то сказал, что ты выбираешь тех, над кем ты чувствуешь свое превосходство. Если этого нет, тебе неинтересно. Вместе с тем ты хочешь себе внушить, что вот на-

конец ты нашла кого-то, кто достоин твоего чувства. Я никогда не мог понять, зачем ты это делаешь. В тебе есть какой-то постоянный разлад между душой, умом и твоей эмоциональной жизнью. Ты испытываешь, скажем, влечение к человеку, глупость которого для тебя очевидна. Это могло бы быть длительным, если бы твои душевные и умственные способности были раз навсегда атрофированы. Ты пытаешься их нейтрализовать, но это тебе никогда до конца не удастся, и ты знаешь, что это не может удасться. Я только напоминаю тебе элементарные истины, Эвелина. Помнишь наш с тобой разговор о Котике и метампсихозе? Мы оба знали с самого начала, насколько это было глупо — и ты знала, что я это знал.

— Это было нетрудно, — сказала она. — Ты, впрочем, этого не скрывал. Но и тогда, во время этого разговора, я очень хорошо знала, что Котик уйдет и будет забыт, как старая тряпка, а ты останешься.

Она задумалась на минуту и потом сказала:

— Посмотри в окно.

Начинались сумерки, шел холодный дождь и казалось, что наступала настоящая осень. И я вспомнил недавние летние дни, Ривьеру, буйабес, Адриатическое море и Лидо ди Венеция.

— Мы сидим с тобой здесь, — сказала Эвелина — и есть в этом что-то необыкновенно уютное, ты не находишь? Но через некоторое время я уйду и ты останешься один со своими невеселыми мыслями. А я вернусь к себе и увижу Котика, который лежит на диване и читает книгу об индусской мудрости, в которой он ничего не понимает. И если бы он был немного умнее, он бы думал, — как хорошо, что существует дура, которая обо мне заботится и которая только в последнее время проявляет некоторую непонятную холодность. А если бы он был еще умнее, он бы понял, что ему осталось мало времени до того дня, когда он лишится этой женщины, которую он напрасно считает душой.

— А если бы он был еще умнее, — сказал я, — то он никогда не пользовался бы расположением этой женщины и не занимался бы метампсихозом.

— Мне иногда кажется, — сказала она, — что ты мне мстишь за то, что я тебя слишком хорошо знаю и что ты меня не можешь обмануть.

— Я никогда тебя не старался обмануть.

— Нет, не обмануть в буквальном смысле слова, — это действительно тебе не свойственно. Но ввести меня в заблуждение, сделать так, чтобы я поверила в твой мнимый академизм и твою отрешенность от суетных забот. Это тебе не удастся и у тебя остается против меня одно оружие — насмешка и ирония. Но этим оружием ты пользоваться как следует не можешь. И ты знаешь, почему?

— Потому, что я никогда не хотел тебя обидеть.

— Верно, — сказала она. — А почему? Хочешь, я тебе скажу? Потому, что ты меня любишь.

Эвелина!

— Ты будешь это отрицать?

— Самым категорическим образом!

Она посмотрела на меня так, как умела смотреть только она и глаза ее стали близкими, теплыми и нежными. Потом их выражение медленно изменилось и она сказала:

— Категорическим образом, мой дорогой?

— Самую правильную вещь о тебе сказал один из наших общих знакомых, — сказал я, — что тебя создал однажды задумчивый дьявол, — в тот день, когда он вспомнил, что раньше был ангелом.

— Мервиль? — спросила она, засмеявшись. — Это на него похоже и это могли обо мне сказать только два человека — ты или он.

В последнее время мои разговоры с Эвелиной стали происходить гораздо чаще, чем раньше. Во время одного из них я еще раз откровенно высказал свое мнение о теперешнем периоде ее жизни и, вопреки ожиданию, она почти не защищалась и была готова согласиться со мной.

— Ты не думаешь, в частности, что роль владелицы ночного кабаре тебе мало подходит? Этот обязательный дурной вкус, эти посетители, что может быть более презренного?

— Никто из нас не святой, — сказала она, — ни ты, ни я. Но ты напрасно так упорно убеждаешь меня. Кто тебе сказал, что я до конца жизни останусь собственницей *Fleur de Nuit*?

Я несколько раз с удивлением спрашивал себя, почему, собственно, теперь вопрос о том, что делает и как живет Эвелина так занимал меня. В конце концов, — не все ли равно, хотела ли она открыть театр или экспортное предприятие? Такой эпизод тоже был в ее жизни и она обнаружила незаурядные коммерческие способности, но увлеклась одним начинающим композитором и уехала с ним в Италию, бросив все почти на произвол судьбы и передав доверенность на ведение дел Мервиллю, который быстро ликвидировал их с довольно крупной выгодой и когда Эвелина вернулась в Париж одна, он передал ей значительную сумму, от которой через короткое время не осталось ничего и Эвелина уехала навсегда, как она сказала, в Южную Америку. Ей был устроен прощальный прием с шампанским у Мервиля и Эвелина говорила, что никогда нас не забудет. — К сожалению, — сказал я, не удержавшись. — Неблагодарный, — смеясь ответила она. — Пойми, что ты можешь быть никогда в жизни меня больше не увидишь. — Мы приедем к тебе в Южную Америку, Эвелина, — примирительно сказал Мервиль, — и мы тебя тоже не забудем.

Через год после этого, зимой, вечером, в квартире Мервиля раздался звонок, горничная отворила дверь и мы не успели подняться из-за стола, за которым ужинали, Мервиль, Артур и я, как на пороге показалась Эвелина в норковой шубе и с брильянтовыми серьгами в ушах.

— Эвелина во всей ее славе, — сказал Мервиль. — Я надеюсь, ты с нами поужинаешь?

Эвелина сняла шубу, которую отдала горничной, села за стол и сказала:

— Спасибо за приглашение. Поужинаю и останусь ночевать, а завтра я подумаю о дальнейшем.

И когда она вышла из столовой, чтобы заняться туалетом, Артур сказал:

— Эвелина, это своего рода мemento мори. Она неизбежна, несокрушима и ничто не может ее остановить.

— Это верно, — сказал Мервиль. Но согласись, что она неотразима.

— Несомненно, — сказал Артур.

— И что в этом есть что-то приятное, — сказал я.

Я вспомнил об этом, когда Эвелина снова была у меня, и заговорила о Котике.

Откровенно говоря, мне его жаль, — сказал я.

— Почему?

— Потому, что ты ввела его в заблуждение. Это ты создала вздорную иллюзию любви и взаимного понимания. Насколько я мог себе составить о нем представление, он человек беззащитный, он всему этому поверил, не зная, что с твоей стороны это был только каприз, который тебя ни к чему не обязывал. Ты понимаешь, моя дорогая, что ты несешь ответственность за свои поступки. Если ты действуешь определенным образом, из этого надо делать определенные выводы. Ты берешь на себя известные моральные обязательства и потом ты от них уклоняешься.

— Ты говоришь так, как будто все можно подвести под какие-то правила. Выходит, что если я делаю глупость, то я всегда, всю жизнь должна за нее расплачиваться. Я должна отказаться от всего, что мне еще, быть может, предстоит и посвятить свое существование заботам о Котике? Ты говоришь обязательства. Но когда речь идет о чувстве, которое умерло или умирает, то о каких обязательствах можно говорить? Я понимаю, — если есть семья, дети, быт. Но если ничего этого нет?

— Пойми меня, я Котика не защищаю. Я обвиняю тебя в неосмотрительности, в том, что ты склонна уступать какому-то чувству, которое не может быть ни глубоким, ни длительным, — и ты это знаешь. Проснись, наконец, чорт возьми, и начни жить по-человечески.

— А ты не думаешь, мой дорогой, — сказала она изменившимся голосом, — что ты обо мне лучшего мнения, чем то, которого я заслуживаю?

— Нет, — сказал я. — Но мне иногда хочется схватить

тебя за плечи и трясти до тех пор, пока ты не поймешь, что пора перестать делать глупости.

— Почему ты никогда этого не сделал?

— Не знаю, — сказал я. — Может быть потому, что ты еще не созрела для этого. То, что ты живешь не так, как нужно, это ты всегда понимала, ты достаточно для этого умна. Но может быть наступит день, когда ты это почувствуешь, то есть произойдет то, чего не могут заменить никакие доводы, как бы неопровержимы они ни были. И вот, когда это случится — и если это случится — ты станешь такой, какой ты, мне кажется, должна быть. Но когда? И настанет ли когда-нибудь такой день?

— Может быть, — сказала она.

— В этот день я буду за тебя искренно рад.

— Я в этом не сомневаюсь. И я не сомневаюсь, что ты считаешь, что тот, на кого падет мой последний и окончательный выбор и с кем я действительно свяжу свою жизнь, должен будет простить мне все, что этому предшествовало.

— Его заслуга будет небольшая, — сказал я. — Прощать тебе нечего. В конце концов, ничего дурного ты не делала — ты вредила прежде всего самой себе.

Она смотрела на меня невидящими, остановившимися глазами. Я взглянул на нее и сказал:

— С тобой происходит что-то странное, Эвелина.

— Ты это наконец заметил?

Она встала с кресла, подошла ко мне и поцеловала меня в лоб.

(Продолжение следует)

Гайто Газданов



и римский раб...

И так и так и чувство меры
и слово каждое — в строку
вино ахейское — примеры
тут — отроку, тут — старику
И так и так и так красиво
тут Сулла, Цезарь — тут Катон
тут жемчуг розовый курсива
в латинской гуще растворён
И в век золотой, с венком и в робе
он в Колизее пропадал —
слова на мраморном надгробье:
раб — к кубку с ядом припадал.



«и бегство в Египет...»

и, бегство куда-то за море, с сумою
и наскоро скроенный кажется кров
с Иосифом верным, с Марией с босою
и бегство, ей-Богу, рабынь и рабов
...и бегство в Египет с Марией с самою
безумных, куда-то под временный кров
в пустыню — с сумою, в Египет — с семьею
и вечное бегство
во-веки веков...



*«цветы и птицы — солнечнее гуще
в них Мироздания кочующий дымок».*

цветы и птицы — солнечным озоном
светлее ли всех нас озарены?
таким в церквах — и в небе в мирном — звоном?
в день Мироздания им заданы — азы
цветы и птицы — явственнее чутье
в них Лик Творения и трепетен и строг
поэты тоже, тот же поздний Тютчев
в один из вечеров чуть прикоснуться — смог?



нет, не от старости, а от усталости
морщинки мерещутся, лучики
не старилась, а что-то такое душевное сталося
даже легче ласковой лучше
нет, не от старости, а от усталости
эти чаще затмения, в памяти
только после и тысячетлетней увялости
глядя в профиль — на желтом пергаменте
не наша, и не святая
и даже легко-легко
разлуку с лица сметая
и глядя, смеясь, в лицо...

Яков Бергер

МЫШИ

Родилась и подрастала она где-то поблизости под полом. Когда впервые крошечная, но уже с большими ушками и длинным хвостиком, выглянула она из-под шкафа, мать, наскочив, прогнала ее обратно в подполье — малышам запрещено выходить из дому. Чуть подросши снова вышла она, увязавшись за старшими. Здесь снаружи было светло и все было как-то непонятно, по-другому. И мать была будто другая, не такая как у себя дома в подполье. Когда малыш, как обычно, ткнулся к ней мордочкой, чтобы получить свой кусок съестного, мать продолжала есть, не обращая на него внимания. А когда уж очень стал приставать, сердито ударила его по рыльцу. Напрасно малыш пробует сунуться то к одному едоку, то к другому, ото всех получает одни заушения.

Мало по малу приходится начать соображать, что теперь, раз ему разрешено выйти из подполья в другой мир, заботиться о еде надо самому. Золотое детство кончилось. Теперь надо самому пробираться темными, узкими, путанными лазейками, выглянув из норы угадать, нет ли какой опасности, по каминным трубам подниматься на верхние этажи, взбираться на кухонные полки, даже когда это казалось бы вовсе невозможным, прогрызать пакеты со съестными припасами и соединенными усилиями приподнимать и сдвигать крышки кастрюлек. Словом, надо было начинать жить.

Автор рассказа «Мыши» — Михаил Федорович Андреев, известный художник, постоянно живет в Париже. Родился в Херсоне в 1894 г. Начал обучение живописи в 1912 г. в «Школе Императорского Общества Поощрения Художеств», с 1915-16 гг. выставял свои кубистические работы на выставке «Современной Живописи» в Петербурге. Заграницей, кроме станковой живописи, много работал для театра (в Бухаресте, Праге, в Германии). Последняя выставка его работ была в Риме в 1965 г. Многие работы М. Ф. Андреев приобретены музеями Лондона, Вены, Парижа. РЕД.

Еще одну заботу брала на себя мать. Наскакивая, как бы нападая, приучала она малыша становиться на задние лапки и встречать нападающего (из своих) грудью, или, если кто атакует стремительно, делать прыжок вверх, без разгона, отталкиваясь от пола, как мячик, так, чтобы нападающий прошел в пустоту. Так учила его мать и она знала, что делала.

Так несомненно проходило детство, так начиналась жизнь мыши, о которой будет речь. Но когда она была маленькой и позже, я не отличал ее от других. Я стал замечать ее позже, когда она уже стала стареть. Плавность линий силуэта стала пропадать, стала она как-то угловатее, исчезла излишняя суетливость в движениях, шерстка пообтерлась и не отливала, не лоснилась на перегибах, хвостик облез и даже будто стал отсыхать у кончика, бородака стала седая. Только тогда мы познакомились, а после и подружился по-настоящему. Я называл моего маленького приятеля фамильярно «старик». И потому буду так называть его и в этих записках.



Но лучше сначала, для порядка, рассказать, как появились у меня мыши. В стенном шкафу, где находятся материалы для работы, верхние полки заставлены предметами, которые давно уже утратили свое прямое назначение, но еще продолжали служить мне уже для другой надобности. Поломанные музыкальные инструменты, куски гипсовых голов и фигур, стенные часы прошлого века, расписанные по углам циферблата цветочками и многое другое. Среди прочего барахла находилось там и чучело довольно большой ящерицы, вероятно, из заморских стран.

Шорохи и возня по ночам начались как раз в этом шкафу, что раздражало меня чрезвычайно. Что могут делать мыши в шкафу, где нет ничего съедобного? Я otvorил дверцу и, заглянув на верхние полки, заметил, что ящерицы не было. Отодвинув обломки стеклянной люстры, среди которых лежало чучело, и пошарив внимательно, я нашел глаза, зубы, когти и несколько кусков кожи. Было ясно — мыши съели ящерицу. Вероятно, чучело было набито отрубями, по многолетней ла-

ности, отсыревшими, потерявшими всякий вкус. Это происходило вскоре после войны. Мышиный люд во многом разделял нашу участь и по-своему переносил невзгоды военного времени. Многие дома и квартиры опустели, а в тех, что не были покинуты, не так уж легко было найти продовольствие.

И вот, по только им доступным лазейкам, проделанным многими поколениями, прогрызая, где надо, новые ходы, какая-то голодная группа мышей проникла в мой стенной шкаф. Мышьё изголодалось за время войны, думалось мне. Но, в конце концов, всякий, хоть раз в жизни, должен иметь какую-либо удачу, то, что называется *de la chance*. Иначе было бы уж как-то очень обидно.



На полу, у печки, на железном, подложенном под печку листе небольшая компания мышей закусывает. Едят сидя, держа еду лапками, ловко работая пальцами, разламывая если нужно, кладут в рот каждый кусочек. О мышах нельзя сказать, как о многих других животных, что они жрут. Надо сказать, едят. Едят деловито, сосредоточенно, чувствуется, что еда дело не маловажное. Мышьё быстро сообразило, что здесь, по непонятным причинам, все не так как повсюду — много лучше. Еда полагалась два раза в день, более или менее в определенные часы. Три коротких стука об пол давали знать, что еда подана. После вечерней еды можно было отправляться спать и незачем было теперь шарить ночью по полкам. А если не спалось, можно было погрызть в кухне пачку старых газет.

Мышьё, повидимому, решило обосноваться у меня основательно. Был сделан запасной выход из стенного шкафа. Сделан ход, позволявший пересечь большое помещение мое, не выходя наружу, чтобы пробраться в кухню. И другие работы. Все с толком и полным пониманием топографии. Я было попробовал заделать гипсом ход, ведущий в кухню, но работа моя была уничтожена в ту же ночь. Я промолчал.

Мышьё быстро сообразило и то, что великан вовсе не так опасен, как это казалось. Потому что живет он в совершенно ином измерении времени. Располагая несметными съедобными

припасами, двигая и перемещая с легкостью огромные, несурьазные и нелепые предметы, устанавливая мгновенно то свет, то темноту, великан меняет часто не только шкуру, но и глаза. Часто удушливый дым выходит у него из рта. Всесильный, он чрезвычайно медлителен во всех своих движениях. Время у него измеряется минутами, а не какими-то долями секунды, как полагается. А потому и рефлексy его бесконечно медленны. За то время, что нужно ему, чтобы нагнуться, разжать пальцы, сжать их снова, можно легко успеть очутиться у себя в подполье в полной безопасности.

А потому вскоре стали находиться смельчаки, которые брали кусочек хлеба у меня из руки. Схватит и отбежит, чтобы съесть спокойно в сторонке. Если другие не отнимут. Обычное право мышей это допускает. Подчас из-за кусочка хлеба завязывается беготня, которая кончается забавной свалкой. Но раз предмет спора съеден, исчез, то нечего и обижаться и ссориться и хранить злобу и раздражение. В этом отношении мыши вовсе на нас не похожи. Я стал ближе к ним присматриваться. Они не так уж одинаковы, как это кажется на поверхностный взгляд. Каждая имеет свою маленькую биографию, свои особенности.

Одна мышь остановила мое внимание тем, что боялась прийтронуться к сыру. Обойдет кусочек сыра со всех сторон, пошевелит усами и, пятась, отойдет подальше. Я заметил, что шерсть поперек спины у нее вытерта, заметен след шрама. Было очевидно — вырвалась она недавно невероятным усилием из мышеловки, где приманкой был сыр. И с тех пор навсегда остался у нее непреодолимый страх к сыру.

Одно время приходила мышь, шкурка которой была много светлее обычного — была цвета кофе с молоком. Я всегда полагал, что в роду у нее была белая мышь. Мать, отец, бабка или дед не берусь утверждать.

Возня по ночам у меня прекратилась. Но вспоминается такой случай. Ночью слышу что-то шуршит наверху на шкафу, где лежали свертки бумаг. Я постучал. Шорох прекратился, но через минуту возня началась снова. Я снова постучал. И так несколько раз. Поднявшись на стул с досадой я перевернул

свертки бумаг. Возня прекратилась, но через минуту началась снова. И вот откуда-то послышался особый писк с присвистыванием. И возня на шкафу прекратилась. Кто-то из старших, мать вероятно, приказала мышенку перестать.

Я отметил этот случай, один из многих, чтобы показать, что известное взаимопонимание устанавливалось между нами. Наша совместная жизнь, как говорится, налаживалась.

Но вот произошли события, которые совершенно изменили наши добрососедские отношения. И все произошло со стороны, которую никак нельзя было предвидеть и предугадать.



Как завязалась моя дружба со стариком объяснить трудно. Вышло это как-то само собой, постепенно. Старик первый понял условный знак — три коротких стука об пол, когда подавалась еда. Он перестал убежать, выхвативши кусочек съедобного из руки, а подходил спокойно, брал еду и, не убегая, не спеша, начинал есть. Если я сразу не выпускал кусочек хлеба из руки, он становился на задние лапки, передними отталкивал мою руку и старался вырвать хлеб зубами. Если шутка затягивалась, сердился. Таких шуток он, видимо, не понимал и не любил.

Я же тем временем разглядывал его передние лапки, точнее кисть руки. Его пять длинных пальцев, без шерсти, гибки в суставах и могут проделывать движения довольно сложные. Кисть руки, что-нибудь да значит. Без нее человек не был бы в состоянии сделать все то, что им создано. Такая развитая кисть дана еще только обезьяне, отчасти белке. У старика кисть руки была развита несравненно больше чем у других мышей. У большинства пальцы лапок коротки.

Если я запаздывал с едой, сидя за работой, старик поднимался по моей ноге до колена и оставался так с минуту, чтобы дать о себе знать. Вскоре мы начали обедать рядом. Он взбирался на стул, рядом с моим, всегда несколько заблаговременно, садился на задние лапки, передние прижимая к груди. Возможно, что так принимая положение, в котором мыши едят, малышом, он давал понять матери, что голоден.

За долгую жизнь рядом с человеком его предки приучились есть все, что ест человек. Даже соленую рыбу. Этим мыши отличаются от всех других животных. Но больше всего, повидимому, мыши любят хлеб и мучное, чем выдают далекое свое происхождение с полей.

Старик ел решительно все, что и я, начинал всегда с самого вкусного, с хлеба. Но дальше порядок блюд его не озабочивал, после сладкого мог закусить и мясом.

Соображал он быстро. Раз, застав его в раковине, под краном, где он, видимо, ловил капли воды, я налил чашку водой, отнес ее в ателье и поставил на столик, где стоят склянki с разными жидкостями. Он как-то сразу сообразил, что воду я налил для него, перешел из кухни в ателье, взобрался на столик и стал пить. С тех пор эта чашка стала его чашкой.

Он любил приближаться ко мне, когда знал, что теперь я не буду передвигаться и долго останусь на том же месте. Он приходил, когда я садился перед мольбертом, устраивался сначала на нижней его перекладине и, слюня постоянно длинные свои пальцы, быстрыми движениями тщательно мыл голову и уши. Потом взбирался выше, суеился у холста, присаживался на минутку, в сущности только для того, чтобы побыть в моем обществе. Однако, смотреть мне в лицо он не любил. Гулливеру тоже лица великанов казались крайне непривлекательными.

Когда я читал, лежа на кушетке, он приходил, опирался лапками о книгу и так оставался с минуту. Со стороны это выглядело так, будто двое читают книгу, которую можно читать и с той и с другой стороны.

По мере того как росла наша дружба, старик, естественно, расширял свои права — не дожидался полудня, а приходил утром к кофе. Раз вечером, отдернув одеяло, я увидел на большом белом пространстве простыни его маленькую спящую фигурку. Спал он так спокойно и крепко, что не почувствовал, как я отдернул одеяло, и я должен был пошевелить его пальцем. Он ушел не спеша и, видимо, неохотно. Но больше никогда в постель не забирался.

Большая перестройка должна была произойти в его маленькой голове. Надо было преодолеть страх и недоверие, на-

следство многих тысячелетий, пересмотреть, казалось бы, незбылемые подпольные законы бесчисленных поколений. Белые мыши рождаются в неволе, приручаются сызмала. Здесь было другое. Старик прожил жизнь как зверек свободный и им оставался. Он входил в дружбу с человеком по доброй воле, и не из-за куска хлеба. Все мыши были кормлены одинаково. Однако, ни одна, кроме него, не захотела со мною сблизиться.

Я бы сказал, что старик с большим тактом установил линию поведения по отношению ко мне и знал, где надо остановиться. Ему все было позволено и я мог ему простить многое. Однако, разгуливая повсюду свободно, вел он себя сдержанно. Не шарил на полках в кухне, не взбирался на стол, где стояло съестное, не пытался лезть в мою тарелку. Мне никогда не случалось окриком прогонять его.

Я со своей стороны обращался с ним, как с равным, предоставлял ему жить совершенно свободно, не собирався заниматься его воспитанием и не думал учить его смешным штукам. Отношения у нас были самые дружеские, но серьезные и сдержанные, без фамильярничания.



Я никогда не мог объяснить себе, почему старик, один из всех мышей, со мной подружился. Однако, вот какой вспоминается мне случай.

Поздно вечером, возвратясь домой, войдя в кухню, я случайно заметил, что из воды, что была в миске, поднимаются на поверхность пузырьки. Странное явление это остановило мое внимание. Я опустил руку в воду и вытащил маленького мышенка. Он был, казалось, без признаков жизни. Чтобы смыть с него мыльную воду, я поставил его под кран, под струю воды. Он вздрагивал, он был жив. Я вытащил его из воды за мгновение только, которое отделяло его от смерти. Я держал на ладони этот жалкий комочек с длинным хвостиком и, решительно не знал как обращаться с утопленником. Да и едва ли кто это знал бы. Едва ли кому приходилось приводить в чувство утонувшую мышь. Я присел, держа его на ладони, и ждал. Конвульсии проходили время от времени по его маленькому телу.

Но мало по малу он стал будто приходить в себя и, наконец, поприоткрыл глаза. Перед ним была моя чудовищно огромная физиономия и огромные глаза-страшилища смотрели на него. Едва вернувшееся сознание подсказало ему, что это враг. Страшным усилием потянулся он по моей ладони и заглянул вниз. И ощутил, что, в таком состоянии, с такой высоты он прыгнуть не может. Оставалось одно — закрыть глаза и положиться на волю судьбы. Я опустил его на пол. Долго лежал он так, судорожно вздрагивая, наконец как-то очухался, встретился и, едва волоочась, уполз в угол. Даже в таком состоянии чутье не изменило ему — он уполз в тот угол, где действительно лучше всего было спрятаться за лежащей на полу какой-то кухонной рухлядью.

Он выходился. Следующие дни я узнавал этого мышенка по взлохмаченному виду, по медлительности и неуверенности движений. Потом он смешался с другими и я потерял его из виду. Не могу утверждать, но не могу и отказаться от убеждения, что это была моя первая встреча со стариком. Быть может в эти страшные и памятные для него минуты, впервые и зародилось в нем иное представление о враге-чудовище, нежели то готовое, что было передано ему бесчисленными поколениями.

И связь между той рукой, на которой беспомощный лежал он долгие для него минуты, и той, из которой спокойно брал теперь кусочек сыра, никогда для него не прерывалась и сохранилась навсегда.



Спустя несколько времени случилось, что шорох и возня ночью заставили меня встать и зажечь свет. Я вспомнил, что на столе осталась коробка с несколькими пакетами съестных припасов, которые обычно прятались. Коробка была невысокая без крышки. Я заглянул в коробку. В коробке те же пакеты. Все тихо. Я лег, но шуршание вскоре началось снова. Я снова встал, снова заглянул в коробку, внимательно на этот раз. На одном из пакетов внизу на освещенном месте — будто не принадлежащая пакету темная линия. Мышь ловко спряталась в узкое пространство между пакетами, но всего учесть не могла

— кончик хвоста высунулся и на беду попал на освещенную часть. Это ее выдало. Я быстро повернул коробку, наклонился близко, и мы с мышью очутились нос к носу. Совсем близко от меня были две черные жемчужинки ее глаз и в них светились блики от света лампочки.

Многие авторы повествований любят находить в глазах своих героев всяческие изменения и превращения, которые будто происходят и таким путем объясняют нам их чувства и переживания. Как раз те, которые, по моменту, нужны автору. На деле это вовсе не так. Глаз по природе своей меняться не может. При некоторых условиях может расшириться зрачок, покраснеть белок. Только и всего. Никаких душевных переживаний этим не объяснить. Меняется обрамление, т. е. брови, веки — это дает обманчивое впечатление изменения глаз. Роговая оболочка глаза принимает те или иные оттенки в зависимости от перемены освещения. Но душевные переживания опять-таки здесь ни при чем. Двигутся, перемещаются в глазах только светящиеся точки, блики, в зависимости от малейшего поворота глаза, от малейшего изменения источника света.

Итак, мы с мышью нос к носу. Передо мною те же, что всегда, две жемчужинки ее глаз, разве что веки приоткрыты, отчего кажется, что жемчужинки чуть больше. Никакого особенного выражения видеть в них я, разумеется, не мог. Но из светящихся точек ее глаз в меня ударила волна такой напряженности, что во мне она ощутилась почти физически. И мгновенно какими-то путями — сознание было последним этапом — объяснилось мне, что все существо мыши наполнено невыносимым, чудовищным, смертельным ужасом. Во мне, будто, что-то екнуло. Я не выдержал и отступил поневоле.

Странно, мышь не выпрыгнула, а продолжала оставаться в коробке. Я поставил коробку на пол и слегка постучал сбоку. Мышь не выпрыгивала. Я вынул пакеты. Забившись комочком в угол, она не шевелилась. Я наклонил коробку и осторожно вытряхнул мышь на пол. Она была полумертва. Едва-едва нашла она силы, чтобы, волочась, уползти куда-то подальше.

Все произошло потому, что токи наших зрачков встрети-

лись. Если бы не это, мышь выпрыгнула бы из коробки и скрылась раньше, чем я успел бы пошевелить пальцем.

Это была еще совсем молодая мышь. Я думаю, что это была моя вторая встреча со стариком.



Присмотревшись внимательно, можно заметить разновидности среди мышей. Есть группа величиной побольше, шерсть жестче, длиннее, лапки покрыты шерстью, которая спускается до пальцев, будто гетры. Повидимому, это близкие потомки полевых мышей. Их предки приходили с полей на фермы, которые еще недавно существовали в предместье Вожирар. Такие деревенские строения с окном чердака, куда складывалась солома и сейчас еще сохранились в некоторых дворах, поблизости от меня, но имеют теперь другое назначение. Я называл мышей этой группы фермерами.

Есть группа величиной поменьше, шерстка короткая, мягкая, цвета пыли, ушки поменьше. С виду они как-то невзрачнее. Повидимому, это настоящие городские мыши. По мере того как город рос и они подвигались от центра к окраинам, где, то там, то сям встречали волну подвигавшихся через предместья полевых мышей. Там, где они встречались, они смешивались.

Дом, где я живу, находится на улице, которая в галло-римскую эпоху представляла дорогу из Лютеции (то есть, из центра) в Шартр. Позднее эта дорога пересекла деревню Вожирар и стала сначала единственной, а потом главной улицей деревни. Так что легко проследить путь, по которому мыши расселялись с двух сторон. В 1500 году деревня Вожирар насчитывала 350 жителей и была отделена от Парижа хлебными полями и виноградниками. Деревня была окружена стеной. Мне приходилось встречать лиц очень преклонного возраста, которые помнили пустопорожние места и фермы там, где теперь улицы с многоэтажными домами. Еще сто лет тому назад деревня Вожирар насчитывала только 37 тысяч жителей. Ясно, что и мыший люд был в ту эпоху немногочисленен и состоял из мышей, приходивших с полей.

В 1859 году (может годом раньше или позже) правительство решило присоединить предместье Вожирар к городу. Но муниципальный совет Вожирара отказался признать это постановление. Вожирар не хотел стать Парижем. Правительство не признало этого решения и присоединение произошло, хотя и незаконно. Тогда же началась постройка многоэтажных домов и продвижение населения.

Мой старик по типу был настоящая городская мышь. Перелом линии от лба к носовой части был у него резко выражен, что придавало ему выражение смысленности и хитрости. Тогда как у других часто перелом мало заметен. Рыльца конусообразные, что сообщает им выражение простоватое. Пальцы на лапках у них короткие.

Таким образом старика можно причислить в каком-то, конечно, условном смысле к аристократии. Его предки пришли в город, быть может, в незапамятные времена, а переселились в Вожирар после присоединения, быть может, в конце прошлого столетия.

Если кому мои заключения, несмотря на приведенные исторические справки, покажутся мало убедительными, не имеющими достаточных оснований, я замечу, что у нас генеалогические изыскания строятся часто на основах гораздо менее убедительных. И тем не менее считаются достоверными.

Во всяком случае эти строки указывают как тесно была связана судьба мышей с жизнью города и как часто зависела и от решений муниципальных советов и от распоряжений правительства.



Однажды случилось мне заметить, как мышь, взобравшись на подоконник, прыгнула через открытое окно на крышу другого строения, примыкающего к дому, невысоко от окна. Она пробежала по крыше и вползла в незаметную щель, что образовалась между расшатанным временем листом железа и стеной соседнего строения. Здесь мышь ускользает от нас и проследить дальнейший путь ее невозможно. Но попытаемся все же последовать за ней чуть дальше. Через щель можно проникнуть

в соседнее нежилое помещение неизвестного назначения. Еще два, три этажа ниже и тут рукой подать, чтобы проникнуть в «Солей д'Ор». Длинная крыша одноэтажного неуклюжего строения этого, XVII-го века, тянется у меня внизу под окнами. Когда-то это был постоянный двор. Барельеф, изображающий круглое лицо-солнце с волнообразными лучами, и сейчас еще сохранился над воротами дома. В истории деревни Вожирар этот постоянный двор (теперь не существующий) известен тем, что здесь во время революции состоялось многочисленное тайное собрание, когда сюда нагрянула полиция. Целью заговора было опрокинуть Директорию. Несомненно в те времена, когда строения вокруг были малы и редки, этот постоянный двор, вероятно, единственный в деревне являлся важным пунктом. Здесь всегда были запасы продовольствия, в конюшнях запасы овса. Следовательно, постоянный двор был хорошо известен и мышам. Удобное место для мышей, которые стекались сюда из окрестностей, прежде чем расселяться по редким окружным домам. Ясно, что мыши пришли ко мне из «Солей д'Ор» и продолжали поддерживать с ним связь.

Но дальше пути, которые мы хотели бы проследить, теряются. А пути идут куда-то в соседние кварталы, в дома и лабиринт их прорезает на километры весь огромный город, местами прерываясь. Если следовать мысленно этими путями во времени, они, неизбежно, приведут нас в Лютецию (как выше уже было упомянуто, потому что так же невозможно вообразить Лютецию без мышей, как и без римских легионеров).

С этого времени жизнь мышей связана с жизнью города. Голодные годы, наводнения, пожары, разрушения и перестройки целых кварталов — все это они переживали и претерпевали по-своему. Часто надо было покидать насиженные места, уходить на места неизвестные, устраиваться заново, оставаясь всегда скрытыми и невидимыми. Иногда ночью, когда улица пуста, можно заметить скользящую вдоль стен мышь, видимо, покинувшую свое подполье, неизвестно куда пробирающуюся. Это все, что мы можем заметить. Между тем много любопытного — и забавные происшествия и драмы происходили в жизни мышей, где они проявляли чудеса ловкости, пронырли-

ности и выносливости. Все это останется навсегда неизвестным. Проникая повсюду и во дворцы и в подвалы много секретов подслушали они и могли подсмотреть многое. Если бы они могли оставить мемуары, многое пришлось бы добавить и исправить в наших исторических исследованиях, а то и начисто переделать целые главы.

Правда, без всякого желания с их стороны, но все же оказывают они большие услуги людям науки, нигде ни от кого не встречая ничего другого, как полупренебрежительное, полупрезрительное к себе отношение и самое жестокое преследование. Мало живых существ, которых природа поставила в условия столь неблагоприятные и трудные. Непонятная жестокая превратность судьбы обрекла их жить и добывать пропитание среди сильнейших врагов, где за каждый глоток воды надо рисковать жизнью, не дав им иных средств защиты, как смывленность, быстрота, пронырливость. Для нас, для которых понятие пользы и вреда является главным, и едва ли не единственным, мерилom для оценки, они представляются вредными. Хотя, в сущности, вся вина их состоит в том, что им надо кормиться.

Но понятие пользы и вреда, заключенное в мироздании в целом, безгранично шире нашего, с ним не совпадает, а часто и резко расходится.

Законы общие для существования всего в целом — на стороне мышей, вопреки нам их поддерживают и их защищают. И потому мыши живут.



Услышав возню в кухне, я отворил дверь и нажал кнопку электричества. Конечно, все тихо, никого. Но на газовой печке, у круга, где вспыхивает пламя, находился маленький темный комочек. Я приблизился. Это был мышенок. Он был так мал, что глаза его еще не прорезались окончательно — а угадывались только за узкой щелью. Видимо, он увязался за старшими, которые покинули его в момент, когда я открыл дверь, и видимо, вовсе не отдавал себе отчета в происходящем. Потому и меня не боялся.

Я отломал кусочек кекса и положил перед ним. Как ни мал был кусочек, но он был той же величины, как мышенок. Он отступил несколько, потом медленно приблизился и обхватил кекс лапками, как бы обнял его, и, не зная что с ним делать, потыкался в него мордочкой. Он еще не умел есть. На другой день вечером, примерно, в тот же час мышенок снова сидел на том же месте и опять получил кусочек кекса. Так продолжалось дня три, четыре. Потом он перестал приходить — очевидно, сознание опасности в нем пробудилось.

У полуслеплого, неумеющего есть, у него уже была память. Память о кусочке чего-то вкусного, что, повидимому, ему все же удалось проглотить, память места и чувство ориентации — вылезть из норки и по газовой трубке, идущей от пола, взобраться наверх, как раз на то же место, наконец, память времени, потому что приходил он, примерно, в тот же час.

Но раз мыши заставили меня удивиться. Пакеты с съестными припасами хорошо спрятаны в вплотную задвинутый ящик. Но вот из вынутого из ящика пакета тонкой струей высыпается мука, рис или что другое. Неужели мышь? Но ящик плотно задвинут, немыслимо пролезть в такую узкую щель. Может быть и не мышь.

Подняться по гладкой, крашеной, каменной стене мышь не может. Но откуда же тогда дыра в пакете, что лежал на высокой, кухонной полке? Может и не мышь. Но почему же тогда на масле, что было завернуто в бумагу, видны следы, будто мелких, острых зубов? Как могла мышь взобраться на эту полку?

Наши представления о физических законах опрокинуты. Невольно начинает казаться, что мыши наделены свойствами непонятными, необъяснимыми. Они появляются неизвестно откуда, проникают повсюду, оставаясь почти невидимыми. Они есть и их нет.

Дети угадывают эти свойства мышей. Таинственность их притягивает и вызывает в них любопытство. И потому единственно дети относятся к мышам дружелюбно и благожелательно. Единственно дети любят мышей. Поэтому мыши любимые персонажи детских игрушек, детских книг. Но мыши

представлены в них фальшиво — как шутники, которые только и заботятся о том, чтобы кого-то посмешить и позабавить.



Только раз мне удалось проникнуть в скрытый от нас таинственный круг мышей и подсмотреть их в момент, когда они, не подозревая моего присутствия, действовали свободно и независимо. Поздно ночью я читал, лежа на кушетке, когда легкий топот по полу заставил меня отвести глаза от книги. Среди большого помещения посредине случайно стоял стул. Я был неподалеку. На полу, у стула, две мыши, стоя на задних лапках, боролись. Они отскакивали, расходились, снова бросались одна на другую. Хвосты описывали в воздухе самые неожиданные линии и усиливали забавную грациозность этой сцены.

Когда хотят что-либо высмеять, например, узкую косичку у девочки, говорят «как мышиный хвостик». Между тем, на деле, хвост у мыши продолжает и удлиняет плавную линию спины и как бы уравнивает и дополняет другую сторону — острое рыльце и ушки. Вся форма мыши отточена и закончена до последней точки, так что ничего нельзя ни прибавить, ни убавить. Хвост много способствует изящности и грациозности всего силуэта, особенно когда силуэт развертывается в свободных движениях.

В практическом отношении хвост тоже очень важен. Он увеличивает скорость, помогает при поворотах. Но главное то, что он является большой моральной поддержкой — позади меня что-то есть, что меня подгоняет и меня ободряет. Словом, с какой стороны ни рассматривай этот вопрос, всегда выйдет так, что смеяться тут решительно не над чем. Я убежден, что Иероним Босх был такого же мнения. Форма мыши несомненно сыграла свою роль в создании небывалых, невиданных существ, которые населяют его картины. Многие и многие из них снабжены длинным, тонким, изгибающимся хвостом. Но возвратимся к двум мышам, которые борются, потому что это долго продолжаться не может.

Итак, мыши борются и я с большим вниманием наблюдаю

эту сцену. И вдруг сразу, на полу, на стуле, на спинке стула, на столике, что стоял позади поодаль, на банке с белилами, что находилась на столике, на краю кувшинчика, куда воткнуты кисти, на раме, которая прислонена к столу — повсюду были мыши. Прихода не было, было появление. Нас не было. Вот мы есть. И все сразу.

Уже для древних мышь была символом мгновенности. Существует единственная греческая статуя — Аполлон, придерживающий ступней ускользящую мышь. Что означает, несомненно, что только искусство может удержать и запечатлеть быстро проходящие и исчезающие моменты жизни.

Казалось, что их было очень много, потому что все они были в движении. Главное действо развевалось на полу, на сидении стула, на спинке. В чем оно заключалось определить трудно. Плана не было, была импровизация. Одни взбирались вверх, другие прыгали вниз. Они боролись между собой, бросались друг на друга. Но, видимо, без всякой злобы. Лапки, ушки мелькали в непрерывном движении, хвосты скрещивались в воздухе. Мыши сгибались — спина дугой, хвост по ветру и в таком положении подпрыгивали, как мячики. Хвосты придавали всей сцене колючесть и заостренность, как раз как на картинах Босха. Как и на картинах его была во всем не злая и даже приятная дьявольщина, которая притягивает таинственностью и удивляет непонятностью происходящего. Все топало лапками и ударило хвостами, будто кто стучал десятками мягких молотков. Все пищало и присвистывало. Среди тишины ночи ателье наполнилось шумами никогда не слышанными.

И вдруг все исчезло. Так же внезапно, как появилось, будто растворилось в воздухе, чего глаз человека уловить не в состоянии. Кто и как дал приказ исчезнуть? И если так, — как возможно было исполнить его всем сразу в одно мгновение? Будто вся банда и физически и психически представляла один организм. Сразу стало пусто и тихо. Стул один стоял посредине.

Я не ошибусь, если скажу, что мыши живут небольшими группами. Каждая группа имеет свой участок. Так легче пройти незамеченными. Но случается, что в какой-то трудный мо-

мент, а быть может просто по-соседски, одна компания приходит к другой как бы в гости. Случалось, что у меня к обеду приходила чужая компания, иногда с малышами, но они не оставались. Возможно, что то, что мне пришлось увидеть, был большой прием. Если так, надо сказать, что он удался на славу.

Но когда все исчезло, я ощутил все виденное, как если бы это было навождение. Смысл этого слова всегда был для меня темен и неясен. Теперь он мне объяснился.

Я смотрел на происходящую передо мной сцену с напряженным вниманием и глубоким интересом. Вся сцена врезалась мне в память навсегда. Но в момент, когда мыши исчезли внезапно, в меня вошло смутное, беспокойное, тягостное сомнение — да было ли все это взаправду? не обморочен ли я? Нечто необычайное, даже для меня, привыкшего к мышам, мгновенно и резко вошло в обыденную обстановку и так же резко исчезло. Нечто, что не предназначено для глаза человека, неизвестно почему пронеслось здесь, как видение из какого-то другого мира.



Первый раз, когда на старика напали и сбили с ног, я думал, что у него хотят отнять что-то съедобное. Но сделано это было как-то уж очень грубо. Вскоре я стал замечать недружелюбное и враждебное отношение к нему со стороны всех мышей. Старик стал держаться в одной половине помещения, входить в другую, где был ход в подполье, он остерегался. Несколько раз я замечал, как он шарахался куда-то в сторону, или, убегая, взбирался куда-то наверх. Уже не раз мне пришлось за него вступаться. Мало по малу я стал убеждаться, что старика преследуют всюду, где представится возможность.

Случилось раз, вижу издали, что мышь, притаясь за разбросанными на кушетке газетами, наблюдает за стариком, который сидит на стуле. Вот мышь незаметно спустилась на пол, подкрадывается к стулу и, осторожно взобравшись по ножке стула, ждет притаившись. И, улучив момент, прыжком бросается на старика. Но и у старика рефлексy мгновенны. Он оттолкнулся лапками, прыжок вверх, как учила его мать, и уцепился

за спинку стула. Нападающий прошел в пустое место. Расчет шел в каких-то долях секунды.

Я грубо прогнал мышь и в раздражении шагал взад и вперед. На старика нападали, несмотря на мое присутствие, да еще исподтишка, таким подлым образом. Надо было что-то предпринять. Старик теперь, видимо, боялся оставаться на полу и ютился где-нибудь на верхах. Ночевал он, кажется, где-то на полке. Удобное, безопасное по его соображениям место нашел он наверху, на занавеске. Эта занавеска, одного из больших окон, раздвигалась на кольцах, но почти всегда была задернута. Толстая материя занавески образовывала между кольцами складки, которые были для него достаточны и казались удобными для сидения.

Он подолгу оставался наверху на занавеске и смотрел на то, что происходит внизу. Мир теперь представлялся ему по другому. Внизу, глаз его, в нескольких сантиметрах от пола, видел все иначе — по частям, по кускам. Из пола высовывались столбы — ножки столов, стульев, у стен рамы, холсты образуют лабиринт узких проходов. Все путанно. Теперь глаз его видел все сразу в целом. Все становилось меньше и, вероятно, понятнее, как на плане. И я уже не представлялся таким огромным, что взглядом и охватить невозможно.

Иногда, ночью, на крышах раздавалось отвратительное мяуканье и завывание котов. Я отрывался от работы и обращался к старику с несколькими ободряющими словами. Он делал движение, чтобы дать знать, что понимает, что я к нему обращаюсь. Мое присутствие и спокойствие внушали ему уверенность в безопасности.

Но раз, в сумерках, когда свет от других окон стал недостаточен, позабывши, я резко отдернул занавеску и тотчас же услышал тупой звук упавшего маленького тела. Старик замертво лежал на полу. Секунду не больше. Он встрепенулся, как бы проснулся, и ушел куда-то в угол. Я боялся, что он не перенесет падения с такой высоты. Но десяти минут ему было достаточно, чтобы вполне оправиться. Он снова взбирается по занавеске к обычному месту. Но на этот раз он стал все хорошо и подробно осматривать. Осмотрел большой гвоздь с

деревянной головкой, на которой держится стержень, перешел по толстому деревянному стержню на другую сторону и там все осмотрел внимательно и подробно. В разных местах потрогал кольца и заметил, что они неустойчивы. Опершись лапками о стену, смотрел на потолок и убедился, что выше лезть некуда. Теперь он знал, что занавеска неустойчива, а причина возможного движения ее неизвестна.

Больше никогда он на занавеску не поднимался. Еще одним безопасным местом стало меньше.



Сегодня у печки собралась довольно большая компания. Едят неторопливо, деловито. Чувствуется, что все понимают важность момента — обед. Старик, который, видимо, наблюдал откуда-то сверху, спустившись, вышел и остановился в отдалении. Потом стал медленно приближаться с опаской, останавливаясь постоянно, верно стараясь угадать настроение. Все продолжали есть, не обращая на него внимания. Старик не был голоден — мы уже пообедали вместе. Но долгое время он жил одиноко и его, верно, потянуло к своим. Он рассчитывал, что, быть может, вражда поулеглась и позабылась. Он медленно приближался. Вот он подошел уже довольно близко и одна молодая и глупая мышка, которая, видимо, не разбиралась в делах старших, пробегая, дотронулась рыльцем до его носа. Мыши часто так делают находу, встречаясь — знак приветствия и дружелюбия, по-моему вполне соответствующий нашему рукопожатию. Что указывает, что общественная жизнь развита настолько, что принимает свои условные формы.

Еще несколько шагов и старик войдет в общий круг, возьмет зерно риса и все опять будет по-хорошему. И, вдруг, мыши перестали есть. Все сразу напряжились, ошетинились, правая лапа оперта об пол, левая согнута — все готово для прыжка.

Вся банда расположена полукругом. Неподалеку, осевшая назад, согнутая, готовая для прыжка вверх фигурка старика. Старик, видимо, трусил. Он знал, что отступать теперь поздно, стоит ему дрогнуть и все кинутся на него.

Я уже знал, что время для них измеряется не минутами, а

какими-то долями секунды. Еще две, три доли и все превратится в бешено движущийся комок лап, хвостов и острых, как иглы, зубов. Сцена достигла крайнего напряжения. Нервы у меня не выдержали.

— Рылы, убираться! — закричал я, топнул ногой и ударил в ладоши. Вся банда растворилась в воздухе раньше чем я успел произнести эти слова. Остался один старик — он знал, что окрик мой относился не к нему. Весь скорчившись, он дрожал. Говорят — дрожать мелкой дрожью. Старик дрожал крупной дрожью. Сердце его билось так сильно, что сотрясало толчками весь его организм. Все вздрагивало — уши, хвостик.

Дело, очевидно, было не шуточное и он понимал это лучше моего. Я сел на пол и, пригнувшись к нему совсем близко, старался как мог его успокоить. Он долго не мог прийти в себя.



Вечером, после всех треволнений этого дня, мы со стариком обедали. Мыши к обеду, случай исключительный, не пришли. Разрыв между нами был полный. Тем лучше. Я уже несколько времени искал способ, как турнуть эту чертову банду. Напротив, эти происшествия только укрепили мои отношения со стариком. Внешние различия — величина, форма нашего строения и прочие значительные различия теряли свое значение. Эти различия были внешнего, второстепенного порядка. Наша дружба все это переросла. Старик для меня перестал быть просто мышью, а становился вообще существом какого-то порядка, находящимся под моим покровительством. И я, естественно, должен его защищать.

Такая же перестройка всех прежних понятий происходила, я уверен, и в старике. Он окончательно оторвался от прежней подпольной жизни и знал, что судьба его тесно связана со мной, что иной защиты у него нет. Доверие его ко мне было абсолютно. Положение создавалось, что называется парадоксальное — я должен был защищать мышь от мышей, в своем доме я чувствовал себя неудобно, тревожно, будто вокруг замышлялись какие-то каверзные штуки. Уходя, я всякий раз опасался за старика.

Отношения между обитателями моего дома были спутаны,

отравлены, все было перевернуто вверх дном. Какая-то подпольная чертовщина вышла наружу и я был в нее вмешан, не умея в ней разобраться и не зная, как выйти из положения. Выгнать банду мышей было теперь не так просто, не прибегая к драконовским мерам. Но это означало — грубо изменить всю линию моего отношения к мышам.



Мышь не раз появляется среди чудовишных персонажей на картинах Босха. То маленькая, изображенная натурально, то в преувеличенном размере. На одной из его композиций, среди множества различных сцен, мы находим профиль лица, выглядывающего из дыры какого-то не то сосуда, не то бочки. В дыру вставлена будто прозрачная трубка. В трубке, напротив лица — мышь. Что может означать эта встреча человеческого профиля с мышью нос к носу?

Повидимому, Босх в фантастических видениях своих не всегда старался дать объяснение каждой сцене, повидимому, увлеченный воображением и требованиями композиции, он выходил из пределов всем понятного и доступного рассказа. И смотрящий на картину, как и сам художник, должен угадывать нечто интуитивно, а не понимать с легкостью каждую сцену, как самую заурядную иллюстрацию.

В одной из композиций большая голова, будто из воска, не живая. На месте глаз две круглые пустые дыры. Из носа в лоханку, где купаются женщины, сыплется деньги. В пустое отверстие глаза вползает мышь.

В другом месте — женщина в постели. У постели огромная в рост человека мышь. Другая такая же притаилась у постели внизу. По одеялу ползет маленькая натуральной величины мышь. Во всем, в целом — ощущение чудовищного, удушливого кошмара.

На одной из картин, невероятного вида, но человекообразное существо с головой мыши хватается за горло опрокинутую голую фигуру, уже пронзенную мечом. На полу карты, из опрокинутого кувшина выливается вино.

Совсем внизу картины (вероятно, одного из последовате-

лей Босха) — одна мышь опрокинула другую и хватает ее зубами за живот. Поблизости, видимо, уstraшенный этой сценой, убегает уже только скелет третьей мыши.

Несомненно, в представлении человека средних веков, место мыши было среди существ непонятных, таинственных, сверхъестественных.

Многое другое мне припоминалось. Вспомнилась прочитанная в детстве и давно позабытая баллада. Как теперь понимаю, несомненно древнее предание легло в основу этой баллады. В голодный год епископа просят раздать голодающим запасы зерна, которыми он располагает. Епископ отвечает отказом и добавляет, что скорее он отдаст зерно мышам. Ночью тысячи мышей проникают в башню, где он находился, и загрызают его. «Так был наказан епископ Гапон». Мыши, очевидно, выполняют предначертания некоего высшего правосудия. Опять-таки выполняют роль служебную. Но и там и здесь связь их с потусторонними силами. Таково, очевидно, было верование человека средних веков.

Существуют русские лубки, предназначавшиеся для народа и невзыскательных любителей — «Как мыши kota хоронили». Лубок этот несомненно очень нравился, потому что были многие и многие его варианты, возможно, с конца XVIII века до, быть может, середины XIX века. Конечно, лубок этот наклеивался в избах на стену и забавлял несколько поколений. Лубок этот сопровождается длинной надписью, объясняющей происхождение. На нем изображен умерший кот, на санях, или на повозке, и длинная следующая за ним процессия мышей. Комизм заключается, очевидно, в том, что мыши хоронят, следуя погребальному ритуалу, с виду они опечалены, но в глубине, конечно, рады. Мыши разыгрывают шутку. Но шутка все же имеет зловещий характер.

Казалось бы, можно было выбрать другой сюжет — например, мышиную свадьбу. Но нет, в сознании народа настроение похорон, какая-то нить к таинственному и непонятному сочетались лучше с представлением о мышах.

И Гёте с этим вполне бы согласился. В своих воспоминаниях он записал, что его отец, любитель живописи и коллекцио-

пер, заказал одному художнику, который был известен как искусный живописец по части изображения цветов, картину, которая должна была представлять букет. Художник выполнил заказ. Внизу холста у вазы он изобразил мышь. Гёте делает несколько замечаний по этому поводу. Он сомневается в правильности, в возможности такого сочетания — мышь и цветы.

Все это мне припоминалось, такого рода невеселые мысли приходили мне в голову теперь, когда из углов вползли ко мне вражда и злоба, будто разыгрывалась какая-то зловещая шутка, смысл которой от меня ускользал.



Если я нашел для себя объяснение, почему старик, один из всех мышей, ко мне привязался, то вопрос почему, за что преследовали старика, был вовсе непонятен. Мало по малу, однако, объяснилось и становилось ясно — старика преследовали за его дружбу со мной. Но в чем же тут, по существу, заключалась его вина?

Случается, что в борьбе за существование животные бывают безжалостны (как и мы) к слабым и старым. Но никакой борьбы за существование здесь не было. Все мыши были кормлены по уши. Для зависти не было места. Приходили и другие мыши, примерно, того же возраста, что и старик. Никто их не преследовал. Любая из мышей могла подняться на стул, что стоял рядом с моим, на котором обедал старик, любая могла, как и он, приблизиться ко мне. Ни одна никогда этого не сделала. Повторяю, здесь дело было не в зависти.

Да и так ли уж безжалостны животные к слабым? Мой приятель рассказал мне, что в войну 1914 года где-то в департаменте Сомм, в траншеях заметил он двух крыс. Одна зубами держала другую за хвост, и так пробирались они по траншее. Наблюдая за ними не раз, он увидел, что одна из крыс была слепа. Другая вела ее к месту, где находили они воду или что-то съестное.

Мы не в состоянии представить себе другой способ мышления, чем тот, которым мы наделены, мы убеждены в непо-

грешимости нашей логики. Потому, стараясь объяснить что-либо происходящее среди животных, мы им навязываем и наши мысли и чувства. Едва ли так можно что объяснить. Едва ли логика мышей совпадает с нашей и едва ли мышь строит силлогизмы. Раз так, не лучше ли отбросить все эти ни к чему не приводящие размышления и рассуждения и закончить эти записки в духе простого изложения, как они и были начаты.

Так я и решил поступить.



Приводя в порядок мои бумаги в шкафу, я нашел давно позабытую тетрадку с этими записками. К тетрадке был приложен мелко исписанный лист, будто письмо, обращенное ко мне. Как попал сюда этот лист? Не буду давать никаких объяснений. Это внесет элемент неправдоподобия в записки, где нет ни слова выдумки. Поэтому не буду настаивать на подлинности этого письма. Можно считать его апокрифическим. Но поскольку оно имеет отношение к этим запискам, я все же приведу его полностью. Вот текст письма:

Чрезвычайно трудно было расшифровать многое здесь записанное. Смысл многих понятий совершенно ускользает — у нас их просто нет. Что означают, например, понятия «дружба», «доверие»? Что такое друзья, мы не знаем. У нас существует только понятие «враги». Есть мы, все другие — «враги». То же с понятием «доверие». С трудом удалось уловить, что это нечто противоположное понятию — «полнейшее недоверие» — которое единственно у нас существует. Но даже если бы мы знали, что такое доверие, доверия к Вам у нас не может быть и не должно быть ни малейшего. Доверие к Вам представляется как измена, как преступление по отношению ко всему нашему племени. Добывание еды всегда сопряжено с большой опасностью. Ради этого можно приблизиться и к человеку (раз уж такой отыскался). Но на этом все должно и окончиться. Старик сблизился с Вами, потому что Вы спасли ему жизнь. Но уже Ваши сородичи считают такой поступок Ваш противным всем Вашим законам. Почему же от нас требовать каких-то сентиментов и какого-то благодушия? Почему мы должны простить старику

его чувства признательности и доверия, тогда как мы даже не знаем, что это такое?

По Вашим словам, старик перестал быть для Вас мышью и стал существом другого рода. То же и для нас. Он добровольно вышел из нашей среды, перестал быть как мы и *eo ipso* стал нашим врагом. Никаких половинчатых, промежуточных положений мы себе не представляем.

Ваш случай со стариком — случай единичный и, сам по себе, никакого значения иметь не может. Но это не путь для нас и это не пример. Материального вреда для нас не было, но ущерб моральный, я не скрою, был огромен. Это было непонятно, тревожно. Вносило смуту в умы. Это нарушало понятия, берущие начало в незапамятной давности, опровергало то, что было добыто горьчайшим опытом бесчисленных поколений, расшатывало устои, затрагивало самые основы, на которых держится наше абсолютно замкнутое общество.

И незачем было Вам со стариком пытаться что-то изменять в существующем порядке вещей и перебрасывать через пропасть какой-то шаткий мостик, который неизбежно должен был рухнуть. Разве что захотели выставить себя перед всеми в смешном виде?

Не все уж так плохо в Ваших записках. Есть несколько верных замечаний. Очень верно то, что сказано о нашем хвосте. Уместно упоминание о статуе Аполлона и объяснение дано правильно. Заслуживают внимания строки, где Вы (впервые) соединяете историю парижских мышей с историей города Парижа. Это совершенно справедливо, поскольку мы представляем подземное население города. И притом с незапамятных времен. Записки написаны до полетов в стратосферу. Только этим и можно объяснить, что Вы не упомянули, что мы, мыши, были первыми астронавтами.

П. С. Что касается Ваших намеков на возможную нашу связь с тайными неведомыми силами, замечу, что люди прошлых эпох могли пытаться войти в эту область. Вам же, при Вашем современном ограниченном кругозоре, лучше было этих вопросов не затрагивать вовсе и не пытаться заглянуть туда, где Вы ничего увидеть не в состоянии.



Знакомые, которые бывали у меня в это время, заставляли иногда мышей за обедом. Случалось, что я звал старика, чтобы показать его. Он приходил и, даже когда не был голоден, из вежливости брал у меня из рук кусочек бисквита. При мне он не боялся посторонних. Иногда я рассказывал что-либо о мышах, что мне казалось забавным.

Но скоро, однако, я стал чувствовать себя неудобно, неловко. Слова мои не попадали на то место, что я рассчитывал. Если я не видел пожимания плечами, я его угадывал. Такая низкая тема для разговора мало кого интересовала. Когда старик, на мой зов, спускался откуда-то сверху, иная дама шарахалась в сторону, будто мышь так уж и бросится, чтобы ее грызть. На лицах я ловил выражение не то недоумения, не то брезгливости. Кое-кто советовал купить белую мышь и держать ее в клетке. Кто-то рассказал историю поучительную: — «У нас тоже появилась мышь. Она забежала в нижний ящик буфета. Зная, что оттуда нет выхода, мы захлопнули дверцу. Она царапалась, потом перестала. Осторожно открыли дверцу. Оказалось, что она, ища выхода, влезла через узкое отверстие в стеклянный сосуд. Так мы там ее и оставили».

Другой знакомый, много раз встречая меня, всегда рассказывал одну и ту же историю — когда-то очень давно, мыши погрызли у него уголок книги. Книг у него не было, но он все опасался, что, когда книги у него будут, мыши могут их погрызть. И потому враждебно относился к мышам.

Ко мне устанавливалось отношение снисходительное, как к чудаку, которого «надо извинить». Действительно, все оборачивалось к тому, чтобы я сам перед собой представился в смешном виде. Это становилось досадным и несносным. Я перестал знакомить старика с лицами, бывавшими у меня, а если кто, снисходительно, начинал разговор о мышах, я резко обрывал. Недоумение, нерасположение, враждебность, злоба — это все, что мы со стариком встретили отовсюду.



Уголок оконного стекла внизу, державшийся замазкой, от-

скачил. Старик, напившись из своей чашки воды, со столика перешел на подоконник, заметил отверстие и вылез наружу на карниз. Он прошелся по карнизу в одну сторону и в другую. Заглянул вниз и убедился, что дальше ходу нет. Он сел у края и стал смотреть перед собой. Впервые глаз его охватывал такое огромное пространство. Внизу лежит длинная черепичная, покрытая патиной времени крыша «Солей д'Ор», откуда пришли его родичи, дальше ряд домов с пятнами окон, темными, когда окна открыты, светлыми или зелеными, когда завешены. Крыши, пересеченные там и сям печными трубами, дальше дома другой стороны улицы. Он давно привык к дневному свету. Еще со времени, когда он оставался на занавеске, он приучился охватывать взглядом большое пространство. Вид города, видимо, его интересовал и он по-своему старался разобраться в непривычных для него нагромождениях. Во многом он освободился от привычек прежней подпольной жизни, новые черты и свойства в нем образовывались. Из всего остерегающейся, пугливой мыши он превращался в зверька другого рода. Право на существование было за ним признано, он это осознавал и это сказывалось во всех его повадках. В нем стало проявляться нечто, что, я бы сказал, соответствует нашему чувству собственного достоинства. И пусть многие считают это смешным преувеличением.

Но вот по странной иронии судьбы, теперь, когда другая жизнь открывалась перед ним, где не было ни борьбы за существование, ни опасности, ни страха, невзгоды встречали и угрожали ему с другой стороны, где, казалось бы, меньше всего можно было их ожидать.

Не так просто было оторваться от тяжелого наследства, веками навязанного уклада прежней жизни. Оттуда тянулось за ним что-то злое, мрачное, нависло над ним и ему угрожало. Старик смотрел на город и его маленький силуэт странно выглядел на этом необычном для него, задержанном туманом, фоне домов. Мы оставались так долго, каждый погруженный в свои размышления. Как знать, что происходило в его маленьком мозгу? Я не знал, что смотрю на него последний раз.

Наконец, он пролез через отверстие обратно, спустился

с подоконника и ушел куда-то за прислоненные к стене холсты. Больше я его никогда не увидел.

Вечером, вернувшись домой, видя, что старик не приходит к обеду, я несколько раз звал его нашим условным стуком. Он не пришел и больше не вернулся.

Следующие дни мыши к обеду не приходили. Ночью, только изредка, по углам слышались шорохи. Вскоре мне пришлось уехать. Когда я возвратился мышей у меня не было.

Михаил Андреев



Уходишь, все легче во мглу скользя, —
Прости, прошу:
Казалось, дышать без тебя нельзя,
А вот — дышу.

Хоть радость неслышно ушла с тобой,
Есть жизнь во мне:
Должно быть, для жизни важнее — боль,
Нужней, родней.



День лежит лазурной повязкой
На глазах, притворяясь раем.
С ним, слепящим солнечной маской,
Мы, как дети, в жмурки играем.

И, как дети, забыв тревогу,
Шаря в воздухе торопливо,
Над обрывом заносим ногу,
И — не вскрикнув, летим с обрыва.

ПОСЕЩЕНИЕ

Здесь сонной комнаты застой, —
Давай окно раскроем,
И ветер, свежий и простой,
Войдет в тепло застоя.

Он брел по рощам и лесам,
По пахоте и лугу,
И вот войдет спокойно сам
Без приглашенья к другу.

Войдет, поставит в угол трость
За узкой книжной полкой,
Запахнет деревенский гость
И чебрецом и телкой.

С улыбкой примем старика,
Послушаем скитальца,
И будем вежливы, пока
Не занемеют пальцы...

Окно прикроем. И теплу
Опять верны, как были.
И гостя нет. А трость в углу
Лежит комочком пыли.

Лидия Алексеева

МЕЙНЕ КЛЕЙНЕ

Популярность ее началась с восторженного отзыва о человеческих мозгах. Жирны, вкусны, но перед тем как варить, надо снять покрывающую их серую пленку.

Мама часто приносила головы. Однажды, оказалась голова бухгалтера, ходившего на службу мимо их окон. В другой раз, развернувши тряпицу и омыв лицо с ниспадавшими пепельными прядями волос, мать вздохнула: «Ах сердешный!» Это был Сергей Сергеевич, инженер с электростанции.

Из бухгалтерского мозга вышел великолепный суп, но котлеты из инженерского были противны.

В те дни никто не заглядывал к ним в пустой дом. Слышался иногда скрип снега под коваными немецкими сапогами. Русские не показывались после того, как тут повесили семерых. Больше месяца висели они и Леночка каждое утро замечала в них перемену. Два мальчугана из ремесленной школы оказывались то повернутыми друг к другу, точно сговаривались на рискованное предприятие, то лицами врозь — поссорившиеся, сердитые.

Раз утром, когда все покрылось инеем, веревки сделались серебряными. Женщина повешенная за то, что разыскивала в неурочное время своего ребенка, превратилась в белую фею. Косматый мужик грозно, как пророк, обратил к городу свои седины.

Но как мучились и стонали они в метель!

Одна мама не боялась ходить мимо повешенных. Ее и канонада не пугала. По ночам, прислушиваясь к взрывам шептала: «Это Кронштадт! Кронштадт!...»

Лена научилась от нее различать тяжелую кронштадтскую пальбу от частого огня полевых пушек Ленинграда. Знала, что матери больше нравятся истерические взвизги их снарядов,

чем вой кронштадтских чемоданов. Ленинград бил шрапнелью и без числа истреблял мирное население. У мамы были излюбленные места в городе и в парке. Саксонцы, пилившие на дрова двухсотлетние елизаветинские дубы и липы, часто видели, как она рысцой пробегала через верхний сад, мимо занесенного снегом Нептуна и всегда с нею выцветшая продуктовая сумка. Ее видели чаще всего там, где рвались снаряды. Принимали за сумасшедшую искавшую смерти. Раз, как-то, возле больших ворот парка убило много пленных и трех конвоиров. Она, как крыса, побежала вдоль разбитых обгорелых домов и застала еще дымящуюся кровь на снегу. Принесла в этот день три головы.



Но однажды ушла и не вернулась. Леночка просидела три дня в пустом доме. Повешенные манили легким колебанием лохмотьев, но выйти на улицу было страшно.

На ее плач пришел немец, дал конфетку и увел в детский дом. Дети пели, когда они вошли. Бледные рты шевелились, не оживляя высохших старчески мудрых лиц. Кто-то безутешно заплакал и сразу замолчал. Леночка, забившись в угол, долго не хотела выходить оттуда. К вечеру она спросила детей, почему они голодают. Ей ничего не ответили. Только, когда стала рассказывать о мозгах, желтые личики и заостренные подбородки повернулись в ее сторону.

Все равно ты умрешь! — сказал черный угрюмый мальчик.

Нет, не умру!

Но мальчик скривил губы, как бесконечно много знающий.

— Все умрут, и Анна Петровна, и верхние.

Верхними были мальчики от девяти до одиннадцати, жившие на втором этаже. Это они первые узнали, что умрут. У них стояла тишина, позволявшая различать в гуле отдаленной канонады каждый отдельный выстрел. Они не разговаривали, сидели уродливыми гномами, в ватных шапках, в пальто.

— Почему ты не смотришь в книгу? — спросила одного из них воспитательница.

В могиле можно лежать и некультурному.

Малыши внизу встретили весть о смерти спокойно. Воодушевлялись всякий раз, когда заходила речь о супе — коричневой воде с мелко нарубленной сухой листвой и древесной корой. Она не всегда была посолена. Немцы скупались на соль. Похлебку съедали без хлеба. Хлеб сделался предметом поклонения. Порции величиной с облатку принимались, как святые дары, облизывались, обсасывались, заворачивались в тряпицу и клались под матрас. Их вынимали по несколько раз на дню и снова любовно облизывали. Многие не могли уже есть от истощения. Умирали, чаще, во сне и перед обедом. Леночка видела, как белоголовая девочка, получив кусочек хлеба, успела его поцеловать и тут же, схватившись за круглую печку, упала. Некоторые, замотав ни с того, ни с сего рученками, валились на пол и умирали. Лишь черный мальчик, бывший когда-то очень здоровым, долго корчился, хрипел и звал свою расстрелянную маму. Леночка вспомнила про свою, про пустой дом и разбудила в полночь воспитательницу громким плачем.

Тетя, моя мама умерла!



Она не знала, как попала на руки к женщине, от которой пахло пудрой. Должно быть с разбега, когда плача навзрыд и ничего не видя, бежала к своему прежнему дому. Рядом шумела и теснилась толпа.

— Цурюк! Цурюк! Нур мит киндер! Нур мит киндер! — кричал нечеловеческий голос.

Когда женщина с Леночкой на руках протиснулась сквозь кричащее и плачущее сборище, ей сказали: «Лос!» Она уже протянула руку, чтобы взяться за борт грузовика, как здоровенная солдатская лапа вцепилась в нее, чтобы снять часы. Женщина вздрогнула и трепет ее передался Леночке. Потом снова «Лос!» и они поднялись на машину.

— «Слава Богу, кажется выбрались!» — прошептала женщина, когда переполненный грузовик, проколесив по обгорелым улицам, вышел в поле.

Разбитый вдребезги, запорошенный снегом Петергоф с

голосащими и рвущимися снарядами убегал вдаль. Скоро не стало ни взрывов, ни свиста — одни снежные шапки обрушивались с сосен.

Уже по выходе с грузовика, пудренной женщины не стало. Леночку завертела новая толпа. Понесло в одну сторону, потом в другую и при каждом шквале гремел джаз металлических котелков и мисок.

— Ребенка задавили!

Как в тумане возникла дымящаяся походная кухня, веселый одноглазый немец, наливавший ей суп.

— Зо, мейне клейне!

Потом ее усаживали в душистое сено, закутывали тряпьем. Стоявший рядом с розвальнями мужик сердился: «Да на кой мне она! Что я буду с ней делать? У меня и так в каждом доме битком набито. Пусть дербиновские возьмут!»

Но немец дал ему пощечину и мужик, ворча и ругаясь, шел рядом с Леночкой.

От горячего супа, от скрипа полозьев, от лошадиного «чап-чап», Леночка задремала. Во сне видела что-то хорошее: ее целовали в щеки, в голову и громко спрашивали:

— Как ваше драгоценное здоровьице, господин староста? Довольно ли вами начальство? Когда же получите железный крест от фюрера?

— Ха! Ха! Ему березовый приготовлен.

— Товарищ председатель, да ведь я не...

Открыв глаза, Леночка различила медную бляху шлеи и конский хвост мирно двигавшийся из стороны в сторону по передку саней. Она впервые почувствовала добрый сельский запах смиренно стоявшей лошади. Сквозь стрельчатую готику елей мигали звезды. С елок то и дело осыпался снег от голосов, раздававшихся где-то рядом с санями.

— Народ в Германию отправлять?!... Сукин сын!

— Да нешто это я, товарищ председатель?...

Послышалась оплеуха. Потом другая. Слышно было, как снег скрипел под ногами что-то усердно делавших людей. Леночке страшно стало от этого напряженного скрипа. Когда она с большим усилием дотянулась до края розвальней и выгляну-

ла назад, увидела огромного зверя копошащегося, рычащего, умоляющего.

— Товарищи, да что вы, да я!...

И вдруг, на весь лес крик, от которого все тело ее онемело. А потом ужасающий грохот, вызвавший снеговые обвалы с ветвей. Она упала в мягкое сено и последнее что видела, были мчавшиеся на нее звезды, снежные ели и перелетавшие через передок саней комки снега из-под копыт.



Когда ее полузамерзшую внесли в избу, она долго не могла плакать; вместо плача вырывалась икота.

— Зовите старостиху то, — сказала старушка, снимавшая с Леночки беличью шубку, растиравшая ей ручонки. Старостиха прибежала бледная.

— Вот кто приехал, а Семена то нет, — сказала ей старуха, — конь под навесом стоит.

— А где Семен? Где Семен? — шептала старостиха, наклонившись к Леночке.

— Да что ты не видишь, она зашла вся! Да и что она тебе скажет?

В избу стал набираться народ. Только немного отогревшись Леночка могла внятно отвечать. От ее бессвязных слов старостиха с криком повалилась на пол. Пока женщину усаживали на лавку и успокаивали, Леночка крепко заснула. Утром приятно потянулась, почувствовав теплоту и запах избы. Но ее, как ножом резнул голод. Запах печеной картошки сводил с ума. Она долго крепилась, потом начала всхлипывать.

— Проснулась, — сказала старуха. — Вот еще наказание! Что я с ней буду делать?

— А в Филипов дом...

При упоминании Филипова дома наступило молчание. Потом первый голос опять:

— Уж видно придется... И сколько их! Все идут и идут...

Леночка поняла, что разговор был о ней.

А где твоя мама-то? — спросила старуха.

— Умерла.

Да как же ты одна приехала?

Леночка начала громко хныкать. Старуха велела девочке, чуть постарше Леночки, дать ей теплую картофелину, посыпанную солью.

— Мы тебя кормить не будем, — сказала девочка, протягивая картофелину, — вас много, вы и так всю деревню объели.



В сенях Филипова дома недобрая тишина. «Закрывай дверь-то», — услышала она, когда остановилась на пороге. Говорила женщина, сидевшая на лавке. Голова у нее, как гиря падала на грудь каждый раз, как только она ее поднимала. Она шептала что-то, облизывая сухие, как газетная бумага, губы. В хрипах избы слышалось: «Пить! Пить!» Возле мертвой женщины на полу плакал ребенок. Раскрасневшийся юноша выкрикивал непонятные слова. Леночка чуть не вскрикнула, увидев уставленные на нее черные, как уголья глаза и белые зубы, которые невозможно было прикрыть укоротившимися, высохшими губами. Без слез, без крика она стала всем телом биться в тяжелую дверь.

И опять — конское «чап-чап», стук снежных комьев в передок саней, брань и всхлипывание курносой девки.

— Холера бы вас всех забрала! Что мне из-за тебя пропадать, что-ли?

Девка со страхом поглядывала на синевшую полосу леса и подхлестывала коня.

— Ведь не доедем засветло!

Сумерки приближались скорее чем лес. Снег стал синеть и на него, вдруг, ястребом спустился вечер. Зажглись звезды, а у самого леса два-три желтых огонька. У девки губы тряслись от страха.

— Теперь дойдешь... Тут через мостик недалече... Видишь огни?

Она вытолкнула девочку из саней и прежде, чем та успела опомниться — повернула лошадь и помчалась назад.

— Тетя! Тетя!... — закричала ей вслед Леночка и по тому, как испугалась собственного голоса поняла, что случилось

особенное, непохожее на прежние несчастья. Ноги не держали. Она падала лицом в снег, поднималась и снова падала.

— Тетя, милая!... Не бросайте меня!...

В этот вечер, еще не зная что такое мир, она почувствовала себя одной во всем мире. Беспощадная тишина со всех сторон. Глаза заволакивали золотые и серебряные нити, похожие на елочные украшения; и ей трудно было понять, что это слезы смешавшиеся со снегом и со звездами. Утерев их рукавом беличьей шубки, увидела перед собой черный занавес тьмы и белевшие перила моста. Из тьмы доносился говор толпы. Закричать, чтобы услышали, чтобы пришли и взяли ее брошенную, окоченевшую!... Но говор шел из-под моста, был деловит, серьезен и так же безучастен к ее судьбе, как снег, как березовые перила моста.

С этой минуты она перестала чувствовать свое тело. Кто-то другой переставлял ее ноги, чьи то чужие глаза различали три желтеньких огонька вдали. К ним стали примешиваться зеленые. Желтые неподвижны, но зеленые двигались из стороны в сторону. Какие-то собаки шли справа и слева. И опять, не она, а кто-то другой закричал так, что собаки отскочили, а со стороны леса бухнул выстрел и светящаяся искра пронеслась в небе.



Над ней склонилась молоденькая девица, снимала с нее и рассматривала шубку.

— Беличья.

Заросшие люди с ружьями, с лентами патронов через плечо толпились в грязном свете керосиновой лампы. Она ничего не понимала, кроме того, что ей ничего не понять в этом мире.

И вот она в темной комнате, где на соломе валялись дети убитых и умерших матерей. — «Золото есть?» — спросил мальчик, возле которого ее положили. Леночка не знала, что такое золото. — «Часы, кольца, крестики?» Она недоумевала.

Мамины чулки, платки, пальто.

У меня нет мамы.

— Дура. За что же тебя взяли?

Мальчик был очень умный. Он рассказал, что сюда принимали только с золотом и с хорошими вещами. Золото и вещи шли на самогон в соседние деревни.

— Это потаскухи, — сказал он про девиц.

Не зная что такое потаскухи, Леночка не поняла и другого слова, сказанного в пояснение. К ночи за стеной заиграла гармошка, поднялся топот, визг, опрокидывались табуретки, кто-то падал на пол.

— Отстань, зараза!

— У них будет ребенок, — сказал мальчик.

Леночка многому научилась от детей. Но они никогда не пели, не смеялись. По ночам тихонько плакали, уткнувшись в грязное тряпье. Никуда не выходили. Одна Леночка любила гулять. Вместо беличьей шубки ей дали лохмотья. В них она мерзла так что чуть живая приходила домой. Часами простаивая в снегу и коченея, она, как замороженная глядела в чашу леса. Лес начинался сразу за домом. Ее до костей пробирал тот же страх что на мосту, когда она слушала шум речного потока. В груди постоянно ныло.

— Это оттого, что ты много думаешь, — сказали ей дети.

Они часто высказывали опасения, что их могут расстрелять за связь с партизанами. Партизаны приходили каждую ночь, гуляли с девицами и отсыпались после лесных землянок. Однажды увидели на дороге грузовые машины полные немецких солдат. Дом оцепили.



В ее жизнь вошел новый предмет, вагон-теплушка с мелькавшими в полуоткрытой двери заснеженными полями, избами деревень. Возле топившейся буржуйки, молодой человек рассказывал, как служа у немцев, жег русские деревни. Другой, пожилой, с подвязанной рукой называл себя старостой. Его семью убили партизаны; пришли в избу, прочитали приговор и выстрелили сначала в жену, потом в сына подростка и в пятилетнюю дочь. Самого оставили напоследок, да пуля попала в руку, он упал и его сочли мертвым. Слушая рассказы, дети

шептались между собой. Чаше всего они спали под стук колес, под немецкую и русскую речь. Однажды проснувшись услышали: «Родина!... Родина!...» Говорили, что переезжают границу. Взрослые плакали. Дети не знали, что такое граница и что такое родина. Только, когда пошли чистенькие станции, полные чистых, хорошо одетых людей с недобрыми лицами, с холодными глазами, они притихли. И сколько потом ни ехали, конца не было строгим лицам, чужому непонятному говору.



Черным призраком встретил город, где они сошли с поезда и пересажены были на грузовик, понесший их по сумрачным улицам. В каком-то огромном доме со множеством коридоров их мыли под душем, водили по одиночке в кабинет к доктору. Он вертел им суставы, накладывал на головы металлическую пластинку и переложив на бумагу, вычерчивал карандашом ее изгиб. Приставлял угольники к затылку, ко лбу, к носу.

— Гут! — пробормотал он, осмотрев Леночку. Потом спохватился, начал выслушивать грудь и спину.

— Мейн Гот! Зи ист краנק! Эс клингт ви ейне армоника ин ирэн люнген.

Разорвал все написанное и бросил в корзину.

— Ин Хоэнбрунн!

И опять по темным улицам чужого города, едва поспевая за гренадерским шагом медицинской сестры. Открылось пустынное поле. Далеко на краю, припав к земле, поджидал деревянный барак, тускло освещенный внутри. Хоэнбрунн.

— А, мейне клейне!... — запел противный ласковый голос.

Леночка с трудом разглядела седоватую голову, подстриженную бобриком, масляную улыбку и сопевшую трубку никогда не вынимавшуюся изо рта. Это она, казалось, наполняла барак тошнотным кислым запахом. Девочке захотелось убежать, но ее успели схватить за руку и увести в конец барака. Там, после уговоров уложили на досчатый тапчан с жиденькой подстилкой, где она заснула не раздеваясь. Приснилось, что у нее седые волосы и лицо такое же сморщенное и старчески муд-

рое, как у петергофских детей. Наутро увидела гнилые соломенные матрасы с копошащимися червями, мальчиков и девочек с потухшими, безучастными ко всему глазами. Подошел человек с трубкой. — «Зо, мейне клейне!» И опять стало жутко от его ястребиных глаз и улыбки.

— Тетя доктор, я боюсь его, — сказала она женщине в белом халате.

Не бойся, деточка.

— А что мы здесь будем делать?

— Будем жить.

Лежавшие на гнилых матрасах дети тяжело молчали. Некоторых под вечер куда-то уносили. Человек с трубкой внимательно следил за всеми.

— Ворон проклятый, — ворчала на него русская девушка, уборщица.

Чаше всего он подходил к самым слабым. — «Зо мейн либер!» — Потом с торжеством кричал: «Горбовски! Эр ист тод!» Приходил молчаливый человек в синей блузе, брал детское тело и уносил в холодный сарай с единственным окном забранном решеткой. Там оно лежало до утра.

Леночку выпускали гулять во двор, обнесенный частоколом. За частоколом поле, сбоку лесок, а возле — бугорки земли с деревянными крестиками грубо сделанными из палок.

Что это, тетя?

Это... так.

А почему все дети лежат?

Они больны, деточка.

А я здорова, — думала Леночка.

Но ей постоянно хотелось куда-то уйти. Подолгу смотрела в простор грязного поля, унылого, как те барачные дни, что потянулись серой чередой. Дети умирали. На их места привозили новых русских и польских детей. Бугорков земли с крестиками становилось все больше возле леса.

Уборщица сказала как то раз, что Леночку нельзя пускать на улицу. Кашляет. Докторша ничего не ответила; у нее часто навертывались слезы, когда она смотрела на девочку. Та уткну-

лась ей однажды в колени и разрыдалась: «Ах, тетя доктор, что же это такое?... Что же это будет?...»

И вот пришел день, перевернувший всю ее жизнь. Проснувшись заметила, что в бараке больше света, чем было всегда. Взглянула в окно и вскрикнула. Небо раздернулось как занавес, обнажив скрывавшуюся дотоле тайну — драгоценную ризу, сверкавшую голубой и белой парчей, переливавшуюся цветными камнями.

Тетя! Тетя! Что это такое?

Это Альпы.

Что такое Альпы?

Горы.

Тетя, я хочу туда.

Это очень далеко, девочка.

Все равно. Я пойду... Я не устану...

Выйдя во двор, она до полудня любовалась чудесным зрелищем. Когда позвали обедать, она, едва успев съесть скудную порцию, снова выбежала из барака, но вернулась в слезах. Видение пропало. Каждое утро с тех пор подбегала к окну: не раздвинулась ли серая завеса, скрывавшая горы?

Она побледнела, осунулась, зацвели красные пятна на щеках. Все чаще оставалась лежать после пробуждения. Раз утром, встав со своего топчана, упала. Ее не водили больше к обеду, но кормили в постели. Каждый день спрашивала, когда же будут Альпы. Подходила докторша. Леночка целовала ее руку и заливалась слезами. Ястребиные глаза останавливались на ней все чаще. — «Зо Ленхен! Зо мейне клейне!» Скоро она перестала принимать пищу или съедала всего несколько ложек скверной похлебки. Мало разговаривала. Вечером однажды спросила: будут ли завтра Альпы?

— Будут! Будут!

Утром она не проснулась. Докторша сказала: «Пусть спит».

Но человек с трубкой несколько раз подходил и подолгу стоял у постели. В полдень он завопил на весь барак: «Горбовски! Зи ист тод!»

Прибежала докторша. — «Вартен зи, хэр лагерфюрер!

Филлейхт ист зи нох нихт тод». Но стриженная бобриком голова замоталась, как у строптивой лошади. Девочку вынесли в сарай.

Утром Горбовский выкопал яму возле леса и отправился за телом. Отворив дверь, он вздрогнул. Леночка стояла у окна, крепко вцепившись в железные прутья решетки.

Она была мертва, но глаза как у живой страстно глядели вдаль.

Н. Ульянов

СОВЕСТЬ

Бывает, средь забот,
Сквозь злобу и усталость,
Вдруг душу захлестнет
Мучительная жалость

Ко всем, в ком боль и стыд,
Кто, как на дне колодца,
Истерзан, позабыт,
Кто перестал бороться,

Кто не способен мстить,
Кого разлука гложет,
Кто может все простить,
Но разлюбить не может.

Когда, под жизни склон,
Снег в сердце, без проталин,
Раскаяния стон
Нелеп и театрален.

Поэзия утрат,
Романтика несчастий...
Сознания распад
Предельный, иль отчасти?

Для злости силы нет,
Нет сил и для смиренья...
Сентиментальный бред —
Мотив стихотворенья.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА

Нега и мудрость — богатство Востока,
В северных сказках сиянье мечты.
Тут и обман, и любовь, и жестокость
Не по-земному беспечны, чисты.

Гаснет поэзия, падают листья,
Грязной метлой ошетижилась жизнь.
Алчность шныряет повадкою лисьей
В мире реальной и будничной лжи.

Быт раскрывается в цифрах привычных,
Песни и вымыслы здесь никчему.
Гадкий утенок стал уткой приличной,
Голый король в сумасшедшем дому.

ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ

Поэт большой, не карлик,
Жил средь реальных тел;
Вдруг, как воздушный шарик,
Сорвался, полетел...

Могла б сдержать поэта
Какая-нибудь нить.
Нельзя на свете этом
Без притяженья жить.

И вот, когда истлела
Связь с очагом родным,
Он робко и несмело
Растаял яко дым.

Глеб Глинка

БУНИН

1

Бунин — последний дворянин в русской литературе, но уже неслужилый.

Молодой Бунин написал несколько народнических рассказов, но потом вспоминать о них не любил (*Танька*, 1892 г., *Вести с родины*, 1893 г.). В *Жизни Арсеньева* он утверждал, что его отчасти автобиографическому герою не было никакого дела до волжского голода, и издевался над интеллигентской фразеологией: “бывали хуже времена, но не было подлей” (о царствовании Александра III-го); “...никакого долга перед народом я никогда не чувствовал и не чувствую”, — говорил еще Арсеньев. Это отчасти ретроспективные заявления, но, напомним, что еще в ранней юности Бунин писал Варваре Пашенко (“Лике”): “У меня не только пропадает всякая ненависть к крепостному праву, но я даже начинаю невольно поэтизировать его” (14 авг. 1891 г.), и здесь он неожиданно совпадает с Константином Леонтьевым. Но не думал он в те годы и о “службе царской”... Арсеньев, как и Бунин, даже не кончил гимназию — просто “по вольности дворянства”, как выразился его отец.

Себя, — *свое лицо* Бунин нашел в *Антоновских яблоках* (1900 г.). Горький так отозвался об этом рассказе: “Хорошо пахнут антоновские яблоки — да! — но они пахнут отнюдь не демократично” (1901 г.), и был прав. Все же Бунин еще долго уживался с радикальной и даже революционной интеллигенцией, участвовал в сборниках *Знание*, дружески общался с Горьким, о котором позднее вспоминал с такой ненавистью.

Дворянское самосознание Бунина не этическое, социальное, а эстетическое, индивидуальное, хотя его нельзя назвать ни эстетом, ни индивидуалистом: как мы увидим, все бунинское куда сложнее, и всякие этикетки к нему неприменимы. Все же, прежде всего за красоту, а не за какую-нибудь правду, любил он “оскудевших” дворян, охотящихся на тетеревов, бряцающих под-вечер на гитаре, влюбляющихся в барышень, в девок и про-

дающих все, что еще можно продать. Эту красоту разоренных дворянских гнезд любил и Тургенев, но своего пристрастия к ней стыдился, а Бунин в *Суходоле* упивается красотой разорения и еще — красотой одичания. Помещики Хрущевы садились за стол с араппниками, рассказывает внукам верная Наталья, и дети, затаив дыхание, слушали нянькину сказку-быль. Все сказочно-поэтично в *Суходоле*: красавец Петр, его обезумевшая сестра, сумасшедший дед, все охоты, драки, грозы, развал. Еще поэтичнее наглец-удалец Гervасий, весело хамивший господам и пристукнувший “незаконного” отца своего — старого рехнувшегося Хрущева. Интеллигенты так бы о нем сказали: вот жертва серального крепостничества, — жертва отомстившая-таки порабощителям! Но никакой социальной тенденции у Бунина нет. Гervасья — мститель, но не революционер, даже не бунтарь пугачевского типа. Если бы его усыновили, то он драл бы с мужиков последнюю шкуру. По сравнению с этим бастардом как-то мелкотравчаты, слабонервны многие из любимых дворянских героев Бунина, будь-то Митя или даже полуавтопортретный Арсеньев. Бунин с восхищенной завистью рассказывает о Гervасии — смуглом “парсе” с пепельно-синими губами, и о его дерзости. Своему глуповатому братцу-баричу он говаривал: — Поцелуйте перва ручку у меня!

Красота в мире Бунина витальная, какая-то первозданная, и его эстетическое мерило: живое напряжение, живость, страстность, хотя любил он и осеннее увядание, и в природе и в дворянском быту, да и многое другое.

2

О бунинских мужиках следует судить не по его знаменитой, но, в общем, неудавшейся *Деревне*, где все герои вялые, бесталанные, нудные, а Бунин ведь более всего ценил живость, таланты. Слабые, но добрые люди (любимцы Чехова) его мало занимали: любовь-жалость, прославленная в русской литературе, его не вдохновляла. Если Бунин и жалел, то преимущественно сильных или же неудачников с богатым воображением, с живописными причудами.

Никаких народнических иллюзий у зрелого Бунина не было, но все самые даровитые его герои — крестьяне, чаще всего дворовые, как полукровка Гervасий. Сколько находил он среди них счастливо одаренных рассказчиков. В выразительной речи

дворовых забавно, а иногда и трогательно скрешиваются сказочные, песенные, житийные слова со словами иностранными, подслушанными у господ или же вычитанными из грошевых романов вроде “Милорда глупого”, высмеянного Некрасовым. Хорошо рассказывает бывший буфетчик Арсений, и двое барчуков, как и хрущевские внуки, слушавшие Наталью, жадно внимали речам старого полупьяного личарды (*Святые*, 1914). Один рассказ о блуднице Елене-Адели: хозяйка зачала ее мальтретировать, и она удалилась в дремучий лес, “где, может быть, только одни орлы скрывают да рыси по дубам прядают”. А в другой потешно-жалостной повести пересказывается житие отрока Вонифатия: был он бокутир, беспутная головушка, а потом проклял языческих богов, и “принял мечное сечение”, с упоением говорит Арсений: — “Уж очень мне его кураж нравится!” Так, с добавкой народных и французских слов докатились чуть ли не до XX-го века священные предания давно опочившей Византии. Тут вспоминается Лесков и его *Запечатленный Ангел, Левша или Воительница*. Что и говорить, Лесков умел мастерить — оттачивать свой сказ, но, вместе с тем, он иногда очень уж перегружал свои сказовые повести диковинными словечками, за что его осуждали Толстой и Достоевский. У Бунина сказ дается в умеренных дозах, и не становится самоцелью, как иногда у Лескова, коллекционера занятных выражений, как подслушанных, так и вымышленных. Тот же сказовый “коктейль” намешан в рассказах юродивой Машеньки о звере Тигре-Ефрате или о жестоком князе, забиравшем деревенских девок “в свою сераль” (*Баллада*, 1938 г.). Последняя сказовая повесть Бунина (*Ловчий*, 1946 г.): “...лежит на поляне взятый зверь, кровавой, уж с пленкой на глазах, с закушенным языком, а округ него целой ассамблеей охотники — вдаришь в рог, и грянут все хором: — Выпьем други на крови! И вот какое дивное дело бывало почесть всегда: как нарочно о ту пору солнце выглянет (...) и весь мокрый лес озарит, согреет, сделает такой апофеоз — вовек не забудешь...” И как хорошо, что незаметна в этой речевой музыке стилизация, как у Лескова, и, тем более, у Ремизова.

Талантливый рассказчик появляется в рассказе *Божье древо* (1927 г.), — мещанин-скептик Боголепов. Не верит он ни в ад, ни в рай: — “Ничего там не будет: ни трубочки, ни водочки...” и отзвук его речи неожиданно находим в стихах

Георгия Иванова: — “Трубочка есть. Водочка есть”. (Если бы жить... Только бы жить).

Князь во князьях (1912 г.) — казалось бы превосходная иллюстрация, как для старо-интеллигентских, так и для аналогичных советских филиппик против кулаков-миродов, но если присмотреться к этому деревенскому самодуру, то станет очевидным некоторое авторское сочувствие к ярко изображенному Князю во князьях, наделенному такой неисчерпаемой жизненной энергией: и он явно выигрывает, если сравнить его с разорившимися помещиками Никулипыми, из чего опять-таки не следует, что Бунин разоблачает здесь оскудевавшее дворянское сословие! Этот мужик-князь построил себе каменные палаты, а сам продолжает ютиться с семьей в вонючей землянке. Говорит он мало, отрывисто, но и у него в запасе немало запоминающихся красных слов. С каким упоением рассказывает он о себе и о своих чернопегих битюгах: — “Истинно, как Адам в раю живу! Истинно князь во князьях (...) стану помирать, накажу цельную тройку запречь в самую первую телегу, — тройкой гроб помчат!”

Много у Бунина и других мужиков-живчиков, жадных, цепких или же размашисто-бессмысленно тратящих свои силы, как богатырь *Захар Воробьев* (1912 г.). Но замечал Бунин на Руси и другое: жестокость, глупость, бестолковщину, в особенности, в *Деревне* или в рассказах начала 10-х г.г. (*Ночной разговор, Жертва, Я все молчу*).

3

Не был Бунин ни на службе Империи, ни на службе Революции, но было у него особенное чувство России, русской земли, лесов, полей, степей и чувство над бесконечными равнинами простирающегося неба с улетающими журавлями: — “Ах, грустно! Ах, улетели журавли, барин!” — восклицает пьяный красавец-мельник и в его бессмысленной лирической тоске не меньше поэзии, чем у многих русских поэтов, воспевавших осень. Бунин — лирик в прозе и грусть ему понятна. Ему тоже понятно, но менее близко эпическое ощущение родины, напр., у мещанина Ростовцева, восхищавшегося стихами Никитина: — “Это ты, моя Русь державная, моя родина православная” (*Жизнь Арсеньева*).

Бунин прожил больше половины своей долгой жизни в го-

родах, — в Москве, в Париже, а в русской деревне провел лишь неполных двадцать лет. Он давно уже оторвался от помещичье-деревенской почвы, стал космополитом по привычкам да и по настроениям, многое было ему близко и на Западе, но все же о русских родовых корнях он помнил до самой смерти. Была в нем “почвенность”, но не идеологическая, интеллигентская, а настоящая, физическая да и душевная. По сравнению с бунинскими крестьянами, не только тургеневские Хорь и Калиныч, но даже мужики Толстого увидены как-то со стороны и показаны внешне (чего, однако, нельзя сказать о Глебе Успенском, которого Бунин очень ценил, и не только за понимание деревенской жизни, но и за язык).

Не помогла ли Бунину понять мужика бедность? Чтобы съездить из разоренной усадьбы в город, молодой Бунин, чередуясь с братом, напояливал тот же самый пиджачек, а довозили его туда местные мужички с оказней... Это его с крестьянами почти уравнивало и говорили они с ним, не стесняясь, откровенно и иногда грубовато-насмешливо. Но народником Бунин не стал и идеальных крестьян вроде Платона Каратаева, Алеши Горшка или Акима (во *Власти тьмы*) не выдумывал. Не позволяла ему это делать его художественная совесть, а вот одаренных людей в деревенской “массе” он постоянно находил.

Бунин — отпрыск обедневшего, но когда-то славного рода, был, вместе с тем, настоящий сын русского народа, хотя о “борьбе с пауперизмом” не задумывался и о черном переделе не спорил. Этот лумпен-дворянин мечтал разжиться, как его Князь во князьях, но не для того, чтобы нелепо ютиться в землянке, а чтобы жить со вкусом, с толком, объезжая весь мир в первом классе поездов и пароходов. Кроме чувства земли, было у него еще чувство буржуазного комфорта. Он испытывал истинное наслаждение от накрахмаленных скатертей, замороженного шампанского, склоняющихся лакеев. Обычно думают, что Бунин осудил своего *Господина из Сан Франциско*, а заодно и “капитализм”. Да, он заметил чадный ад под блистающим “первоклассным” раем океанского парохода, но и сам, не меньше калифорнийского нувориша, этим парадизом наслаждался. Ведь и он тоже был *самодельный человек* (self-made man). Существеннее, что Бунин отказал американцу в таланте, в живости, и отдал эти дары абруцким бродячим музыкантам, появляющимся в эпилоге повести, но и тут, конечно, никакой народнической тенденции не было.

Еще ближе ему тот цейлонский делец, который когда-то был мальчишкой на побегушках в московской лавке. Но и этот *Соотечественник* (1916 г.) не знал, как богатством наслаждаться и спился в тропиках. А Бунин знал: был у него талант художественный и был талант жизненный: пил он запоем не виски и шампанское, а всю драгоценнейшую влагу из *чаши жизни*, которая прошла мимо губ героев его повести, так названной. Аппетит ко всему был у него завидный, здоровый. В этом смысле Бунин тоже народен, "почвенен". Чего нехватало ему в юности, наверстал он в зрелые годы, хотя и знал нужду в военные и последние годы жизни. А настоящее богатство заключалось в его наметанном глазу художника и в накапливаемых и даром не растрачиваемых впечатлениях бытия.

4

Повторяю: Бунин понимал все эпическое, но ближе было ему все лирическое. Был он лириком, и не в стихах, а в прозе, и лириком романтического склада. Разве не романтична поездка молодого Арсеньева (и, кажется, также самого Бунина) в Полоцк, в Витебск, куда он поехал почти без денег, чтобы услышать гул католического органа и увидеть каких-то закованных латников в костеле.

Романтично его ощущение счастья, даже вечности во мгновение ока: *die Macht des Augenblicks*. Для Бунина прекрасно то, что живо и мгновенно, как вспышка молнии. Все его творчество насыщено грозами, начиная с *Суходола*, где усадебный дом Хрущевых сожгла молния. В этой повести грозовое небо, то розово-золотое, то бледно-фиолетовое. На Индийском океане, пишет он, загораются "борозды зеленой огненной пены". В *Божьем древе* — жестяное зелено-белое пламя молний. Герой рассказа *Натали* видит при зелено-голубом озарении что-то неземное, сразу раскрывающееся всюду точно быстрые глаза. Такие вот *быстрые глаза* художника были и у самого Бунина, с упоением вырывавшего прекрасные миги из времени и у смерти.

Любовь в бунинском мире тоже быстрая, без толстовского семейного счастья: молниеносная. Это, напр., одуряющий *Солнечный удар* — как называется один из самых насыщенных эросом и незабываемых рассказов Бунина. Иногда длительному счастью любовников, казалось бы, ничто не мешает, напр., в рассказах *Генрих*, *Натали*, *Три рубля*, но все три героини уми-

рают, и не потому ли, что Бунин длительного счастья описывать не умел, да и не стремился к этому.

Арсеньевская Ли́ка: в пей мало “телесности” других бунинских героинь. Образ ее — зыбкий, лирический. Любовь Арсеньева и Лики: счастливая, бессмысленная и эпитеты эти в романе повторяются, как аккомпанимент: пианино запело бессмысленно-божественно-весело... и беспомощно-блаженно кричали молодые петушки в усадьбе... Здесь поневоле вспоминается Мандельштам, которого Бунин едва ли читал: “За блаженное, бессмысленное слово, / Я в ночи советской помолюсь...” Арсеньев хотел на ней жениться, но на самом деле больше всего любил свою свободу, свои писания: не Лику, а Музу, и не поэтому ли Бунин ее во время уморил, как и тех трех героинь своих рассказов. Наташу Ростову он зарезал бы до появления первого ребенка. Дети из бунинского мира почти исключены, как у Тургенева или Константина Леонтьева. Вернее же исключены, как естественное продолжение семейного счастья и появляются изолированно. В прелестном рассказе *Цифры* (1906 г.) мальчика воспитывают мать, бабка и дядя, *а не отец*. Нигде нет эпически-патриархального дления жизни.

Обольщенная мещанином Парашка сходит с ума (*При дороге*, 1913 г.). Олю Мещерскую убивает офицер: и если бы он не убил, ее *легкое дыханье* стало бы тяжелым дыханьем... (1916 г.). Прекрасная Ида говорит композитору на перроне, что всегда любила его, любит и исчезает... (1925 г.). Все страсти быстро кончаются и один из героев, чаще всего героиня, гибнет. Всякое “продолжение следует” из бунинской эротики исключено.

Страсть празднична: она отрицает будни, и таинственно связана со смертью, что лучше всего показано в *Деле корнета Еланина* (1925 г.), а позднее в аналогичном, но менее удавшемся рассказе *Пароход Саратов* (1944). Актерка-истеричка Сосновская и ее возлюбленный, праздный офицер — провинциально-романтичны, даже пошловаты, но еще пошлее окружающий их быт. Вместе с тем, ничего не идеализируя, а, наоборот, все снижая, Бунин поднял этих захолустных любовников до каких-то седьмых небес вагнеровских Тристана и Изольды. Их песня песней о любви и смерти звучит в каждом показании свидетелей, в казенном описании места убийства; и чем больше этой сухой и скучной прозы, тем упонительнее и волшебнее поэзия их роковой

страсти. Если бы Бунин заговорил на языке тургеневской *Песни торжествующей любви*, то испортил бы это вечно-печальное и вечно-счастливое *Дело корнета Елагина*. Оно напоминает другое знаменитое “дело” той эпохи — кронпринца Рудольфа австрийского и баронессы Марии Вечера (в 1889 г.). Оба эти “дела” прозвучали какой-то безумной музыкой в одну из самых немзыкальных и мирных эпох истории, в 80—90-х г.г.

Митина любовь (1924 г.) это тема толстовского *Дьявола*, которого Бунин, судя по письму его к П. М. Бицилли, будто бы не читал. Сколько об этой повести спорили: Зинаида Гишпиус увидела в *Митиной любви* гримасничающее вожделение, а Ф. А. Степун — безликий пол, не могущий заменить личную любовь. Из Мити вышел бы толстовский патриарх, он ведь хотел тихого семейного счастья, но этого не хотели ни его Катя, ни сам автор. Позднее Бунин дал другой, но явно ослабленный повторением вариант той же темы (*Зойка и Валерия*, 1940 г.). “Хорошо только короткое счастье”, — сказала безымянная героиня рассказа *В темную ночь* (1949 г.) и Бунин всегда был того же мнения! Это романтизм и отмечу, что бунинский *Корнет Елагин*, при всей своей бесталанности, отдаленно напоминает корнета Лермонтова... Звуков небес он не слышал, но не обольщался и скучными песнями земли.

5

Смерть ужасна, отвратительна, окончательна, но и празднично-торжественна, блаженно-поэтична, как и страсть. Умер помещик Писарев и его положили на стол в той же самой зале, где две недели тому назад он, разговаривая с Арсеньевым, шурился от солнца и от дыма своей папиросы. А теперь в той же самой комнате “в дымном блеске и сумраке тускло и уже страшно мерцал как-то скорбно поникший, потемневший за день лик покойника...” Отмечу, что эти траурные главы в *Жизни Арсеньева* уже намечены в замечательном бунинском рассказе *К роду отцов своих* (1927 г.).

Станным образом — смерть обостряла его ощущение жизни, — и вот потрясенный Арсеньев уже мечтает о свидании с Анхен, которая пришла на панихиду по Писареве. Здесь неожиданное совпадение с Пастернаком: его доктор Живаго говорил, что искусство всегда задумывается о смерти, но утверждает жизнь.

Разрешением проклятых вопросов Бунин не занимался, а все же до самой своей смерти со смертью спорил. Зачем жить, если есть смерть: этого вопроса он прямо не задавал, но этот вопрос его всегда мучил.

В воскресение Бунин не верил. Вообще христианство лишь изредка “ночевало” в его писаниях. Есть у него полу-житийный рассказ *Аиал* (1916 г.), едва ли удачный, да еще с языческими мотивами, с молитвой матери-сырой-земле. Но его *Чистый понедельник* (1944 г.) — несомненная удача. В этом рассказе он дает свою перевернутую версию тургеневского *Дворянского гнезда*. Героиня — досужая барыня из знатного купеческого рода. Она красавица. Красота ее какая-то индийская, персидская: смугло-янтарное лицо великолепно и несколько зловещие в своей густоте, черноте волосы... Ее поклонник тоже хорош собой: и он красив южной, горячий красотой (здесь отмечу, что у Бунина было какое-то особое пристрастие к смуглым русским, так Герваська в *Суходоле* походил на “парса”...). Они слушают лекцию танцующего Андрея Белого, читают брюсовского *Огненного ангела*, впрочем, не одобряя декадентов, как и сам Бунин. Она неожиданно уходит с концерта Шаляпина и говорит: — Не в меру разудал был. И потом желтоволосую Русь я вообще не люблю... Ничто не мешает им пожениться: он именно этого и хочет, но не она: — Нет, в жены я не гожусь. Не гожусь, не гожусь... и заявление это очень бунинское! Читая этот рассказ впервые, я уже ждал смерти героини или убийства, самоубийства. Но вышло иначе: она от возлюбленного отказывается, как и от веселой жизни в белокаменной, и подавно от всех модных “культурных интересов”, поступает в Марфо-Мариинскую обитель великой княгини Елизаветы Феодоровны. В эпилоге, как в *Дворянском гнезде*, он мельком увидел ее в церкви. Рассказ этот Бунин очень ценил и, по словам В. Н. Муромцевой-Буниной, написал на обрывке бумаги: Благодарю Бога, что он дал мне возможность написать “Чистый понедельник”. Эта бунинская красавица нашла путь к спасению, но не Бунин.

Иногда спасение мерещилось ему в тайнах Востока, в индийской нирване, где без следа исчезает все земное, все личное. Слушая пение цикад в Провансе, Бунин мечтал о слиянии с Всеединым (*Ночь*, 1925 г.). Вместе с тем, это слияние его пугало. Он причисляет себя к тем одаренным великим богат-

ством восприятий людям, которым не хочется порывать с милой красотой и даже с тщетой нашей бессмысленной, но чарующей земной жизни. Это индийское навождение спасением не было.

Странное видение передает Бунин в одном из самых потрясающих своих рассказов (*Преображение*, 1921 г.). Деревенский парень Гаврило читает Псалтырь над умершей старухой-матерью: "...как (он) поднял голос по дерковному, так и остался на высокой ноте... и ощущает чудесное преображение в мире... уже все вокруг превратилось в какой-то сплошной восторг, от которого деревенеют голова, плечи, ноги". Ему кажется, что старуха, еще недавно ютившаяся на печке, "встанет сейчас судить весь мир, весь презируемый в своей животности и бренности мир живых!" Такого упоения ни прежде, ни позднее Бунин не изображал и ни в какую категорию "мистических экстазов" этот странный духовный опыт не уместается, и изведаль его простой человек: видно Бунин знал, что ни "последние дворяне", ни тем более, интеллигенты, такого преобразования изведать не могли бы. Гаврило, как это можно было ожидать, не стал странником, путешествующим по святым местам. Он даже женился, но с женою почти не жил, а "избрал себе дело, ненужное при его достатке, но единственно любимое им — ездить ямщиком". Все бытовое потеряло для него значение, а ямщина давала ему досуг для размышлений и разговоров с приятным седоком, — и можно только пожалеть о том, что Бунин рассказал об этом преображении на литературном языке, а не словами ямщика. Гаврило стал человеком духа, болтливые символисты назвали бы его "пневматиком". Может быть, и здесь есть какое-то наваждение, а все же выносит оно на вольную волю, в неведомый простор, как будто еще наш земной, но явно граничащий с иным, метафизическим простором. "Пневматиками" были и другие бунинские странники — в рассказах *Птицы небесные* (1909 г.), *Бродяга* (1930 г.). Человеком духа был и неистовый Иоанн Рыдалец (1913 г.). Этот юродивый бродил по полям и в упоении выкрикивал: "буду рыдать и плакать, как ограбленный, буду выть, как шакалы и вопить, как страусы!" Он постоянно пугал старого барина-вольтерьянца, который приказывал его нещадно сечь, но перед смертью завещал себя похоронить в ногах у Иоанна Рыдальца. Этот порыв к вольной воле в духе — у странников, у юродивого, у ямщика, Бунин

передает с большим упоением, чем размышления о Нирване на Цейлоне или о “цикадной” вечности на французской Ривьере, и здесь человеческий облик не теряется, не исчезает в русских просторах и далях, уходящих в неведомое царство Духа, как он бесследно исчезал в индийском Всеедином небытии. Вместе с тем, Бунин *странную* Русь вовсе не идеализировал: показывал он и неприглядных дурачков (в рассказах *Слезы, Блаженные*, 1930 г.).

Понять свои мистические “настроения” Бунин не мог, может быть, и не хотел: живой опыт был ему дороже всякой догмы. А порывов в иное, заочное, вообще немало в русской литературе: вспомним аустерлицкое небо князя Андрея или эпилептическое счастье князя Мышкина.

Потустороннее полнее всего приоткрыли византийские духовидцы, Симеон Богослов или Григорий Палама, позднее германские мистики, Экхардт, Бёме, испанские — Тереза, Хуан де ла Крус. Но, может быть, в плане художественном, и уже в безбожном 19-м веке, инобытие ярче всего приоткрывалось в русской литературе, а также, совсем неожиданно, у Бунина, который, казалось бы, весьма скептически относился к таким высоким материям. Все же нельзя преувеличивать значение бунинской метафизики, нирванной, цикадной, ямщицкой или юродивой: тема это остается на периферии его творчества. Куда существеннее для него земля, земная жизнь, такая как она есть, непреображенная, и без просветов-пролетов в индийское “безветрие” или в христианское небо.

6

Одна из главных тем *Жизни Арсеньева* — становление художника и, несомненно, самого Бунина, хотя включая свою собственную юность в эту повесть, он многое в ней “изменил” — переработал.

Арсеньеву страстно хочется все запомнить и запечатлеть — не только смерть Писарева или любовь к Лике, но и самые незначительные мелочи, напр., в трактире два белых чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и к ручкам. Тут же он полемически спрашивает, что это: “Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только этого вот подноса, этой мокрой веревочки!” Такое же самодовлеющее значение имели для него и другие художественные находки: перла-

мутровые щеки селедки, тройной клубничный нос. Ему страстно хотелось писать о крышах, о калошах, о спинах прохожих, и вовсе не затем, чтобы “бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!”

Я уже говорил, что молодой Бунин едва ли так думал, скорее только смутно ощущал свою “анти-социальность”; и уж, конечно, нет на этих страницах *Жизни Арсеньева* никакой проповеди “чистого искусства”. Бунин всегда всерьез задумывался о загадках бытия, хотя и не стремился их разгадывать. Ответов он не давал и даже редко задавал вопросы, по незаметно и искусно подводил к ним. Вообще искусство Бунина было всегда как-то умнее, мудрее его самого.

Снижая в *Жизни Арсеньева* все интеллигентское, Бунин всюду возвышает все имперское, т. е. то, что его в юности едва ли восхищало. Так, изумительно описано появление великого князя Николая Николаевича на перроне губернского вокзала: вышел молодой гигант-гусар в красном доломане, “поразивший меня печеловеческой высотой, длиной тонких ног, зоркостью царственных глаз, больше же всего гордо и легко откинутой назад головой в коротких и точно гофрированных ярко-русых волосах и красиво вьющейся рыжей острой бородкой...” (Отмечу, этот Романов один из немногих привлекательных блондинов в бунинском мире, как и богатырь Захар Воробьев). За этим видением — другое, в Провансе Бунин видит в длинном гробу “большой серо-желтый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все же властную и гордую: поседевшая бородка слегка выдвинута, поздри вырезаны толко и как бы чуть презрительно”. Даты этих встреч: первая — вероятно, 1891 г., когда великий князь Николай Николаевич сопровождал тело своего отца, а вторая отмечает его кончину в 1929 г.

Нельзя сомневаться в том, что именно *благодаря* проклинаемой им революции и ее “окаянным дням”, средний писатель Бунин стал большим писателем. Октябрь его грубо изверг из России, и вот из совсем непрекрасного изгнаннического *далёка*, он увидел родину такую, какую не видел ее дома: единой, цельной во всем своем разнообразии и обозримой из какой-то высокой осенней вечности, увидел как бы посмертно, но и бессмертно-

но. Эта новая бунинская Россия уже не только Россия русских, а драгоценная для всего человечества могучая отрасль Божьего Древа. Вместе с тем, в изумительный бунинский мир входят и другие отрасли того же Божьего Древа: Прованс с оливами и цикадами, Рим, Париж, розы Иерихона, скарабеи Египта. До революции Бунин больше путешествовал, но только в эмиграции ощутил живое единство не одной лишь России, но и всей земли с ее ошеломляющими прелестями и с пугающей, странно-праздничной смертью, и с небесными пролетами на вольную волю, в другой, прекрасный, но едва ли лучший мир. Если Бунин был на чьей-то службе, то именно на службе этого огромного, таинственного Божьего Древа...

Бунинской особенной почвенности, не исключающей и “бродяжничество”, ни у кого уже в урбанистической Европе не было. Почвенность, скажем, Жуанно, очень уж умышленная, искусственно разогреваемая интеллектом. А “почва” Зигрид Ундсет скорее археологическая, средневеково-норвежская.

7

В годы эмиграции Бунин стал мастером и еще более развил свое умение вырывать из жизни и у смерти то блаженные, то ужасные мгновения, запечатленные в его коротких и, в особенности, в кратчайших рассказах, на страницу или даже менее. Вот вся необозримая древняя Россия, сжатая в десяти строках. Зачин написан трехсложными размерами, что очевидно, если выписать текст стихами:

Летний вечер, ямщицкая тройка,
бесконечный пустынный большак...
Много пустынных дорог и полей на Руси,
но такого безлюдья, такой тишины поискать.
И ямщик мне сказал....

У Андрея Белого десятки и даже сотни страниц прозы тоже написаны трехсложными размерами, что звучит как-то назойливо-монотонно, сперва раздражает, а потом наводит зевоту. Но Бунин быстро обрывает течение анапестов и дактилей. Вся соль этого кратчайшего рассказа в последних словах ямщика: “Большие тысячи лет”. В pendant к этому рассказу написан другой “рассказик”, где старуха, зевая, говорит: “Петухи опевают ночь”.

Другой “эскиз”, почти в страницу, и тоже очень русский — *Убийца* (помеченный тем же 1930 г.). Толпа с восхищением прислушивается к певучему голосу, рассказывающему о молодой купчихе, на прощание угостившей изменившего ей полюбовника. Она все повторяла: Дай мне на тебя наглядеться! А потом и всадила ему, хмельному, нож в душу... Вот выходит убийца: чернобровая, царственная, в собольей накидке. Полиция увозит ее в машине, и опять толпа восхищается: — И-их, покатили, помчали! (как будто совсем не в тюрьму, а куда-то на ту небывалую вольную волю, о которой часто вздыхают русские, и с ними вместе Бунин).

Казалось бы, ничего хорошего: лучше ведь не убивать и не следует любоваться такими вот даровыми спектаклями. Но хочется выучить эту страницу наизусть, и не только потому, что она гениально написана. Здесь дана какая-то драгоценная квинт-эссенция жизни со всей ее суетой, но и красотой, и дана она в перспективе не только земной, но и неземной, вечной жизни.

Нерусское. *Сто рупий*: рассказ, написанный уже 74-летним Буниным (в 1944 г.). Вероятно, — Цейлон, о котором он писал и прежде, но не так ошеломляюще-напряженно, не так посмертно-бессмертно, как на закате жизни. За сто рупий продается не то раскрашенная куколка, не то райская птичка: “...она полулежала и молчала, мерно мерцающая черным бархатом ресниц-бабочек, медленно помахивая веером”.

Опять ничего хорошего. Кое-кто, вероятно, скажет, и будет прав: вот жертва колониального империализма. Но при чтении рассказа кажется, что перед этой диковинной блудницей-безделушкой меркнут чуть ли не все красавицы мировой литературы!

Еще один кратчайший рассказ, уже 79-летнего Бунина: *Un petit accident* (1949 г.). Бальная площадь Согласия, грубое богатство реклам, огни автомобилей, а близ Мадлен какой-то затор. В машине лежит он: в шелковом белом кашне, в матовом вечернем цилиндре, пошлое античное лицо его с закрытыми глазами уже похоже на маску. Может быть, здесь незаметно подсказывается символическое истолкование рассказа: пошлое античное лицо мертвого Франта как-то соответствует классическому, но опошленному современным рекламами Парижу, в котором уже мало настоящего творчества, настоящей жизни.

А закатное панно парижского неба не означает ли Заката всего Запада? Но как хорош этот умирающий Париж, как небывало прекрасен, и кажется даже, что немногие французы могли бы его так потрясающе изобразить. Разве что Бодлер в одном из своих *Сплинов* (где Аврора медленно шествует к пустынной Сене...).

Во всех этих и в некоторых других коротких или кратчайших рассказах Бунина незаметно-просто передается какое-то необыкновенное, молниеносное напряжение жизни-смерти, весь волшебный трепет Божьего Древа. Нужно ли здесь благодарить за такое вот неполноценное бытие, как это делал Царь Давид или же следует благодарить иронически, по-лермонтовски: За все, за все Тебя благодарю я. Не знаю: может быть, ни то, ни другое. Бунин, прежде всего, вызывает страстное восхищение любой жизнью, повышает жизненный тонус в каждом остановленном им мгновении и, кажется, будто вечность уже наступила, и все на самом деле *есть*, и уже незачем думать, незачем благодарить или отвергать.

Возникает странная — и не праздная ли — мысль: уж не рай ли это? Рай, в котором грехи не преодолены, но все же так блаженно хорошо в этом раю с сонной старухой, с разговорившимся ямщиком, с царственной купчихой-убийцей, с восточной гетерой, с мертвым античноликим щеголем?

Есть у Бунина рассказ *Далекое* (1921 г.). Нет в нем остроты, едкости и прелести позднейших коротких рассказов, где несколько десятков слов подаются на острие ослепительно-блещущего ножа. Но рассказ этот очень значительный. Московский Арбат весной. Дурно пахнущие коридоры в гостинице Северная Пальмира. Какой-то обнищавший князь со свистящей одышкой, какой-то нелепый Иван Иванович, этим князем восхищающийся, еще нарумяненная дама с курносым бульдогом: это лишние люди (и отмечу, что в одной из глав *Жизни Арсеньева* намечена та же обстановка, та же ситуация). Тут же случайный постоялец, явно нелишний человек, молодой Счастливцев, похожий на Бунина: он навсегда покидает Северную Пальмиру, мчит на Курский вокзал, вероятно, едет в Крым. Он скоро навсегда забудет об этом жалком эпизоде своей жизни. Но неожиданно, через много лет, он все вспоминает “в сладко-горьком сне прошлого”. Когда-нибудь он будет еще тщетно взывать к ним: — “Милый князь, милый Иван Иванович, где-то гниют ваши кости? И где

наши глупые надежды и радости, наша далекая московская весна?”

Старый, и более зрелый в своем искусстве, Бунин, вероятно, воздержался бы от этого лирического вопроса под занавес (но все же не вычеркнул его при позднейшей суровой правке своих сочинений). Может показаться необычным внимание Бунина к этим лишним людям, он ведь любил не слабых, а сильных, а здесь как-то смирился и себя самого отождествил с этими ничем непримечательными людьми. Но существеннее другое: Бунину удалось сделать этих жалких обитателей Северной Пальмиры необыкновенно значительными, интересными, и вот поневоле требуешь и для них ни больше, ни меньше, чем бессмертия, в которое Бунин не верил, хотя изредка и ощущал *иное* в нирване, в цикадах, в вольной воле странников и ямщиков: и в этом чудо бунинского искусства.

Да, может быть, хорошо, что Бунин был неверующий или же маловер. Если бы поверил, то начал бы пророчествовать, как Толстой, как Достоевский или — уже куда менее убедительно — как символисты... Между тем, художественные “факты” в его рассказах сами за себя говорят о самом главном, безо всякого вмешательства автора.

Вечнолюбие — нерв русской литературы (после Пушкина). Бессмертия требовали и Толстой, и Достоевский, и Аполлон Григорьев, и Константин Леонтьев, и при этом размахисто-откровенно пытаясь все разъяснить в длинных размышлениях о судьбе человека. А у Бунина и, может быть, иногда у Чехова, вечное только незаметно подсказывается и поэтому кажется более убедительным.

Бунин философскими вылазками не занимался и, повторяю, был скорее неверующим. По существу, не шел дальше ненавистных ему нигилистов: после смерти ничего не будет, только лопух вырастет.... В таком случае, — его нирвана или “преображение” только зыбкие настроения. Все-таки, вопреки ему самому, “пёрла”, — проступала через него вечность и звучало, пело в нем то дерзновенное вечнолюбие, которое Творец вдохнул во многих русских писателей.

В России Бунина некому оплакать, писал в 1954 г. В. В. Вейдле (*Опыты*), но с тех пор многое изменилось. В Сов. Союзе

были изданы его сочинения в 5 и позднее в 9 томах. Его читают миллионы, о нем пишут статьи, книги. Кажется, в России его лучше всего понял Паустовский. В *Тарусских страницах* он писал о глубоко-русских корнях Бунина, и это, конечно, верно, а все же бунинская тема куда шире — это не только Россия, а и все огромное Древо Жизни, растущее и на Цейлоне и в Провансе.

Проникновеннее писали о нем в эмиграции. Очень значительна упомянутая статья В. В. Вейдле: "*Жизнь Арсеньева* написана как величественная, полная ужаса и восторга, воспевающая и прославляющая ода". А Г. В. Адамович писал о горестно-радостном, скорбно-славословящем тоне этой повести: в ней печаль и ликование слились в одно целое. Это верно, а все же лучшее у Бунина, не эта лирическая эпопея, а его короткие и кратчайшие рассказы, в которых он останавливал мгновения жизни и смерти. Художническая его добродетель: краткость, а не длиннота.

Адамович правильно замечает: Бунин не признавал метафизику. Да, это так, но метафизика иногда сама к нему "лезла" — язвила, мучила и изредка окрыляла. Ф. А. Степун в книге *Встречи* писал: "Бог у Бунина немой". С этим нельзя не согласиться: Бог у него нигде не говорит, и он сам не пытался говорить *за Бога*. Все же, ничего не преувеличивая, не пытаюсь втиснуть Бунина в религию, можно сказать, что Бог, Божье в бунинском мире присутствует. Но об этом, т. е. о самом главном, в России все еще нельзя говорить.

Юрий Иваск



Туманный жемчуг осенний день.
Мутна земная дребедень.

Мерцает нежная тишина,
Больного мужа бранит жена.

Серебрится дождик райски-легко,
Идет прохожий с одной рукой.

Сиренево-палевая высота.
Спешит счетовод считать счета.

И в мире бедной белиберды
Блаженно-влажные сады,

Алмазы дождя и фонарей,
Жемчужный ветер с южных морей,

В топазовом небе свет облаков,
Опалово-нежный дым над рекой.



Лунная ива в снегу —
Белая арфа.
Мертвый лежал — ни гу-гу —
В бледном безлюдии парка.

Тени к убийце ползли
(В липкое влипли).
Так далеко от земли
Тело Созвездие Лиры.

Небо, сапфирный престол,
Звездные сонмы.
В парке убийца прошел,
В лунные снежные сосны.

Что же! Не ох и не ах:
Струны и гимны.
Что там! На лунных снегах
Многие гибли.



На остров Цитеру. Выпьем в пути.
Ну что? Цикута в бокале?
И горький миндаль. Миндаль? Почти
Цианистый калий.

Да нет уж, — хватит яда в крови:
Ее не раз отравляли
Остатки надежд, крупницы любви,
Сухие кристаллы печали.

А в печени камень. Осадки души
В таком, ха-ха, минерале.
А где самородок счастья? Ши-ши.
В Австралии. На Урале.

«Житейское море» катит куски —
Янтарь? Едва ли, едва ли.
Обломки желаний, сгустки тоски.
Мелочь. Детали.



«Ирония судьбы». Смертельное ранение иронией.
Хо-хо! И мертвый расхохочется.
Не плачь — и рана не беда, не тронь ее,
Не плачь, молчи, не обращай внимания,
Мне расхотелось жить, тебе расхочется.

Ты «сел не в тот вагон». И я. («Бывают недоразумения»,
Сказал верблюд, слезая с утки).
Была зима, снега. Ночные тени я
Пытался разогнать иронией,
И пили мы вторые сутки.

Мы опоздали, навсегда. Не опозорены,
Но все пропало, все пропало.
«Ирония судьбы». Судьба, мы ранены иронией.
Мы сброшены с пути, как поезд взорванный
У обгорелого вокзала.

Игорь Чиннов

Н. Н. СТРАХОВ — ЖЕРТВА “ДОСТОЕВЩИНЫ”?

А. С. Долинин, кажется, первый обратил внимание на то большое влияние, которое имел Страхов на выработку мировоззрения Достоевского после 1861 г. В комментариях к книге «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» (т. 1, 1964) он подчеркивает сложность отношений между Достоевским и Страховым: одно время эти отношения были очень дружественные, почти нежные, потом враждебные и Страхов стал испытывать к Достоевскому почти ненависть, как он писал в своих письмах Л. Н. Толстому и Данилевскому. Долинин анализирует философские идеи Страхова, изложенные в его статьях и книгах, и высказывает предположение о влиянии Страхова в «бесконечных разговорах» с Достоевским в 1862 г. и позже, а также о влиянии статей Страхова на «перерождение убеждений» Достоевского в духе натур-философских работ Страхова. Страхов развивал мысли о том, что истинным двигателем человеческой деятельности всегда были и будут идеи: о нравственной ответственности человека, о стремлении людей к самоуничтожению, к страданию, о «темных» областях человеческой души и т. д.

Большинство этих мыслей не были его оригинальными, Страхов находился под сильным влиянием Декарта, немецких философов, в частности, Гегеля, а в области эстетики под влиянием идей Аполлона Григорьева. Занятия в области естествознания и философии позволили Страхову выработать логический способ рассуждений и понятное для читателей изложение мыслей, чем, по его мнению, не отличались ни А. Григорьев, ни Достоевский. Эта логика и убедительность аргументации Страхова импонировали Достоевскому, который очень ценил его как сотрудника журналов «Время», а затем «Эпоха», а также и как собеседника.

Все же остается много непонятого в отношениях Стра-

хова и Достоевского. Из-за чего испортились эти отношения в 1865 г. и почему они почти не виделись с 1865 до 1867 г. и за последние 5 лет жизни писателя? Странно и то, что хотя Страхов не ладил с Достоевским, почему же после его смерти он испытал чувство «ужасной пустоты»? Почему, в то время как он писал хвалебные «Воспоминания о Достоевском», которые были напечатаны в первом посмертном издании его сочинений, почему в то же самое время писал он Л. Н. Толстому письма, исполненные ненависти и отвращения к тому же Достоевскому? Когда он лгал — в «Воспоминаниях» или в письмах?

Страхов родился в 1828 г. и умер в 1896. Он был уже автором ряда работ в области естествознания и философии, когда в самом начале 1860-х гг. он заинтересовался общественными вопросами и литературой. Описывая это время он писал, что в 1861 г. в «литературе и в журналах существовало почти дружеское чувство между пишущими». Предполагалось, что «литераторы делают некое общее дело, перед которым должны отступить на задний план разногласия во мнениях; литераторы считали себя обязанными беречь и поддерживать друг друга. Казалось и верилось, что все старые формы жизни готовы исчезнуть и видоизмениться и может начаться новая жизнь, народный дух может обнаружиться в новом свободном творчестве». Заметим, что в это же время Достоевский, вернувшийся из ссылки, начинает снова свою литературно-журналистическую работу, принимая деятельное участие в журнале «Время», только что основанном его братом Михаилом.

Страхову тогда хотелось во что бы то ни стало критиковать проявления нигилизма и тех, кто ему сочувствовал. В 1859 и 1860 гг. он делает попытки поместить свои статьи в этом духе в разных журналах, но безуспешно. Тогда то он сблизился с Ф. М. Достоевским и дал в журнал «Время» остро полемическую статью «Еще о петербургской литературе», которая к его большой радости там была напечатана. «Мне не терпелось и хотелось скорее стать в решительное отношение к нигилистическим учениям... Я порешил, что нужно прямо признать себя славянофилом».

Но дело в том, что Страхова, как логика, ценившего ясность мыслей, «раздражал этот хаос бесформенный и многообразный», которым представлялись ему и литература того времени,

и взгляды Достоевского и сотрудников «Времени». По словам Страхова, у него возникло желание «дать ему форму, или по крайней мере выделиться как некоторое более определенное течение». Но что следует отметить, статьи свои Страхов считал **«более забавой, чем делом и тем веселее (они у него) выходили»**. Это был своего рода спортивный интерес, желание раззадорить, заострить противоположные позиции — и посмотреть, что из этого выйдет. Своего рода игра, и... провокация.

Эта страховская «забава» имела, по его словам, «чрезвычайно важные последствия: она повела к совершенному разрыву «Времени» с «Современником», а затем к «общей вражде против «Времени» почти всей петербургской журналистики».

То, что было «забавой и весельем» для Страхова, стало драмой, сопряженной с тяжелой душевной борьбой прежних друзей Достоевского (Некрасова и др.), встретивших его с распростертыми объятиями после его возвращения в Петербург. Возникает вопрос, насколько же искренен был Страхов в своей дружбе к Достоевскому? Что он не серьезно относился к своим статьям в его журнале — это мы знаем и это уже тяжелый проступок для литератора. Но не было ли тут желания использовать Достоевского, несмотря на последствия этого для писателя и (неофициального) издателя «Времени»? Вряд ли у Страхова было когда-нибудь желание помочь Достоевским. Недаром ведь мы находим в его «Воспоминаниях» довольно загадочные слова: «Достоевский постоянно поддерживал, ободрял усерднее чем кто-нибудь, до конца стоял за достоинства моих писаний. **Читатели могут, конечно, смотреть на это как на ошибку с его стороны**». А отношение к нему Достоевского он рассматривает в своих «Воспоминаниях» не как дружбу или единомыслие, а всего лишь «как образчик его (Достоевского) литературных пристрастий».

Страхов представляется нам в этот первый период его отношений с Достоевским человеком, желавшим посеять рознь в среде писателей и журналистов шестидесятых годов. У него, с одной стороны, холодный расчет, логика, желание внести «порядок» в хаос и разброд мыслей литераторов, приведя их в лагерь славянофилов, а с другой — задор и забава от заваренной им каши, при виде рассвирепевших противников (Достоевский, Григорьев, Чернышевский, Некрасов, Антонович, Салтыков, Добролюбов).

В своих воспоминаниях Страхов непоследователен: он пытается в одном месте свалить с себя ответственность за результат своих статей и сгладить неблагоприятное впечатление у читателя, утверждая, что «начало борьбы с нигилистическим направлением положил сам Ф. М. Достоевский в своей статье «—бов и вопрос об искусстве» («Время», 1861, февраль), в которой он опровергал стремление сделать из искусства чисто служебное средство».

Это очень спорно и скорее неточно: хотя Достоевский и обвинял Добролюбова в утилитарном подходе к литературе, но он признавал и высоко ценил в нем умного критика и писал: «основа его убеждений — справедливость». Кроме того, Достоевский в течение всего 1861 г. остро полемизировал с «Днем» Аксакова и с «Русским Вестником» Каткова и защищал молодежь, на которую обрушивался этот правый журнал. «Пусть они иногда не правы, далеко подходят, опрометчивы, неумеренны. Но мысль то их хороша. Кому придет в голову смеяться над такими людьми, которые ищут формул и не довольствуются одними утешениями из прописей... хотят сами найти дело?» В этом вопросе Достоевский был близок к позиции Тургенева и сотрудников «Современника». Даже в конце 1861 г., когда разыгрались беспорядки в университете, Достоевский занял позицию за студентов, заключенных в тюрьму (посылал передачи, выступал с художественным чтением на вечере в пользу студентов, а его племянница участвовала в концертном отделении).

В 1863 г. Страхов сыграл роковую роль в судьбе журналов братьев Достоевских. Он поместил по вопросу о польском восстании статью «Роковой вопрос» в журнале «Время», которая была, по его словам, «несчастливая, плохо написанная», из-за которой журнал был закрыт. Для Страхова эта статья не имела тяжелых последствий, «нельзя сказать, чтобы мы горевали, никто не унывал». Федор Михайлович слегка упрекнул Страхова за «сухость и отвлеченность» статьи, тот на него за это «слегка обиделся».

Но эта страховская статья имела трагические последствия (тоже может быть «забава»?) для Достоевских. Запрещение журнала разорило М. М. Достоевского, который все деньги журнала употребил на выплату старых долгов и оказался совершенно без денег и без дела (которое шло блестяще). Когда

через 8 месяцев было получено разрешение издавать журнал «Эпоха», денег для издания не было, здоровье М. М. Достоевского пошатнулось и в 1864 г. он умер, оставив Федора Михайловича с погибающим журналом и с семьей брата без средств. Это было то ярмо, которое тяготило Достоевского всю жизнь, которое толкало на игру в рулетку, заставляло идти на кабальные договоры, скрываться от кредиторов и дрожать за свою свободу (ему постоянно угрожала долговая тюрьма), за судьбу своей семьи и семьи брата.

При этой катастрофе пропали 20.000 рублей наследства, оставшегося после смерти богатой тетки Куманиной, пропала вся подписная плата за журнал и осталось еще долгов на 15.000 рублей, в том числе гонорары таким писателям, как Н. Лесков, с которым после этого у Достоевского так и не наладились дружеские отношения.

На гибели «Эпохи» сказались, вероятно, те враждебные отношения, которые сложились между этим журналом и влиятельными журналами того времени. Под влиянием перемены тона (при участии Страхова и А. Григорьева) «Эпоха» стала антизападническим почти славянофильским органом, тогда как в журнале «Время» еще печатались стихи Некрасова и статьи Щедрина. Страхов мог считать себя достигшим цели — он привел журнал Достоевского в лагерь славянофилов. Он писал: «Поднялась ужасная война, которую «Эпоха» сперва весело поддерживала, но в которой принуждена была остаться позади своих критиков. Poleмика против «Эпохи» становится гражданским занятием».

В связи с гибелью «Эпохи» у Страхова была размолвка с Достоевским, о причинах которой он «не хотел ничего сообщать», но намекнул, что она немного только была связана с этой гибелью и не преминул попрекнуть Достоевского «чертами эгоизма, о которых грустно вспомнить». Страхов приобрел такое большое влияние в журналах Достоевских, так как ему полностью доверили руководство отделом критики, самым важным отделом тогдашних журналов, в котором и велась борьба с сотрудниками «Современника», которых Страхов называл «теоретиками» и нигилистами.

Странные отношения были между Страховым и Достоевским, но и то нужно сказать, что и люди они были необычные, странные оба. Эти отношения можно назвать притяжением и

отталкиванием, дружбой-враждой. Этот характер отразился и на воспоминаниях Страхова о Достоевском, написанных после его смерти и напечатанных в 1883 г. в т. 1 Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского.

Воспоминания Страхова на первый взгляд кажутся «великолепными, самыми замечательными». Он пишет Толстому под свежим впечатлением от смерти Достоевского: «Чувство ужасной пустоты... не оставляет меня с той минуты, когда узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хотя мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как вижу, бесконечно дорого. Ах, как грустно...»

В своих «Воспоминаниях» Страхов описал знакомство с Достоевским, участие в его журналах, дружбу с ним, главные этапы жизни писателя вплоть до его апофеоза на торжестве в память Пушкина в 1880 г. Но в начале их он написал загадочную фразу, приобретающую особый смысл в свете последующего: «читатель не должен видеть в этих заметках попытки **вполне** изобразить покойного писателя; прямо и решительно отказываюсь от этого. Он слишком для меня близок и непонятен». Здесь сказано или слишком много или недостаточно: так как Достоевский «слишком близок» Страхову, он не мог его понять и отказывается полностью его изобразить...

Вспоминая о Достоевском и его окружении в 1861 г., Страхов подчеркивает «странности», которые он наблюдал: «У литераторов было в привычке заходить при случае в самые грязные и низкие места, вступать в приятельские разговоры с людьми, которыми гнушаются купец и чиновник и сострадательно смотрят на самые дикие явления... С удивлением я замечал, что тут не придавалось никакой важности всякого рода физическим излишества и отступлениям от нормального порядка. Они смотрели на все беспорядки этого рода совершенно спокойно, говорили о них как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно в свободную минуту... безобразие плотское не ставилось ни во что. Эта странная эмансипация плоти действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям, о которых больно и страшно вспоминать». За этой тирадой

полной недоговоренностей и намеков и следовала вышеприведенная фраза об отказе Страхова написать всю правду о Достоевском. Здесь под покровом дружеских воспоминаний набрасывалась тень на моральное поведение его. Этим Страхов поощрил некоторых будущих биографов Достоевского изображать его человеком извращенных привычек и поведения в области моральной и сексуальной. Ничего конкретного, однако, еще не было сказано.

Теперь нужно коснуться отношений Страхова с Л. Н. Толстым. Толстого Страхов беспредельно уважал, любил и предпочитал Достоевскому. Об этом Страхову написал сам Достоевский: «У Вас бесконечная непосредственная симпатия к Льву Толстому с тех пор, как я Вас читаю». Толстой относился к Достоевскому настороженно. Одно произведение его он считал исключительно гениальным — «Записки из Мертвого дома» — их он ставил выше всего в русской литературе и в письме к Страхову просил передать это свое мнение Достоевскому, после того, как в 1880 г. перечитал это произведение вновь. Он просил также передать, что он любит Достоевского, что тот дорог ему. Толстой и Достоевский никогда не познакомились и не встречались. Т. е. они встретились, но не узнали друг друга на лекции В. Соловьева в Обществе Любителей Духовного Просвещения Великим постом 1878 г. в Соляном Городке. Достоевский потом упрекал Страхова, который был на этой лекции с Толстым: «Никогда не прощу Вам, что вы его мне не показали». Толстой, вероятно, не хотел тогда встретиться с Достоевским. Почему? За полгода до этого в «Дневнике писателя» появился разбор романа «Анна Каренина», в котором наряду с признаниями огромного таланта были такие рассуждения: «Автор... есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а поэтому и прут в эту точку... а повернуть шею направо или налево, чтобы разглядеть то, что стоит в стороне, они очевидно не имеют способности... Такие люди суть учителя, наши учителя, а мы лишь ученики их. Чему же они нас учат?» И Достоевский заключает, что учат они совсем не тому, чему нужно учить.

Толстой никогда не откликнулся на эту критику, но возможно, что ее не забыл. При известии о смерти Достоевского, Страхов написал Толстому также и следующее: «В одно из последних свиданий я высказал ему, что очень удивляюсь и

радуюсь его деятельности. В самом деле он один равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком среди литературы, почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно было признано за **соблазн и безумие**. Зрелище было такое, что я изумлялся, несмотря на все свое охлаждение к литературе». Здесь Страхов верно подметил, что Достоевский выступил почти против всей русской литературы и журналистики и господствовавших в них мнений. «Достоевскому показался сладок восторг, который раздавался при каждом его появлении в публике... он затмил Тургенева и наконец сам затмился».

Надо думать, что Достоевский действительно не признавал Толстого великим художником и никак не признавал его как моралиста, он не говорил никогда о своей любви к нему. Он любил и превыше всех ставил одного Пушкина.

В ответ на сообщение Страхова о смерти Достоевского Толстой написал ему, между прочим: «Когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Я считал его своим другом, и иначе не думал, как то, что мы увидимся и что теперь только не пришлось, но что это мое. И вдруг... читаю умер. Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал, и теперь плачу».

Тотчас после смерти Достоевского Страхов произносит речь о нем, 14 февраля 1881 г. на заседании Славянского благотворительного общества, выражающую уважение и любовь к умершему великому писателю и пишет свои о нем воспоминания. Но в то же самое время он пишет Толстому ряд писем совсем другого содержания. Он сообщает ему, что ему тяжело писать хвалебные отзывы о Достоевском, так как он его не уважает и он прямо кается Толстому в том, что кривил душой, когда их писал. Письма Страхова настолько расходятся с его напечатанными воспоминаниями и с речами, что они поставили в тупик многих исследователей личности Достоевского и, добавим, личности самого Страхова. Страхов называет в этих письмах Достоевского дурным человеком, злым, завистливым и развратным и даже сообщает, со слов Висковатого, случайного знакомого Достоевского, что тот хвастался перед ним в том, что он, Достоевский, растлил маленькую девочку.

Вот что писал Страхов Л. Толстому 28 ноября 1883 г.:

«Хочу исповедываться перед вами... Все время писания («Воспоминаний») я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением... Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким, и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя самым лучшим из людей и самым счастливым... Он не мог удержать своей злости... Выходки он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и не прямо (обидами) он услаждался и никогда не каялся до конца в своих пакостях, он хвалился ими... При животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести, это видно в его романах. Лица наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах»... Это был истинно несчастный и дурной человек... и нежно любил одного себя... Много случаев рисуются мне гораздо живее, чем то, что описано (в «Воспоминаниях») и рассказ вышел бы гораздо правдивее, но пусть эта правда погибнет...»

Тут кроется разгадка фразы Страхова в «Воспоминаниях» об отказе **писать всю правду** о Достоевском. Но страховская «правда» не погибла. Письма Страхова оказались своего рода бомбой замедленного действия, они были опубликованы после смерти Л. Н. Толстого в 1913 г. и дали много материала для хулителей Достоевского.

Они, к сожалению, изменили отношение Толстого к памяти Достоевского, отравили, можно сказать, его доброе чувство, о котором он писал тому же Страхову после смерти Достоевского.

Толстой ответил Страхову на его «покаянное» письмо, проникнутое ненавистью к Достоевскому, письмом 5 декабря 1883 г., в котором он писал: «Письмо Ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало. Но я Вас вполне понимаю и, к сожалению, почти верю Вам. Мне кажется, Вы были жертвою ложного, фальшивого отношения к Достоевскому, не Вами, но всеми преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведение в пророки и святого, — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы, добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в

поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Здесь, как будто, есть ответ на замечание Достоевского о том, что он не признает Толстого учителем (в критике «Анны Карениной»).

Толстой, далее пишет: «Из книги Вашей я в первый раз узнал меру его ума. Чрезвычайно умен и настоящий. И я все так же жалею, что не знал его... Бывают лошади — красавица, рысак, цена 1000 рублей, и вдруг заминка, и лошади-красавице грош цена. Чем больше живу, тем больше ценю лошадей без заминок. Вы говорите, что помирились с Тургеневым. А я очень полюбил. И главное, за то, что он был без заминок... Достоевский... с заминкой... весь ум и сердце пропали за ничто. Ведь Тургенев переживет Достоевского. И не за художественность, а за то, что без заминок...»

Толстой, конечно, не чета Страхову, он, правда, ошибся насчет того, кто кого переживает — Достоевский или Тургенев, да и «заминка» не сыграла той роли, о которой писал Толстой: все больше и больше людей конца 19 и 20 веков становилось людьми с заминками, и это не казалось им недостатком. Страхов пытается совсем очернить Достоевского в своих дальнейших письмах Толстому и не признает Достоевского за такого крупного писателя, как Толстой: «Достоевский, создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных и больных людей и был уверен, что списывает с действительности и что такова именно душа человека...» В другом письме Страхов писал: «Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже минута настоящего раскаяния — может все загладить... Если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная литературная гуманность — Боже, как это противно... Он был расположен к сладкой сентиментальности, к высоким гуманным мечтаниям... В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости».

Мы вернемся еще к заключительной фразе этого отрывка из письма Страхова, но сейчас любопытно привести ответ Толстого на этот «анализ»; ответ гениального писателя, понимающего величие другого гения, которого преисполненный ненависти Страхов пытается еще больше очернить в глазах Толстого.

«Я остаюсь при своем мнении. Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж! Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее... Вы уже не переделаетесь... но в Вашей манере писать есть то самое, что выражает сущность Вашего характера». Толстой любил Страхова, одно время считал его даже самым духовно близким ему другом, но не просал лжи на искусство.

Но было же, вероятно, в Страхове какое-то благородство, за которое его любил Толстой, был какой-то ум, за который его ценил Достоевский? Страхов, дописывая непривлекательный портрет Достоевского в письме Толстому, дает не только характеристику Достоевского, как он его понял, но и свою собственную. В Страхове, вероятно, тоже «уживались с благородством всякие мерзости».

Про Страхова в письме от 6 февраля 1875 г. Достоевский писал жене: «Не нравится мне Страхов... (и Майков) оба они со складкой». Это то же, что толстовское «с заминкой». А если Страхов писал тому же Толстому, что Достоевского и Тургенева он «не считает людьми», то и Достоевский пишет о нем в письме 1875 г. — «это — скверный семинарист, и ничего больше; он прибежал только после успеха «Преступления и наказания».

Очевидно, как правильно замечает Б. И. Бурсов в этюде «У свежей могилы Достоевского», у Страхова было много общего с Достоевским (конечно, не с его гениальностью) — сложность натуры, раздвоение или «двойничество», отсюда притяжение и отталкивание, два портрета Достоевского — один для воспоминаний, другой, секретный, для Толстого. Разница была только в том, что Достоевский управлял своей сложной натурой, и эта борьба и самопознание нашли творческое перевоплощение в его бессмертных произведениях, а у Страхова это двойственное отношение вызывало злобу и, времена, угрызания совести. Он спрашивает Толстого о своем отношении к Достоевскому: «Разве я злюсь? Завидую? Желая ему зла? Нисколько, я только готов плакать, что это воспоминание, которое могло бы быть светлым, — только давит меня».

Бурсов считает, что злобность в Страхове возбуждалась

влиянием Достоевского на него тем, что он передал Страхову «достоевщину» тем, что Страхов был «своего рода персонаж из Достоевского, испугавшийся самого себя и ищущий успокоения под сенью Толстого».

В Достоевском бесспорно было немало «неблаговидного». Он называл сам себя в покаянных письмах к жене Анне Григорьевне «беспутным, низким, мелким игровишкой», он писал: «ты меня видишь обыкновенно угрюмым, пасмурным, капризным, это только снаружи; таков я всегда был, надломленный и испорченный судьбой, внутри же другое, поверь, другое».

Когда Е. Ф. Юнге жаловалась Достоевскому в письме на свою двойственность, он в ответ дает яркое описание **своего** «двойничества»: «Двойственность, редко встречающаяся в такой силе как в Вас... Вот поэтому Вы мне родная, потому что это раздвоение в Вас точь-в-точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение». В письме к М. А. Поливановой Достоевский писал: — «Двоиться человек вечно, конечно, может, но уж, конечно, будет при этом страдать. Если нет надежды на исход, на добрый, всепримиряющий исход, то надо найти себе, по возможности, не надрывая себя, исход в какой-нибудь новой... деятельности, способной дать пищу духу... Я имею у себя готовую писательскую деятельность, которой предаюсь с увлечением, в которую полагаю все страдания мои, все радости и надежды, и даю им этой деятельностью исход». Здесь очень ясно показана «терапия» против «двойничества» — выход из безысходных вопросов. Например, в обличении «подпольного человека», как правильно показал Бурсов, Достоевский свое самообличение переносит на другое лицо, что позволяет автору стремиться к самооправданию.

Страхов пытался найти такой исход в покаянных письмах Толстому, но «складка» оставалась в нем. В одном из писем к Данилевскому, с которым он был особенно дружен в последние десятилетия, он писал в 1882 г., т. е. опять таки одновременно с работой над хвалебными воспоминаниями о Достоевском: «Я становлюсь все больше молчаливым. С Достоевским я был в последние годы в разладе, все собирался помириться, да так и проводил его в могилу. На Вас я тоже, как Вы знаете, сердился. И отчего это все происходит? Мне кажется, что я прав, что другие виноваты, но наконец я прихожу к мысли, что есть во

мне какой-то недостаток, вызывающий других, так сказать, соблазняющий их на несправедливости... Все это очень грустно, потому что приходит старость и тоска растет с каждым годом...»

Да, недостаток в нем был, но не тот, о котором он пишет. Этот недостаток соблазнял не других, а его самого совершать несправедливости, коварно мстить людям, которым он, может быть, тайно завидовал. Коварной по отношению к Герцену называет Долинин книгу Страхова «Борьба с западом». То что Страхов плоско и вяло в своих статьях писал о человеческой душе и ее тайниках, под пером Достоевского превращалось в шедевры — «Бесов», «Идиота» и «поэм» Ивана Карамазова. Пятая книга «Братьев Карамазовых» «Pro и Contra» почти полностью основана на мыслях, изложенных Страховым в статьях 1862 г. «Тяжелые времена» — о нравственной ответственности человека и об общественном благополучии и о том, «что невозможно устроить человеческое благополучие без содействия его сознания и свободы». Но Страхов не был сильным человеком, он был человеком с «беспокойной совестью». Он сделал самому себе хороший психоанализ в одном из писем к Толстому (25 апр. 1878 г.): «Я никогда не жил как следует... Я поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался от жизни... Я берегся, я старался ничего не искать, а только избежать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. Я берегся нравственно — совесть у меня слабая, беспокойная; сделать подлость или несправедливость для меня несосно».

По формуле самого Страхова — раз он несчастный человек, «значит плохой»! Трудно согласиться с Бурсовым, что Достоевский «заразил» Страхова «достоевщиной». Вероятно, натура его была такова, что он мог двурушничать, лгать и каяться. Но, конечно, замечание насчет того, что он похож на персонажи Достоевского — меткое (вспомним Лебедева из «Идиота»).

Влияние Страхова на Достоевского было несомненным, особенно в шестидесятые годы. Влияние Достоевского на Страхова не доказано, но он, конечно, с одной стороны, восхищался его умом и талантом, а с другой — испытывал тот хаос, беспорядок, соблазны, в атмосфере которых жили герои Достоевского.

Страхов несомненно хотел повлиять на отношение Толстого к Достоевскому, но натолкнулся на вежливый, но решительный отказ, когда попытался отрицать гениальность Достоевского как писателя.

У Страхова совесть была неспокойна в связи с его отношением к Достоевскому. Он пишет злобные и мелочные письма, нападает на него. Кстати, по самому тяжелому обвинению — о маленькой девочке — вдова А. Г. Достоевская написала в 1913 г. опровержение и оценила по достоинству двоедушие «друга» Федора Михайловича, его подпольную натуру.

Достоевский дорого заплатил за свою былую дружбу со Страховым.

Н. В. Первушин

ДРУГАЯ ВЕРА*

25 мая 1934.¹

Живем чудесно, дорогие мои, наслаждаемся! Да здравствует жизнь, как таковая!!! Ждем в воскресенье, не опоздайте. Наташа с Андреем в субботу собираются купаться в Жюан-ле-Пэн. Целуй всех крепко, от меня и Бори. Ивана особенно и сто раз спасибо ему за все. У Вас было тоже изумительно. Господь Вас храни.

¹ Открытка из Ниццы в Грасс.

Пятница, 9/22 июня 1934.

Дорогой Верун! В понедельник мы уезжаем. Еще раз спасибо Вам за все, за все...

Ивана целуй крепко, крепко. Прожили мы этот месяц дивно и едем окрепшие. Борух купается, а я загораю, лежу на солнце. Наташенька с Андреем уехали во вторник утром в Авиньон, а в среду должны были быть в Лионе. Без них грустно. Я прохожу мимо квартиры, где она жила, и каждый раз сердце сжимается. Вчера были в Монако, чудесный город (напоминает, как ни парадоксально, Венецию).

Верун, напиши мне поскорее — как Вы все? Когда придет Марга?² Поцелуй ее за меня. Она нам *понравилась* — своеобразная. Если б не так далеко, еще бы с тобой повидалась. Но слишком далеко.

Борух очень поправился. Господь Вас храни.

Твоя Вера.

¹ Сестра Степуна.

Воскресенье, 9/22 июля 1934.

Дорогая моя Веруня, в четверг утром получила телеграмму из Москвы. Мама моя умерла ночью 19 июля, прислала телеграмму Танюша. За несколько дней до кончины мамы получила

* См. кн. «Н. Ж.» 92, 95, 96, 98.

письмо от Танюши, где она пишет: Мама и я благодарим за память и целуем Верочку М.¹ Я им послала еще и от Наташи.

Понедельник.

Верун, вчера пришлось прервать письмо, а сегодня получила письмо от Танюши от 18 июля, канун маминой кончины. С 14 на 15 июля около 4-х ч. утра, во время сна случилось кровоизлияние в мозг. Лежит она четвертые сутки без сознания, с параличем левой стороны. А в четверг получила телеграмму о ее кончине.

Верун! Ты знаешь, к смерти я отношусь без особого ужаса (*никогда* только смертельно боюсь смерти, в минуту слабости). Мама умерла без страдания, *хотела*² смерти, а я все равно грущу и..... Ну, да впрочем — целая стена рухнула. Все равно погребено все. И ей-то, конечно, лучше.

У нас в среду был о. Иоанн Шаховской, и мы молились. Он был светлый, и чувствовалось его присутствие *нужное* для нас. О многом говорили, о том, что непонятно. О неумении молиться. Очень он все хорошо объяснил, а на другой день телеграмма.

С понед. на вторник, когда уже Мамочка лежала в агонии, я видела во сне Царицыно³ и всех *Вас* и всех *моих* (всех и Маму и Папу). Меня этот сон ужасно потряс и я села у окна. Было 4½ ч. утра. Смотрела Венера — Слеза прозрачная на бледно-зеленом небе, и я плакала, кажется, всю душу выплакала слезами. А в понедельник было полгода кончины о. Георгия, и мы тоже ходили в церковь, и была чудесная заупокойная Литургия. В субботу служил на Дарю панихиду о Мамочке о. Иоанн. Теперь он уехал. Что ты будешь молиться о Маме, не сомневаюсь. Целуй Яна, крепко. Сестре Бори плохо, все еще в клиниках.

Твоя Вера.

Господь Вас храни, дорогие.

Эпилог.

На юге было так нам хорошо, что я не удивляюсь, что сейчас столько у нас горя. Все так и хорошо и плохо — Жизнь. Надо потерпеть, и эта полоса пройдет. До свидания. *Особенно* помолись за меня, скажем, в пятницу — 9-й день смерти Мамы.

¹ В. Муромцеву (Бунину).

² Пятно от слезы упавшей.

³ Дачное место под Москвой, куда на лето выезжали и Орешниковы и Муромцевы.

Нечаянная Радость. 11 июля 1934.

Сен-Жермэн де Фли. День св. Ольги.

Дорогая моя Веруня, пишу тебе из Обители Нечаянной Радости, где я прогостила 8 дней у сестры Танечки.¹ Мне здесь очень, очень нравится, но, к сожалению, получила письмо, что должна вернуться в Париж, т. е. не то, что должна, а Наташенька приезжает завтра с Андреем к нам на 5 дней перед каниками, и мне хочется с ней пробыть. Боря у них гостил 12 дней, ему там было очень хорошо. Это 5 верст от Булонь-сюр-Мэр. Я не поехала, мне хотелось побыть одной и сосредоточиться, а здесь это можно *хорошо было сделать. Был 2 дня Владыка*, я его очень и очень люблю. Потом Танечка светлая и еще одна монахиня Кампанари, сестра Ефросиния, знакомая Ольги Львовны Еремеевой. Чудесная она! Так мне с ними хорошо и легко. Каждый день служба, а днем гуляем по полям. Вечером рано ложусь, в 10½ ч. Отдохнула вполне. Батюшка² тоже очень доволен своим прибытием³ у Наташеньки и Андрея. Конечно, никогда я бы не могла быть монахиней, это ужасно трудно, для меня невозможно, но жить рядом с такими людьми мне отрадно.

Раза 4 была у Тэффи и Пав. Андр. в Марли-ле-Руа, под Парижем. Оба они хорошо поправились; конечно, П. А. останется инвалидом, но хоть сейчас он повеселел и подбодрился.

Очень последнее время я измучилась с Аслановым⁴ — он от голода и одиночества покушался на самоубийство, и пришлось денег доставать. К сожалению, люди омердели и мало собирали. Кепиновы дали сразу 200 фр. и хлопотали еще.

А твое как здоровье? Фондаминский сказал, что ты бледновата. Напиши мне, дорогой друг мой!

Мне хочется очень на море, но мы бедны до предела.

Верочка, отчего ты больше не пишешь? Почему? У тебя всегда интересны твои воспоминания. Ты много читаешь, можешь и о франц. литер. написать.

Целуй всех твоих нежно. Кланяйся, кому можно, а кого можно целуй. Напиши о всех. Скажи Яну, что я его нежно целую. Пошли ему Бог здоровья.

¹ Моя сестра.

² Это я. Б. З.

³ Вероятно, «пребыванием», а м. б. каприз стиля.

⁴ Артист Моск. Худ. Театра, позже вернулся в Россию.

⁵ Не печатаешься.

3/16 августа 1934.

Дорогой мой Верун, получила давно твое письмо, да все лень была ответить. Мы тут живем в Обители 8 дней, я в самом монастыре, а Боря на деревне. Здесь рай! Вчера вечером (в 10½ час.) был изумительный случай. Светила луна, часть парка и небо были бледно-голубые, и только в середине неба грозовые тучи, лил дождь и беспрерывно блистала молния. Это было прямо волшебство какое-то!

Целуй Яна за открыточку, Боря получил тут ее.

Бедный Ваня, какой ужас его кровотечение. Бедный, поцелуй его крепко, крепко за нас.

Была у Тэффи и Пав. Андр., целый день пробыла. Ведь ты знаешь, я отсюда выезжала на 12 дней в Париж (свидание с Наташей), и вот в эти дни я и к Тэффи съездила. А потом мы приехали сюда вместе с Борей. Не знаешь ли ты подробностей о смерти А. М. Черного? Бедная Мар. Ив.,¹ как ей жить? Ведь в ее жизни был только он один!

У нас здесь дикая жара. С Борей нас возили в Бовэ на автомобиле. Чудесный город. Там изумительный собор и церковь Сент-Этьенн. В готическом стиле. Чудесно. Жизнь здесь тихая и хорошая. Боря несколько раз говорил, что жалеет, что Вас здесь нет. Мне кажется, очень бы Вам понравилось. К сожалению, в четверг мы едем в Париж. В субботу Наташа приезжает с Луары, они там три недели отдыхали. Живет она, слава Богу, очень хорошо пока...

Боря платит за комнату 5 фр. в сутки с электричеством. А кормится у нас в келье. Очень мила мне Танечка. Каждый день хожу в церковь, раз пропустила. Служат здесь хорошо. Чудесные монахини. Я уже тебе писала про них.

Боря очень поправился, даже округлился. О зиме *не* думаем. Как Бог пошлет. Если нужны, то не погибнем. Обнимаю крепко. Борис целует и всем привет.

Твоя В....

¹ Вдова «Саши Черного».

Вторник 21 августа 1934.

Дорогой Верун, наконец отвечаю тебе на твое милое письмо. Я как-то не могла скоро ответить. Мне из Москвы все сестры прислали подробные письма о кончине Мамочки. Леля¹ мне при-

слала фотографию, Маму в гробу. Отлично вышло. Конечно, все это бесконечно тяжело, но я рада, что Мама не мучилась. Когда приедешь, прочту эти письма.

Борюшка не очень веселый, но все же крепится. Сегодня встретила Алданова. Он не очень доволен Довиллем. Было холодно. Сейчас Париж пустой. Странно ходить по пустым улицам. В воскресенье 40-й день смерти моей Мама. Как идет быстро время.

В понедельник Наташино рождение — 22 года ей. Вчера с Борей были мы у Пав. Андр. Бедный он, все время плачет. И ничего уж почти не говорит. Не ходит. Тэффи устала ужасно. Но в ней есть необычайная выдержка. Она молодец. Мы гуляли, ели на берегу Марны фритюр^ы, запивали белым вином. Было приятно и грустно. Верочка, что Митя? Напиши мне о нем *побольше*.

Как Вы все? Прошел слухок, что Вы приедете. Ну, не теперь же. В Париже очень жарко сейчас, хотя у нас прохладно в нашей квартире, а Растеряева улица² пышет жаром. Сейчас у Вас рай, вероятно, цветут всякие злаки.

В этом году ужасно много народу уехало в Савуа. Мода такая! Я очень о многом бы хотела написать *о своем*, внутреннем, но как-то слов нет. Странно, мало меня заботит “жизнь как она есть”. Самое главное, мы здоровы. Как будто мало, но это ужасно важно. Кругом сплошной вой и ор, все стонут. Да, конечно, радости мало, эмигрантам особенно. Недавно на рынке я поругалась по-русски с франц. коммунистом. Когда приедешь, в лицах изображу. Это было кратко и сильно. Много взяли они здесь силы. Только хорошо, когда никого не видишь. Всякий со своим горем как бы на плечи накладывает что-то тяжкое. Борик целует всех Вас.

Господь храни Тебя, моя детка! Вспоминаю часто, как мы сидели с тобой наверху у огорода и разговаривали. А этот “оргийный вечер” 17 июня! И сколько горя после этого, а прошло 2 месяца. До свидания. Целуй Яна нежно и всем привет.

Твоя В....

¹ Младшая сестра.

² Рю Тьер в Булонь-сюр-Сэн, очень некрасивая. Мы прожили на ней с 1932 по 1964. Иван называл ее Растеряевой ул., это из Глеба Успенского, убогая ул. в Туле, где мастеровые жили.

Суббота. Сентябрь 1934.

Дорогой Верун, со днем рождения тебя поздравляю. Мысленно буду с тобой. Сейчас проводили, с Наташей, Борю. Уехал на съезд иностранных журналистов, от Правления Союза — в Бельгию. Звал меня с собой. Женам тоже почти даром — не поехала. С одежкой и обувкой не крепко. Поехал с женой Милюкова и Миркин-Гецевич. Потом бродила по Парижу, была в Палэ Руаял'е, Тюильрийском саду. Чудно! Осенний прекрасный день, и как всегда в меланхолической дымке Париж.

Верун, начала тебе днем, в 12 часов, а кончаю сейчас, теперь 10 ч. веч. Наташа берет ванну, а я легла в 5 час. дня и все время или спала или читала и совершенно без сил. Этот страшный месяц для меня. Под Покрова Божией Матери, под твое рождение был Леша взят.

Господь с тобой и со всеми вами. Целуй всех.

Твоя В....

Читала ли “Изольду”?

Воскресенье. Сейчас 8 час. Встаю и поеду с Наташей в церковь. Панихида по покойной Государыне, а днем поеду в Сэвр, посмотреть фарфоровую выставку, там замечательный русский отдел. Крепко обнимаю тебя. На этот раз желаю *здоровья и денег*, а остальное все приложится.

Твоя В....

*14/27 сентября 1934 г.
День Воздвижения Креста.*

С Ангелом, мой старый друг, пошли тебе Господь радости и здоровья. Всех с именинницей поздравляю.

Последние дни у нас живет Бороина сестра. Я этим летом к ней 4 раза ездила. Она была тяжело больна, и теперь я ее сюда привезла, чтобы показать профессору Лаббэ. Она чуть не умерла. У нее спазмы сосудов и был временный паралич (6 часов продолжался).

Но она такая изумительно духовная. Ты никогда не скажешь, что она больна. Веселая, светлая и бодрая. Я ее очень люблю. Она моя опора в юдоли житейской. Собираетесь ли в Париж? Вчера узнала, что Куприны на этот раз вынырнули. Киса¹ получила место в синема (крутится).

Верун! Вчера я была одна на Дарю — вынос Креста. 500 раз поют “Господи помилуй”. Это каждый год мне кажется, что

все лучше и лучше. Я о тебе думала, лежа на полу. Встала за Крест, и там никого не было, я одна стояла, ну, а церковь была набита людьми. И вот сейчас много думала я и плакала, как все видно, когда проходит. Я не умею выразить, но ты понимаешь.

Наташеч и Андрей сейчас в Руане живут. Скоро приедут. С Борухом нам сейчас очень хорошо. Он в крепком виде. С Божьей помощью живем, хотя материально очень, очень трудно. Ну, что ж делать, квартиру бросаем в январе, уже сегодня откажемся. Боря и я не выносим наш Бианкур. Но что найдем? Не знаю.² Очень мне хорошо было в Сен-Жермере, — я тебе писала об этом.

Хороший рассказ “Марианка”.³ А ты опять замолчала? Почему? О Верхарне хорошо было. Ты, Верун, скромна очень. Пиши. Если б я умела писать, я бы писала. Но я *ничего* не умею, и поэтому Боря должен меня лажэ, нурир и т. д., а ему одному это трудно. А я мучаюсь, хотя он никогда ничего мне не говорит.

Утром была у Алдановых, с рынка зашла. До свидания. Целую Яна и привет всем от меня. Боря поздравляет и целует тебя и всем кланяется.

До свидания, друг мой!

Твоя В....

¹ Ксения, дочь Куприна.

² Ничего не нашли и прожили на этой кв. еще 30 лет.

³ Л. Ф. Зурова.

30 сент./13 октября 1934.

Верун, милый! Как всегда, в этот день с Тобой. Дай Бог Тебе здоровья и спокойствия душевного. Этот день Покрова Божией Матери для меня в прошлом веселый день. Помнишь, как отплясывали у Вас? А в 1919 г. под эту ночь был арестован Лешенька...

Милый Верун! Какой опять ужас — убийство Короля! Патриоты, рыцари гибнут. Дольфус, Александр, а Литвинов жив. Мне рассказывали бывшие в Лиге Наций — за 30 шагов никого не подпускали к нему, охраняли! А тут *знали*, что за Королем охотятся, и не было охраны. Мы все ревём, ведь это последний друг России — Рыцарь! У меня чувство, точно родной умер. Если бы ты жила в Париже, то ты бы видела, как все почти левеют. Верун, я жду от тебя писем.... Я беспокоилась о

Мите. Поцелуй Амалию Осиповну¹ и кланяйся *настоящему* Человеку, Зензинову от нас обоих. Боря Амал. Ос. целует ручку. Господь храни Вас!

¹ Фондаминская, жена Ильи Исидоровича Ф-го.

16/29 декабря 1934.

Дорогая моя Верунечка, с Новым Годом поздравляю Тебя и Леонида Федоровича. Желаю здоровья, и тогда все приложится, а Л. Ф. написать еще книгу.

Ты меня спрашиваешь о нашей жизни. Мы живем, слава Богу, не плохо (душевно), а материально с камешка на камешек прыгаем. Борух пишет большую вещь,... но печатать негде.¹

Летом собираемся в Финляндию на 2-3 месяца. У нас там оказались друзья. Все расскажу тебе при свидании, если до лета увидимся, а писать лень. Это одно из чудес! Ивана за этот месяц в "общем" видела 1 час или 2 часа. Он инвизибль, для нас, по крайней мере. Завтра встретимся у Цетлиных. Наташа с Андреем в Оране, из Алжира переехали. П. А. и Тэффи все по старому. Устает она, а он плачет или читает. Жаль их бесконечно. Из Москвы ужасные, печальные вести. Голод, холод и безнадежность. Митечке твоему еще не написала, но непременно напишу. Боря сейчас пасьянс раскладывает. Он тебя целует, а Л. Ф. очень кланяется. Бальмонты медленно погружаются в болото. Если бы приехала, поговорили бы, а писать лень.

Господь тебя храни. Обнимаю.

Твоя В.

¹ Загадочная фраза. Печатался в «Совр. Зап.». Намек на статью о Гоголе? Из-за нее вышла размолвка с «С. З.». Но статья все же была напечатана, правда, позже. И это не «большая вещь» (О «Переписке с друзьями»).

VI

1935-й год в нашей с Верой жизни был отмечен "событием," для нас значительным, внесшим в скромное эмигрантское бытие наше оживление и освежение.

В 1933 и 34 гг. скончались в Москве родители Веры — Алексей Вас. и Елена Дм. Орешиниковы. Вера получила тогда очень много "соболезнований". Ответила благодарностью в газ. "Возрождение". Случайно ее ответ попал в дальней Фин-

ляндии в руки Нины Геннадиевны Кауше, дальней родственницы Веры, некогда, девочкой еще, жившей в доме Орешиниковых в Москве — кажется, она была сиротой и росла вместе с Верой и ее сестрами. У ней осталось хорошее воспоминание о том времени и об Орешиниковых. Прошли годы, революция, эмиграция — Вера и Нина совсем потеряли друг друга из виду, но благодаря попавшему ей в руки “Возрождению”, Нина узнала о Вере и пригласила нас к себе летом в Финляндию — она была уже замужем за состоятельным немолодым человеком, жили они в Колломаках на собственной вилле. Пребывание там ничего нам не стоило, все расходы взяла на себя Нина (своими силами мы никак не могли бы осуществить предприятия такого).

Оно оказалось в высшей степени удачным. Огромная перемена впечатлений, очень милые и дружественные хозяева, поездка из Колломак на Валаам, давшая мне возможность написать книжку о Валаамском монастыре и замечательном острове на Ладожском озере, где он стоит — все это редкостная удача, о которой через тридцать лет вспоминаешь, как о посланной Милости и вечно благодаришь в душе за нее.

Начинается этот 1935 год с записей Веры печальных, но по другой линии.

Суббота, 24 февр. 1935.

Дорогой Верун, прости, что не писала, но у нас всякие горести большие. Колю Бруни арестовали, пишут: “Коля серьезно заболел, вряд ли выкрутится”. Арестовали его 16 декабря. Анечка¹ с 6-ю детьми живет в сарае. У нее аппендикс и почка больная.

Еще горесть. У Нюшеньки туберкулез. Она уже 6 недель в больнице Бруссэ. Я к ней хожу через день, она счастлива, что ее все балуют. Удивительное существо. Кротость и смирение. Через 3 недели Боря читает лекцию. Скажи Яну, что я не успела 20 фр. сдачу отдать, за такси. Он так скоро уехал, что я не смогла это сделать. Как здоровье его? Как Л. Ф.? Галина?

Летом мы, Бог даст, поедem в Финляндию. Нас зовут друзья наши. Писать лень; как-нибудь напишу, как странно переплетается прошлое с настоящим. 40 лет не виделись, а теперь переписываемся, будто не разлучались. Прости за письмо такое. Как Митя? Сохрани Тебя и Твоих Господь. П. А. все так же страдает, а Тэффи вместе с ним.

Обнимаю Вас всех крепко, а Тебя особо, моя хорошая. На-

пиши мне скорее. Лично нам с Борухом хорошо, а кругом страшно.

Твоя В.

Боря целует тебя и Яна нежно, а молодым шлет привет дружеский.

¹ Племянница Веры, дочь старшей сестры Татьяны. «Коля» муж, поэт, авиатор, священник. Погиб на Севере в концлагере.

7/20 июля 1935 г.

Милый Верун, пишу тебе при открытом окне. Жарко. Сейчас 10 час. вечера. Только что ушел Шмелев, на минутку зашел, а Боря пошел к одному господину узнавать о пароходе в Финляндию. Визы, паспорта есть. В воскресенье бридж, и вот тогда решится — поедем или нет.¹

Живем мы как всегда. Наташа приехала. Очень поправилась. Загорелая, пополнела и Андрей тоже. Видимся каждый день с ней. Пока остаются в Париже. Бальмонт неважен. Все еще в лечебнице. Была у него Дагмара (потихоньку от Елены) и говорит, что удручающее впечатление производит. В страшном возбуждении. Похудел! Но самое страшное, это Елена. Она всем говорит, что он здоров и всячески старается, чтоб его оттуда взять. Сама совершенно сумасшедшая. Видела его 10 минут один раз только. Ее стараются к нему не пускать. Пав. Андр. все то же. Тэффи тоже утомлена, но как всегда, бодрится и при нем неотлучно. Я к ним захожу часто. Нюшеньку никак не удастся в санаторию поместить. Все видит плохо. Недавно получила Нюшенька письмо от Кати Бальмонт из Москвы. Кошмар! Бедную Анечку из Москвы с детьми выселяют. Верун милый, ты мне писала о Мите. Как его теперь здоровье? Как твое сердце? Что Ян? Борюшка работает, чувствует себя довольно хорошо. «Панкриноль» ему очень помог.

Похоронили Амалию Осиповну.² В день похорон была панихида у Матери Марии.³ Служил о. Сергей Булгаков, но не настоящую панихиду, т. к. всегда она была близка к христианству, но не крещеная. Бедный Илья Исидорович, Влад. Мих.⁴ очень страдают. Мне было очень тяжело на этой службе.⁵ Каждый вечер к нему все ходят. Я с Бор. были два раза, и в эти вечера их как раз не было дома.

Ну, вот и все, все наши новости. Прочла «Любовь к шестерым» — хохотала до слез, похабщина необычайная!!!

Борюшка всех Вас целует. Он сейчас вернулся. Если будут деньги, то поедем числа 3-го июля!

Завтра 13 лет исполнится, как мы выехали из Москвы. Здесь тяга на СССР. Кое-кто из знакомых уезжает. Напр., жена Айхенвальда (он скончался в Берлине, раньше. *Б. З.*), ты ее, кажется, знаешь. Асланов уехал и в таком роде.

Обнимаю Вас всех. Верун милый, напишу перед отъездом.
Твоя В.

¹ Платить за билеты надо было здесь. Для этого и устраивался «бридж» в нашу пользу. Не помню точно, где. Кажется, под Парижем, на даче у сочувственного мецената.

² Жена И. И. Фондаминского.

³ Скобцовой, в церкви на рю Люрмель.

⁴ Зензинов, давний друг Фондаминских.

⁵ Служба началась очень странная и невразумительная — ни то, ни се.

*Из Финляндии. Лето 1935 г.
(Начала письма нет).*

.....От Наташи веселые письма, она у Оболенских в папсоне Ла Фавьер. Там и Цветаевы. Бедный Бальмонт все еще болен. Из Парижа ужасно грустные письма от всех. Обнимаю.

Твоя В.

Напиши Вилла Поммер, Колломаки. Финляндия.

Против нас Кронштадт. Были два раза у границы. Солдат нам закричал: “Весело Вам?” Мы ответили: “Очень!” Он нам нос показал, а я перекрестилась несколько раз. Очень все странно и тяжело, что так близко Россия, а попасть нельзя. Но люди здесь очень, очень свои. Вообще Россию чувствуешь, прежнюю. Теперь уже как-то привыкла, что так все близко, а первое время странно было.

2 августа 1935. (Открытка).

Моя дорогая! 3-й день на Валааме — нет у меня сил все выразить. Все как в сказке. От “переживания” ходим как оголтелые. Б. доволен, тихо улыбается. Познакомились с дивными старцами схимонахами. Красота! Солнце сейчас. Ездили с Отцом Игуменом на моторной лодке к схимникам. Верун! Еще раз послал нам Бог видеть чудо Земли Валаамской. Нина¹ прелестна. Такой широты и доброты я *не* видела. Она нас заласкала.

Прекрасный человек. Борю она полюбила ужасно *и как человека*. Целуй от нас Яна крепко, крепко. Господь Храни.

Твоя В.

М-м Кауше, Колломяки, Финляндия.

¹ Нина Кауше, у кот. мы жили в Колломяках.

8/22 августа 1935.

...Верун, 10 июля мы сели в Антверпене на пароход "Балтик", ехали 4½ суток. Погода была дивная. За неделю свирепствовали бури (проехала знакомая). Трудно тебе рассказать, *как к нам внимательна Нина*. Мы друг друга *тогда* узнали... и как будто не расставались. Живем мы в пансионе (у нее большой муж, потому не у них). Две большие комнаты, балкон, весь в цветах, 2-й этаж. Окна кабинета Борина выходят в сад, вернее парк, с цветами, яблонями и дальше пляж. А спальня в рощу. Когда приехали, был сенокос. Поразили нас ароматы, иначе нельзя назвать воздух здесь. Все пропитано смолой от сосен. Цветы, трава, все пахнет изумительно. Нина *каждый* день приносит букет роз и каких! У нас комнаты как бы надушены. Теперь еще душистый горошек. Приносит букеты и других цветов. Что здесь трогает, это *внимание* и необыкновенная ласковость к Б. Уж отвыкли в Париже. Б. читал лекцию в Териоках, рассказы в Райвола. Народу было масса. Это все, если Бог пошлет увидеться, расскажу при свидании. Прибавлю одно — настроена молодежь националистически, *не скулят*, как в Париже, и не колеблются.

Верун, я как бы оттягивала описание Балаама! Я *не* смогу написать то, что я чувствовала. Минутами казалось, что не хватит дыхания от восторга. Вот опишу тебе одну ночь. Но я не опишу, а намекну какой-то слабой тенью. Из Ревеля муж, жена, 13-тилетн. сын, Борюшка и я — в 2 часа ночи вышли из гостиницы. Было темно, хотя звезды погасли. Взяли лодку; Боря и господин Тот¹ гребли, а мы трое сидели на корме. Красота была изумительная. Ехали почти час, мимо островков, скиты, часовни. Начало светать. Доехали, привязали лодку и пошли в церковку имени Коневской Божией Матери, там нас ждал схимник, это было уже три часа. Исповедывал. Это при свидании *тебе* расскажу. Вышла из церкви в слезах, села на скамейку, пока другие исповедывались, и увидела, что пруд был

весь розовый и отделялся туман фантастическими фигурами. Обедню служил о. Федор, который нас исповедывал, а все остальное — за диакона, пел другой схимник, о. Николай. Вера! Ты себе представить не можешь, что это за Человек! Это дух с огромными серыми глазами, невесомый. Трогательный. Ему 71 год. Я описывать не буду — расскажу. Мне хотелось пасть на колени и... ну, да, впрочем. Мне кажется, он сразу познал нас. Сколько любви, сколько облегчения дала мне эта ночь. В церкви был еще лишь один монах и больше *никого*. Когда кончилась Литургия, о. Николай позвал к себе чай пить. Его хижина на берегу пруда. Тишина. Красота. Он *совсем* один живет уж 15 лет и зиму и лето. Я тебе пишу и плачу от умиления. Разговоры тоже писать не буду — расскажу, если Бог приведет увидеться. Во мне говорит не истерия (верно Иван скажет: “у, истеричка!” Целуй его от меня). Наоборот, никогда так покойно и хорошо не чувствовала себя.

Возвращались в шестом часу, уже солнце. Такая голубизна неба и тишина. Вода как зеркало, не знаешь, где камыши кончаются, в воде ли, на воздухе ли. Проезжали мостик со сводом, казалось въехали в кольцо, так было тихо и отражалось в зеркале. Приехали прямо к пострижению бывшего игумена, постригали в схимники..... Это тоже изумительно. Пробыли мы там 9 дней, приобрели много друзей, монахов. У игумена пили чай (3 часа сидели), не отпускал. У о. наместника тоже пили чай. Все они очень интересные и образованные. Верун! как Вы? Напиши мне, очень прошу. Где Зуров? Галина? Уехала ли Марга? Пишет ли Ян? Всем шлем привет. Батюшка² очень доволен, что мы здесь. Нина нас не пускает до конца сентября. Она вообще просит, чтоб подольше быть с ней.

Никогда такого отношения мы не видели. Она буквально все делает, чтоб нам хорошо было. Боря будет читать в Выборге и Гельсингфорсе. Много приезжают с Б. знакомиться. Поэты, писатели (молодые) и вообще читатели.

Душенька, как Митя? Где Кульманы? Наташенька на юге с Андреем.

¹ Янсон, учитель. Из Ревеля. Позже тоже написал книгу о Валааме.

² Так она меня называла.

VII

Мы возвратились из Финляндии осенью 35 года. Следующий, 36-й, был довольно бурным для Западной Европы: в Испании началась гражданская война, во Франции — кипение революционное, до войны, однако, не дошедшее, в Германии укрепился национал-социализм Гитлера. В письмах Веры этого времени есть отголоски французских событий — она их воспринимала сквозь трагический русский опыт.

Эта часть переписки ее как бы завершительная: с 1939 года война прервала ее (можно было писать из Парижа при немцах только открытки на юг с отдельными фразами). А позже Бунины и вообще переехали в Париж, письма прекратились.

Четверг. 1936 г. Канун Николина дня
(8/22 мая).

Дорогой Верун мой! Очень меня волнует здоровье Мити.¹ Бедный, бедный, действительно Иов Многострадальный. В понедельник мы похоронили Грифа² — рак в мозгу. Было ужасно грустно, плакали все очень. Он у нас не так давно был. Страдал очень. Умер в Питье, без сознания. Ему сделали операцию, т. е. вскрыли черепную коробку.

Вообще все грустно. Мне все омердели, все оборонцы, социалисты, идеалисты, ну их всех... Вчера была в церкви на Отдании Пасхи. Проревелась и лучше всегда. Одно утешение. А сейчас пришла от Всенощной.

Бальмонт совсем плох. Стал тих, его развязали. А был связан месяц и руки, и даже одно время ноги. Нюшенька, “Ангел вопияше”, на 6 фр. кормит Елену,³ Мирру⁴ и себя. В ней больше нет тела. Одни огромные фонари — это глаза. С Тэффи редко вижу, очень я устала и хожу только туда, где я действительно нужна. Тэффи больна, но не лежит. У нее почки не в порядке.

Вера, странно сказать — я люблю жизнь и веселюсь, но для меня мир сейчас как-то зыблется, не реален, я больше с теми, кто ушел. У меня какое-то странное ощущение — передам, когда увидимся с тобой. Но мне очень хорошо, так никогда не было. Мне ничего не надо материального, т. е. надо необходимое. Я люблю многое — но, пойми, самое важное со мной. Борю я очень, очень люблю.

Верун! Обнимаю тебя. Напиши о Мите — милый, бедный Митя!! Храни Вас Господь. Целуй Яна и Леон. Фед. Его послед-

ний очерк отличный. *Всем* нравится. Борин Валаам выйдет в Ревеле.

I	Отпечаток	I	Поцелуй
I	губ	I	мой
			тебе.

¹ Брат Веры Буниной в Москве.

² Сергей Алексеевич Соколов, наш давний приятель еще по Москве. Поэт («Сергей Кречетов»), глава книгоизд. «Гриф», где некогда вышли «Стихи о Прекрасной Даме» Блока. Известный журнал «Ревал» — первые годы века.

³ Тогдашняя жена Бальмонта.

⁴ Дочь Елены.

Воскресенье, 5 ч. вечера.

Грасс (вероятно, июль) 1936 г.

Верун, родной! Весь первый день думали, как едешь. Я говорила: Наша лягушка-путешественница¹ едет там-то, сейчас же Зуров говорил: нет еще! Не доехала. Иван очень тебя жалел, что в жару ты едешь, да еще не спавши.

Живем мы чудесно. Я давно, давно не видела Ивана таким, как он сейчас. С Борей много они говорят о литературе, и еще о разных бывших темах. Иван очень нежен, работает целые дни. В пятницу вечером вчетвером ходили гулять. Иван очень, очень мил, и мы рады, что он так работает и так чувствует себя хорошо. Много говорили о тебе, урывками. Он беспокоится, что ты утомишься. Зуров весел, тоже пишет. Сейчас пойдем втроем в Грасс, опускать письма.

Верун! Дорогой! У Вас нам чудесно. Вчера я была одна на вилле, мне было как в волшебном сонном царстве. Чудесно.

Жозеф² прекрасно готовит. По утрам я беру солнечные ванны.

Как Галина? Поцелуй ее от Бори и от меня. Боря в ее комнате поселился. Он себя хорошо чувствует. Читает Иова, а я Книгу Странника. В Канн Мочульский, его видел Леня. Мочульский сказал, что приедет на Бельведер. Господь Вас храни обоих. Узнай, если сможешь, о сербах — дают ли? Боря целует крепко. Леня тоже. Целую, В.

¹ Мы гостили в Грассе у Буниных, а Вера уезжала в Париж — не помню зачем.

² Повар, провансалец.

Среда 1936 г. (лето, июль),

Дорогой Верун! Сейчас, в 4 ч. дня, получили экспресс от тебя. 1. Ян сказал, что денег тебе пошлет. Оставайся до вторника. 2. Письмо от Мити он тебе послал. 3. Мы живем *отлично*. Давно так себя оба не чувствовали. Иван в *очень* хорошем виде. С Борей говорят много о его книге. Он работает целые дни. Вчера ездил в Канны постричься и быстро вернулся. Вечером ходили вчетвером гулять. Леня поехал сегодня в Канны. Я ему сказала: гуляй, сынку, гуляй! Он тоже много пишет. Сегодня получил от Руднева письмо, тот просит ему дать в "Соврем. Записки" кусок из романа или еще что-нибудь. (Я хорошо не поняла). Борюшка тоже пишет. Все мы живем дружно и весело. Вчера Яну вечером помогли вымыть голову. Иногда он нас смешит до слез, так хохочем. 4. Платье *кун*, если оно рябенькое, *не* крупно, и если стоит 35 фр. Одно мне жаль, что ты не будешь в Бордин юбилей с нами, это будет как раз 15/28 июля (во вторник¹). Конечно, для этого не приезжай, а поживи с Галей. Ваня сказал: пусть поживет, я ей деньги доплю. За квартиру послал уже тебе.

Верун, у меня к тебе просьба: сходи к Тэффи, она очень плохо себя чувствует (этого, конечно, ей не говори). Мне ее бесконечно жаль. И физически она никуда. Все время хворает.

Мужики волнуются газетами...² читают; бегаем вечером за последними известиями. Ян ждет всегда очень известий от тебя и рассказывает нам, он беспокоится, что ты устаеть очень. Ну, Верун, храни Вас Господь. Ты забыла иконку с "Валаама" для Гали — посылаю. Борова кн. "Валаам" послана из Эстонии 17 июня (500 экз.) и застряла.³

Если не забудешь, то попроси Тэффи, чтоб она сказала Джурджиеву (в "Возрожд."), чтоб он узнал в таможене, т. к. склад этой книги будет в "Возрождении". Я ей писала 2 раза, она ничего не отвечает про это. Прости, что затрудняю. Если забудешь, то ничего, я еще раз напишу.

Кормит нас Жозеф отлично, я не велела ему брать каждый день рыбы для меня. Здесь такая масса овощей! Леня дает нам укропу со своего огорода. Здесь чудесно! Погода дивная. Жары нет. Много солнца. Вчера вечером Иван нам рассказывал, как Вы в Софии жили и как Вас обокрали.

Все тебе пишу, что и как! Боря и я целуем Тебя и Галю. Храни Вас Царица Небесная.

Твоя В.

Ужасно душа скорбит об Иване Серг.⁴ Бедный, бедный! Посылаю тебе, вместе с деньгами Ивана, — 40 фр., на платье 35 фр., а 5 выпейте кофейку за мое здоровье. Узнала ли насчет сербов? Если увидишь Алданова — спроси, он наверное знает. Про Бальмонта, про Ньюеньку, что слышно?

¹ 35 лет тому назад был напечатан мой первый рассказ в москов. газ. «Курьер».

² Гражданская война в Испании — начало ее.

³ Была напечатана в Ревеле.

⁴ Шмелев. У него только что скончалась жена, Ольга Александровна.

Среда (лето, Париж, 1936).

...Здесь ужасно: вчера видели шутовские похороны. Гроб, там лежал “буржуй” — не то Киапп,¹ не то Делларок,² кула в маске. Впереди шел (переодетый) полицейский, священник, несли крест огромный. Позади ехала повозка с быком (Испания) и “Россия”, б.... одетая в “русский костюм”, и толпа, но что за рожи. Все с кулаками.

Через четверть часа другая процессия. Повозка в красных флагах, и уже 3 б.... А рядом шагал опять пролетариат! Но какой!

Пока тебе пишу, опять процессия, синдикат какой-то! Но без масок. Кажут кулак и орут: Ура! Вот тебе и начало: великой, бескровной! А наши мироточивые закатывают глаза и говорят: все прекрасно! Верун милый! Очень хочется сейчас к Вам, но сейчас, очень соскучилась по Наташе, три месяца не виделись, а их скоро могут послать куда-нибудь.³ Мы думаем поехать в пятницу, выедем в 8 ч. утра и приедем в 12 ч. в Монте-Карло.

Может быть, в Ницце устроим свидание. О многом нужно поговорить. И о панихиде! Я, вообще, отказываюсь многое понимать! “Все перевернулось в доме Облонских”, а теперь уже не дом Облонских, а мир перевернулся. Фальшь, игра в большие вопросы.

Чувствуем себя очень одиноко, но, слава Богу, мы вместе. Батюшка мой *правильный*, и чувствует все как-то кожей и всегда правильно. Это меня поддерживает.

Господь храни Вас. Целуем крепко Вас всех тронх. Люблю и еще раз спасибо.

Твоя В....

¹ Префект Парижа, правый.

² Глава националист. партии, типа фашистов.

³ Андрей Соллогуб, муж Наташи, служил тогда в инспекции Барклей'с Банк'а, его посылали ревизовать отделения банка в провинции (Франция).

Пятница, 1936 (лето) Париж.

Дорогой Верун, что ты ничего не пишешь о Мите. Все думаю о нем.

Сейчас здесь мердово! Забастовки. Везде красные тряпки. Пролетариат ходит, кулак кажет и приговаривает: *Les Soviets partout*, поет звонко "Интернационал". Ждали общей забастовки. Народ бросился за свечами, сахаром, спиртовками. Но сегодня Блюм объявил, что забастовка кончилась. Газеты вышли: Юм, Популяр и Аксьон Франсэз. А другие газеты, и наши две тоже, не вышли. Очень противно все.

Дорогой мой, буду ждать от тебя письма. Жаль, что Ивана почти не видели. Очень жаль. Нас мало осталось, и у меня чувство, что хочется ближе быть с остатками своих друзей. Писать лень. Завтра годовщина Амалии Осиповны. Будет панихида. Ах, как много надо сказать тебе. Господь храни Вас. Целую тебя, Яна, Леню. Боря тоже целует. Я хочу спать... Возьму ванну и лягу. Обнимаю. Пиши тотчас же.

Твоя В.

Апрель 3/21 марта 1937 г.

Дорогая моя Веруня, поздравляю тебя с дорогой именинницей. Буду вспоминать о прошлом.

Спасибо тебе за письмо. Напиши мне, как ты себя чувствуешь *душевно*. Осталось ли то, что в тебе было на выносе Креста? Во мне осталось: "Да будет Воля Твоя". Так молюсь всегда.

От Наташеньки веселые письма и фотогр. карточки присылает. Батюшка работает. Всех Вас тронх целует, особенно

тебя. Мы мечтаем летом ехать на юг, но это все проблематично.

На Пасху нас зовут Ельяшевич, в первый день Пасхи поедем, если будет хорошая погода. Я должна полежать в тишине, дня три тому назад у меня ночью был сердечный припадок. Заснула и вдруг проснулась от диких болей в груди. Позвала Батюшку, он мне накапал валерианок и положил горчич. на грудь. Через 3 минуты все прошло. Только рука еще болит. Была у Серова,¹ он мне дал капли и сказал то же, что и все доктора, кот. смотрели: "Наполеоновский пульс и нервность". Все прошло.

Бальмонт уже совсем гибнет. У него мания преследования и он ничего не ест. Связаны руки и ноги. Елепа ходит как сомнамбула, а Нюшенька кормит Елену и Мирру на 6 фр. в день. Сегодня пришла газета из Милана, "Корриере делла Сера", большая статья о Боре и о Мережковском. Помянула первым Батюшку потому, что о нем гораздо больше написано. Мы *почти* нигде не бываем, чем очень "гневаем" Тэффи и других. Надо ходить и крыть друг друга, как хочешь, вот это жизнь. Скажи Леониду Федор.,² что мы получили письмо с Валаама, все ему кланяются с любовью. Как поживает Галя? Что она пишет о немцах?³ Будешь писать, от нас кланяйся. Мне хочется спать.

Господи храни Вас, дорогие. Поцелуй Яна, дорогого братика. Недавно у нас обедали Фондаминский и Влад. Мих.⁴ Когда-нибудь расскажу наш разговор, а сейчас лень писать: интересного мало.

Целуй — это

мои губы.

Верун! Дорогой! Пиши. Завтра 4 апреля. 3 года, как Папа умер.

¹ С. М. Серов, доктор, наш друг.

² Л. Ф. Зуров. В 1935 г. он тоже был на Валааме, но не одновременно с нами. Той же осенью мы встретились с ним в Финляндии на даче Нобеля, где вместе провели два дня.

³ Галина Ник. Кузнецова в это время уже не жила у Буниных, а переехала в Германию.

⁴ Зензинов.

Это — последнее из сохранившихся писем Веры Зайцевой давней подруге ее — Вере Буниной. Почему нет больше за 37-й год и ни одного за 38-й — не знаю. В 1939 началась война, все прервавшая. Бунины осели безвыездно в Грассе, мы безвыездно в Париже. Переписка вообще стала трудной, а когда немцы в 1940 году заняли Париж, переписываться можно было только открытками с заранее напечатанным по-французски текстом с пропусками — туда можно было вставить два-три слова, — “здоров”, “болен”, “скончался”. Несколько таких открыток уцелели, одна из них вызывает улыбку и сквозь лаконизм ее мелькает облик моей Веры, и в эти тяжкие годы не утратившей всегдашнего своего *brío*.

“*La famille va bien*”. В свободный промежуток вставила она: *J'ai —* такое словечко, что немцы понять не могли, а по-русски выходит слишком живописно.

По окончании войны Бунины вернулись в Париж, мы тоже жили в Париже, и переписки уже никакой не было.

Бор. Зайцев

“ПАРИЛКА”

ИЗ ТЮРЕМНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

«То, что я выдержал, клянусь, не выдержало бы ни одно животное».

Антуан де-Сент-Экзюпери.

Долгое время пришлось мне просидеть в старинной, прочно построенной тюрьме, с толстыми, крепостными стенами, со сводчатыми, как в монастыре, потолками. Тюрьма имела форму буквы «Е». Корпуса ее назывались глаголами: странно было слышать это древнее, церковно-славянское слово, сохранившееся в своей неизменной красоте вплоть до нашего времени.

Еще во времена матушки Екатерины была возведена эта монументальная темница, имеющая четыре этажа и обширный подвал, где помещались низкие, небольшие камеры-одиночки, похожие на кельи святых, отказавшихся от жизненных соблазнов. Эти одиночки предназначались для преступников, приговоренных к смертной казни.

В старое, царское время, одиночки имели железные, решетчатые двери, выходившие в коридор. Воздуху в них было достаточно: проходил он из коридора, где в летнее время были открыты высокие, двухстворчатые окна, выходившие в тюремный садик. Камеры были размером приблизительно три на шесть шагов, имели откидные сетчатые койки и столики, где арестанты могли принимать пищу. Между одиночками были устроены печи, топившиеся когда наступали холода.

Со времен «великой октябрьской» в темнице этой произошли значительные перемены. Много усовершенствований «гуманитарного» порядка было внесено в эту старую, царскую тюрьму. Одиночки были сейчас приспособлены под штрафные камеры, получившие у арестантов прозвище — «парилки». Сквозные решетки дверей были заменены терметическими, с обычными для тюрем «глазками», под которыми прорезаны были небольшие окошечки. Название — одиночка — стало

условным: вместо одного запихивалось туда до двадцати человек. Это был габарит, при котором арестанты пребывать могли только в стоячем положении. Наконец, НКВД, для блага арестантов, переменяло сезоны. Летом, когда стояла жара, печи подтапливались отборными березовыми дровами, недоступными гражданам, жившим на свободе. На зиму же, когда стояли трескучие морозы, камеры были предоставлены «самоотоплению», исходящему от тел арестованных.

Лучшим местом в парилке считались двери: около них все же просачивался воздух. Он отравлялся, правда, ядовитыми испарениями, исходящими от открытой параша: увы, в парилках крышек не полагалось! Худшим местом являлась стена, противоположная двери: особенно сильно чувствовался там недостаток воздуха.

Потолок был низкий и сводчатый. Люди высокого роста могли стоять не согнувшись только в центре, остальные размещались по росту в стороны от них. Потолок служил аккумулятором, где собиралась влага, выделяемая дыханием и потом. Он разряжался с акуратностью часов, в виде крупных, теплых капель, падающих на головы и обнаженные тела.

Парилки предназначались для арестантов, отказавшихся от своих показаний, учинявших скандалы в коридорах и уборных, оскорблявших или поднявших руку на своих следователей. Подобные случаи бывали, впрочем, весьма редко.

В высокий, сводчатый коридор, куда выходили парилки, привели меня весенним, лучезарным днем. Одурающий запах акаций, вместе со знойным теплом, вливался в раскрытые окна. Меня удивило, что в такую жару топят: дрова горели ярким пламенем, весело потрескивая и выбрасывая крупные, дымящиеся искры из просторных, старо-режимных печей.

Вахтер распахнул тяжелую дверь и облако зловонного пара ударило мне в лицо. Передо мною стояли почти голые люди, с одутловатыми, нездоровыми лицами, с непомерно опухшими ногами и широко раскрытыми ртами, глотавшими воздух как рыбы, вытасненные из воды и брошенные на раскаленный песок.

Я сделал шаг по направлению к двери: арестанты стояли не шелохнувшись, никто не подумал посторониться.

— Здесь места нет, — заметил я простодушно вахтеру.

— Что? — произнес вахтер с иронией, — сюда войдет еще столько же!

Он взял меня за плечи и резким толчком ноги в спину втиснул в камеру, захлопнув железную дверь. Открыв глазок, подмигнул мне, проговорив:

— Порядок!

С трудом удалось протиснуться к задней стенке и занять положенное мне, как новичку, место.

Казалось, я попал в жарко-натопленную баню, чтобы попариться, забыв снять с себя теплые вещи. Одежда покрылась темными, водяными пятнами. Я почувствовал как по спине и груди побежали ручейки пота. Меня засыпали вопросами: — Когда арестован, в каких тюрьмах сидел, подвергался ли пыткам, подписал ли протокол и т. д.

— Погодите! — раздался голос стоявшего у двери старосты, (старосты были даже в парилках). — Пусть сначала разденется. Пропадут ведь последние вещи!

Арестанты, обливаясь потом, стянули с меня пиджак, рубашку и штаны. Боже мой, каким неимоверно тяжелым трудом показалась мне эта процедура! Вещи просунули в окошечко, за которым стоял вахтер и с любопытством наблюдал привычную для него картину арестантского раздевания.

В камере — грудь к груди, спина к спине, бок к боку — стояли двадцать арестантов: предельная норма для одиночек, установленная НКВД.

Хотелось получить ответ всего на один вопрос:

— Да сколько же времени вы стоите здесь?

Ответы были разные: десять дней, месяц, два месяца и, наконец, только один — три месяца и двенадцать дней!

Несмотря на ужасающую жару, я на мгновение почувствовал, что руки и ноги мои стали холодными. Я силился осознать эти сроки, представить себе продолжительность их в этой парилке... и не мог! Впервые в душу мою закралось сомнение: выдержу ли?

Трудно определить какая температура стояла в нашей одиночке. Мы истекали потом и задыхались. Бывали случаи, когда у заключенного не выдерживало сердце и человек умирал. Мне пришлось быть свидетелем подобного, трагического случая, о котором расскажу дальше.

Четыре раза в день, узники одиночки имели «послабления». Они были связаны с пищеварительными процессами. Я говорю об еде и об оправке. В эти отрадные мгновения отворялась дверь и свежий, живительный воздух врвался к нам.

Процесс насыщения происходил при открытой двери. Счастливым удавалось выйти немного за пределы одиночки. В набитой до отказа камере нельзя было оперировать с кружками, наполненными крутым кипятком или выхлестывать, положенную на обед, баланду.

Оправка была счастливейшим моментом в нашей жизни: мы медленно шли по коридору, бесконечно затягивая время, необходимое для выполнения физиологических потребностей, окатывались холодной водой, стараясь соблюсти какой-то санитарный минимум. Были у нас двое доходяг, мечтавших только о том, чтобы, хоть бы на минутку, прилечь. Они растягивались на грязном, холодном полу, раскидывали руки и безобразно опухшие ноги: на лицах их застывала блаженная улыбка.

— Остановись мгновение — ты прекрасно! — декламировал обычно в эти минуты наш староста.

Наиболее тяжелыми показались мне первые ночи.казалось, что никогда не наступит рассвет: ожидание его было мучительно. Хотелось спать, хотелось преклонить голову и согнуть затекавшие ноги, наконец, опереться на что-нибудь. Но это было невозможно: вокруг плотным кольцом стояли люди — потные и дурно-пахнущие, прикосновение друг к другу вызывало взаимную брезгливость. Хотя чувство это, как «буржуазный предрассудок» и осуждалось, однако, преодоление его требовало усилий воли.

Здесь в «парилке» еще и еще раз приходилось мне убеждаться, что в человеке скрыты огромные силы, борющиеся за его существование. Думаю, что любые животные, поставленные в аналогичные с нами условия, передохли бы, не выдержав и недели!

Сравнительно хорошо переносил я высокую температуру, труднее недостаток воздуха. Ноги же мои наливались свинцом и пухли почти осязаемо. Недели через две, они потеряли свою естественную форму и стали «бревнообразными» — ровными, округлыми, мягкими будто наполненными водою.

Случались, иногда, вызовы. Арестант никогда не возвращался: в тот же день, обычно, приходила ему замена. НКВД следило за тем, чтобы одиночки заполнены были до предельной нормы.

Стены камеры были испещрены надписями, замазанными

дешевой, осыпающейся краскою. Вот некоторые из них, которые сохранила память: — «Здесь сидел директор Ростовских ж.-д. мастерских им. Ленина, Козлов, член партии с 1902-го года». Под этой надписью был нарисован крест, около которого стояло: «Расстрелян в августе 1938-го года».

На уровне моих глаз была длинная, местами стертая фраза, прочесть которую удалось не без труда: — «На костылях, на четвереньках доползу до Кремля и собственноручно задушу Иоську, подлейшего из палачей и тиранов! Красный партизан, большевик-ленинец с 1917 г.».

У самых дверей: — «Товарищи! Зачем пишете непристойности? Партия знает, что делает!» Внизу, как бы в ответ на это: «Сволочь! Поцелуй меня в ...» (далее следовало нецензурное).

Одиночка была заполнена научными работниками и партийной элитой. Справа от меня стоял проф. Щелкунчиков, декан кафедры биологии Воронежского Госуниверситета, — старик лет семидесяти, пытавшийся держаться бодро, хотя от него остались кожа да кости. Профессор, несмотря на истязания, отказался подписать протокол, составленный следователем. Слева от меня, облокотившись на сырую стену, стоял прокурор Краснодарского края Шаповалов, отказавшийся санкционировать ордера на массовые аресты, производимые органами НКВД. Между ним и органами, накануне ареста, произошел краткий, но выразительный телефонный разговор:

«— Тов. Шаповалов? Говорит начальник секретно-оперативного отдела НКВД. Я послал вам на подпись ордера на арест контрреволюционеров. Подпишите их и немедленно возвратите в НКВД! С тем же курьером!

— Простите, но по закону обязан предварительно ознакомиться с делами.

— Что? Что! Вы хотите заниматься бумажной волокитой? Может быть вы сомневаетесь в необходимости арестов врагов народа?»

Разговор был окончен. Ночью прокурор был арестован и доставлен в НКВД. Шаповалов был прекрасным шахматистом. Часто, по вечерам, я любил играть с ним à l'aveugle.

Третий арестант из моего окружения был, пожалуй, самый интересный. Это был москвич, один из заместителей ген-

рального прокурора СССР, Александров.* Перед арестом он совершил инспекционную поездку в новую, только что законченную тюрьму для «особо важных государственных преступников». Тюрьма была построена по последнему слову казематской техники и расположена на одном из пустынных мест побережья Северного Ледовитого океана. Сообщение с ней было возможно по воздуху или же, на весьма короткое летнее время, на пароходах, по так называемому северному морскому пути.

Главная особенность этой тюрьмы состояла в том, что заключенные никогда не могли видеть друг друга и слышать человеческий голос. Изолированные камеры-одиночки были механизированы: завтрак, обед и ужин подавались в камеру при помощи особого конвейера, таким же образом и убиралась грязная посуда. Двери для прогулок открывались по сигналу и вели в небольшой дворик, окруженный высокой, каменной стеной. Прогулки продолжались около часу, после чего снова подавался сигнал и дверь автоматически закрывалась. Если заключенный оставался на дворике и не хотел возвращаться в камеру, — его запирали там на двое суток без еды и воды. Все эти правила были изложены в подробнейшей инструкции «о внутрен-

* В журнале «Новый Мир» (октябрь 1969 г.) в статье Льва Гинзбурга «Потусторонние встречи», упоминается «старейший работник прокуратуры СССР» Г. И. Александров, возглавлявший на Нюрнбергском процессе следственную часть советской делегации. Думаю (вряд ли здесь может быть ошибка), что Александров, фигурирующий в моей статье, является тем Г. А. Александровым, о котором упоминает Л. Гинзбург. Очевидно, что бывшего помощника прокурора республики освободили в связи с пересмотром дела Н. В. Крыленко, который был реабилитирован посмертно.

Александров, переведенный в нашу тюрьму из Лефортова, рассказывал о применении в ней «модернистических» методов истязаний. Была там камера (может быть и не одна), размером немного больше человеческого роста, пол и стены которой были выложены огромными резиновыми, надутыми подушками. Человек, брошенный в эту камеру, должен был находиться в постоянном движении, падая и отталкиваясь от этих подушек. Это была одна из страшных, бескровных, «рафинированных» пыток. После двух или трех суток, заключенный впадал в невменяемое состояние: у него атрофировалась воля и он переставал понимать, что он делает. Некоторые заключенные, продержанные в этой камере более «положенного» срока, становились психически-ненормальными.

них распорядах», которая являлась единственным материалом для чтения: газет и книг не полагалось. Разрешалось писать мемуары: для этого давалась бумага и карандаши. Мемуары же, по окончании каждой тетради, отбирались и поступали в секретный архив НКВД.

По сравнению с тюрьмами и лагерями, камеры эти можно было считать комфортабельными. В них имелся умывальник и уборная. Строителями этой тюрьмы являлись политические заключенные, которым обещалась свобода по завершению работ. На деле это не выполнялось. Вместо обещанной свободы, их ждал конец, обычно практикуемый в НКВД: расстрел. Делалось это для сохранения государственной тайны.

— В свое время, — рассказывал Александров, — тогдашний глава НКВД — Ягода, как-то сказал мне, что разработка проекта этой тюрьмы принадлежала Сталину. Один, в тиши своего кабинета, обдумывал он детали этого передового, социалистического изолятора, рисовал схемы расположения камер, прогулочных дворики и т. д. И отдавая для исполнения свои разработки, будто бы проговорил: «Цари? Да разве они умели строить тюрьмы?»

— Сталин, — рассказывал заместитель прокурора республики, — хотел сохранить жизнь кое-кому из своих бывших соратников, приговоренных к смертной казни. Фактически эти «расстрелянные» или «казненные» должны были направляться в этот, вновь построенный, изолятор. — Александров говорил, что такая участь будто бы была уготована «для исправления и мирного доживания» — Карлу Радеку и Христиану Раковскому. Но насколько это верно, — говорил Александров, — не берусь судить.

Не могу сказать, что мы, будучи законопачены как селетки в бочку, потеряли интерес к жизни и ограничились кругозор свой мыслями о наших физических лишениях. Нет, наоборот, в течение целого дня у нас шли страстные дебаты, центральное место в которых занимал вопрос:

— Как дошли мы до жизни такой?

Обсуждалась история революционного движения, начиная с декабристов и кончая пролетарским царством Ленина и Сталина. Я не помню ни одного высказывания в пользу возврата к так называемым «ленинским нормам» и «великой ленинской правде». Нет, в наших условиях было немыслимо защищать эту

позицию, она была противопоказана арестантской психике. И какая была, собственно, разница, — говорили арестанты, — между Лениным и Сталиным? Разве только в количестве жертв? Дискуссию всегда резюмировал староста нашей одиночки, бывший политкомиссар дивизии, сражавшейся против адмирала Колчака. Слова его были лаконичны:

— Сейчас надо сознаться, что кровь пролитая на алтарь революции — была напрасна!

Мне кажется, что коммунисты — идейные и не идейные — которым посчастливилось пройти круги нашего «Дантова ада» стали, в какой-то мере, настоящими контрреволюционерами: в застенках НКВД были потушены последние искры, которые может быть еще тлели в сердцах некоторых «идейных товарищей». Конечно — так бывает всегда в жизни — были и исключения. Правда, ничтожные. «Твердокаменных» выдавала сталинская непреклонность.

— Осторожно! Вас слушают беспартийные!

Таких людей заключенные называли метким, блатным, совершенно нецензурным словом, — рука не поворачивается написать его, — однако, его можно передать фразой из того же блатного лексикона: «Оставьте меня, я девушка!»

Я не верю ни Евгении Гинсбург, написавшей «Крутой маршрут», ни Галине Серебряковой, с ее жуткими воспоминаниями. Не верю, что они остались, какими были прежде, правдоверными коммунистами. Нет, — это ложь, и, конечно, ложь во спасение!

Мне хочется, в связи с этим, привести пример, показывающий эволюцию идейного коммуниста, прошедшего через чистилище НКВД. История эта весьма поучительна.

Судьба столкнула меня, в тюрьме уже, с директором крупного завода, человеком пожилым, бывшим подпольщиком, идейным революционером-большевиком, членом партии с 1905 года. Наше знакомство совпало с самым тяжелым периодом его заключения, — со временем допросов. Вызывали его каждую ночь, возвращался он когда становилось светло. Приходил в камеру в ужасающем виде: с кровоподтеками на теле, глазами, заплывшими кровью, в разорванной рубашке, пропитанной мочей, издающей тошнотворный запах.

Первые две недели допросов провел он на коленях. Не

добровольно, конечно. Следовательно, молодой, прыщавый мальчишка, молча ходил вокруг него и плевал в лицо.

Затем наступило «мерзейшее время». Однажды, подойдя к коленопреклоненному старику, он начал расстегивать свои брюки: не трудно было догадаться, что намерен был делать этот негодяй. Директор вскочил, чтобы дать ему по физиономии, но не рассчитал, потерял равновесие и упал.

Следователь испугался, отскочил от стола, схватился за револьвер и закричал. Вбежали два конвоира.

— Свяжите эту сволочь! — прохрипел он.

Арестованного поставили на колени, скрутили назад руки, связав их с ногами. Затем конвоиры вышли. Теперь следователь почувствовал себя полным хозяином. Он подошел к стоявшему на коленях арестанту и... начал мочиться — на голову, в глаза, за воротник.

— Будешь, мерзавец, помнить, как оскорблять работников НКВД!

Гнусное постыдство продолжалось в течение целого месяца. Каждое утро возвращался директор завода грязный, мокрый, иногда с головой, вымазанной калом. Придя в камеру, он говорил с горькой иронией:

— Дожил я, наконец, до осуществления своих идеалов!

Перед войной его освободили. А через несколько месяцев выпустили и меня: война требовала пушечного мяса. Я встретился с ним в его новой, четырехкомнатной квартире. Он откупил бутылку водки, поздравил с освобождением. Были мы вдвоем и разговаривали по душам.

— Меня поставили на ту же работу, как будто ничего и не было... — он усмехнулся. — Подумай, как будто ничего и не произошло! — повторил он, растягивая слова. — Стал снова директором, вернули партийный билет, восстановили дореволюционный стаж. Вот посмотри! — Он вынул из бокового кармана новенький партбилет и швырнул его на стол. — Ну, и что же? Я стал снова коммунистом! Но знаешь, — он положил руку на сердце, — здесь не осталось уже ничего коммунистического!



Никогда не забуду мучительных, бесконечно-длинных и изнурительных ночей, проведенных в парилке.

Засыпалось тяжело, сон был мимолетный, наполненный кошмарами, просыпаясь от которых хотелось кричать и буйствовать. Дышать приходилось через рот, накаляя и без того, наполненный жаром, воздух. Раздражало постоянно-мокрое тело, с бегущим по нему, никогда не останавливающимся, потом. Трудно было простаивать на ногах, не облокотившись на кого-либо. Спросонья возникали драки, в результате которых бывали и увечья. Один раз краснодарский прокурор едва не задушил тщедушного профессора биологии, в другой раз — политкомиссар зверски избил одного из безобидных доходяг. Ночной угар проходил, однако, быстро: человек понимал обстановку, в которой находился, и никакие взаимные претензии никогда не предъявлялись.

Только мозг не мог успокоиться, в голове сверлили назойливые мысли: «Сколько же еще можно стоять? — и — когда же конец всему этому?»

Были и праздники на нашей улице. После тяжелой, потогонной ночи, мы всегда ждали утреннего «послабления». Как всегда, в шесть часов растворялась дверь и начиналась обычная процедура водопития.

Арестанты народ зоркий и наблюдательный. Бросилось нам в глаза, однажды, отсутствие дров у печки, всегда акуротно напиленных и сложенных.

— Почему не топите? Зима ведь еще не наступила? — пытался острить наш староста.

Вахтер, взглянув исподлобья, промолчал.

Мы торжествовали: будет хоть небольшая передышка. И правда. Некоторое время мы блаженствовали, температура явно спадала. Однако, дрова все же привезли. Вахтер был злопамятным человеком.

— Намерзлись? — иронически проговорил он, подбрасывая поленья в набитую печку. — Сейчас поддам жару!

Прошел первый месяц с тех пор как попал я в парилку. Вероятно, я мало отличался от своих сокамерников. Тело приняло скелетообразные очертания, лицо опухло, глаза заплыли, ноги превратились в раздутые тумбы, мало гармонизировавшие с исхудалой фигурой. Удивительно, что телесные изменения мало влияли на мозговую деятельность.

Были среди нас люди, мучительно переносившие издевательские условия нашей парилки. Особенно сильно страдал

арестант, бывший присяжный поверенный, окончивший С.-Петербургский университет. Целый день он стоял с закрытыми глазами, облокотившись на сырую стену и дышал широко раскрытым ртом. Пот катил с него градом. Вероятно, когда-то он был очень тучным. Сейчас кожа его обвисла.

Жил он в нереальном мире, погруженный в давно минувшие дни. Когда-то был он в кадетской партии, принимал участие в февральской революции. После октябрьского переворота пришлось ему покинуть Петроград и скитаться по необъятным просторам взбаламученной отчизны. Был он человеком глубоко верующим, каждое утро и вечер молился, осеняя себя крестным знаменем. Во время молитвы в камере стояла тишина. Хотя большинство арестантов были людьми неверующими, молитва уважалась и можно было думать, судя по опущенным головам, что все же, все они были неведомыми путями, вовлечены в ее орбиту.

Бывший присяжный поверенный умирал: весь облик его говорил о неминуемом конце. Лицо его стало пепельно-зеленым, глаза закатывались, тело передергивалось судорогой.

Было, вероятно, около часу ночи, когда кровь хлынула у него изо рта, забрызгав стоявших вокруг него арестантов. Тело вытянулось и голова начала выстукивать барабанную дробь по сырой стенке.

На наш стук в дверь, прибежал вахтер.

— Человек умирает. Вызовите врача, — сказал совсем тихо староста.

Вахтер посмотрел на забрызганных кровью людей, на умиравшего арестанта и что-то дрогнуло в его лице.

— Подождите. Попробую вызвать. Не шуметь только!

Окошечко захлопнулось. В полном молчании простояли мы около получаса. Наконец, застучал засов и дверь отворилась.

Перед нами стоял доктор, одетый в форму НКВД. Это был еще совсем молодой человек, недавно, вероятно, выпущенный из университета. В руках держал он небольшой чемоданчик с лекарствами и инструментами.

— Вынесите больного в коридор! — приказал он.

Мы бережно положили исхудалого, залитого кровью арестанта на каменный пол, вблизи открытого окна, выходившего

в тюремный садик. Ночной ветер вносил освежающую прохладу в коридор, где сгрудились мы около двери нашей камеры.

Наклонившись над больным, доктор проверил пульс, обмыл кровь с лица и тела. Дал что-то понюхать.

Арестант лежал без признаков жизни.

— Доктор, — обратился к нему староста, — больного нужно перевести в госпиталь: он не доживет до утра.

Доктор холодно посмотрел на него и ничего не ответил.

Примитивная медицина не помогала. Жизнь, однако, чревата неожиданностями. Больной, распластанный по полу, вздрогнул и сделав глубокий вздох, открыл мутные, потухающие глаза.

Доктор приложил руку к сердцу больного и — кто мог подумать? — произнес, отчеканивая каждое слово:

— Вы подписали протокол?

Это был первый вопрос доктора, призванного помочь умиравшему человеку! Мы застыли от неожиданности.

Умиравший задрожал.

— Нет, — сказал он, приподнимаясь, — и клянусь Богом, никогда не подпишу ложь, составленную следователем! — он откинулся, закрыв глаза.

— Я бессилен, — в смущении проговорил доктор. — Не могу, не имею права взять его в больницу.

Арестанты глухо зароптали. Раздались возмущенные голоса:

— Как не стыдно вам, доктор!

— Ведь это убийство, уголовное дело!

Старый профессор биологии закричал в гнев:

— Позор! Вы поставили грязное, несмыслаемое пятно на всей вашей корпорации! Да будет стыдно отныне носить у нас докторское звание!

Доктор растерялся. Видно было, что обвинение задело его за живое.

— Да поймите же, — неуверенно оправдывался он, — я не имею права нарушать инструкции НКВД. Я не могу отправлять в больницу арестованных, не подписавших протокола!

Смущение его, однако, быстро проходило. Он пришел в себя и проговорил уже холодно, начальственным тоном:

— Заберите арестованного в камеру!

Арестанты не двинулись. Пришлось вызвать вахтеров, ко-

торые внесли больного, бывшего в бессознательном состоянии, и поставили его в угол: габарит камеры не позволял положить его на пол.

Вскоре кровь хлынула у него снова изо рта, глаза закатились, тело начало извиваться в судорогах. Затем оно вытянулось, стало неестественно большим и застыло: мы поняли, что все было кончено.

Вахтер, посланный к начальству за разрешением на вынос тела, вскоре вернулся.

— Мертвецкая сейчас закрыта, — сказал он, запыхавшись, — откроется в шесть утра. Придется покойнику постоять с вами часика три, не больше.

Мы знали, что всякие протесты, особенно в ночное время, были бесполезны.

В камере было нестерпимо жарко. Мы боялись, что процесс разложения начнется немедленно. Покойнику закрыли глаза. Надо было подвязать челюсть, начинавшую отваливаться. Кто-то пожертвовал для этого кусок своих трусов — грязных, пропитанных потом. Лицо покойника приняло зеленовато-желтоватый оттенок...

В шесть утра двое рабочих вынесли тело бывшего присяжного поверенного, отказавшегося поставить свою подпись под ложными показаниями. Ценой этому была — жизнь.



Через три дня из нашей камеры взяли десять человек. И через день, рано утром, еще восемь. Остался один я.

Камера сразу стала просторной. Стены ее обнажили свое безобразие: слева виднелись следы от когда-то вырванной койки, на противоположной стене оставались еще яркие, начинавшие бледнеть пятна крови, пролитой здесь совсем недавно. На сводчатом потолке досыхали последние остатки человеческого пота, падавшие редкими каплями на грязный, каменный пол. В углу ощерилась открытой пастью большая дыра, ведущая в логово крыс.

На оголившихся стенах обнаружилось много новых, ранее невидимых, надписей. Одна из них была выцарапана поклонником Есенина: — «В этой жизни умирать не ново, / Но и жить, конечно, не новей».

Еще до наступления вечера вахтер принес мне одежду.

— Собирайся, — сказал он. — Перейдешь в другой глагол!

Я быстро оделся. Голова раскалывалась от мыслей, пронесившихся вереницей: — Сколько же я простоял здесь? — и сейчас же ответил: — Почти два месяца! Точнее — 53 дня и 53 ночи!

Вахтер вошел, оборвав ход моих мыслей. На дворе грохотала гроза, проливной дождь барабанил по крышам тюрьмы, потоки воды заливали открытые окна коридора.

В последний раз бросил я прощальный взгляд на нашу «обитель ужаса», на нашу парилку. «Нет, второй раз не выстоишь здесь», пронеслось в голове.

Сделав несколько шагов по коридору, я почувствовал, как темные круги замелькали перед глазами. Я прислонился к стене, чтобы не упасть. Это была естественная реакция: я был, будто, пьян, наглотавшись свежего воздуха.

Николай Туров

ПИСЬМА МАКСИМА ГОРЬКОГО К И. А. ДОБРОВЕЙНУ

Исай Александрович Добровен родился в Нижнем Новгороде в 1894 году. Пяти лет он начал выступать в концертах, как пианист. Девяти он поступил в Московскую консерваторию, где занимался у Танеева и Игумнова и окончил консерваторию с золотой медалью по классу композиции и рояля. Затем он совершенствовался в Венской Академии Музыки по классу Леопольда Годовского.

Вернувшись в Москву И. А. был деятельным сотрудником Сергея Кусевицкого, в 1919 году был приглашен в состав дирижеров Большого Театра и дирижировал в 1920 году «Борисом Годуновым» с участием Шаляпина. В 1922 году И. А. был приглашен в Государственную Оперу в Дрезден, где поставил (и дирижировал) с большим успехом «Бориса Годунова», «Хованщину», «Пиковую Даму». В 1924 году он выступил в симфоническом концерте с Берлинским филармоническим оркестром. Исполнение в этом концерте Добровеном Патетической Симфонии Чайковского вызвало единодушные одобрительные отзывы прессы и с тех пор И. А. концертировал во многих городах Германии, Франции, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Англии и Америки. После дирижирования в Сан Франциско известным симфоническим оркестром в течение пяти лет, Добровен вернулся в Европу. В 1936-1939 гг. он выступал в симфонических концертах в Будапеште, а также дирижировал и ставил оперы в Будапештском Государственном Театре. В 1939 г. он приехал в Париж и остановился у нас в имении под Парижем. Мы поселили его в небольшом павильоне в глубине парка. Я предоставил в его распоряжение два концертных рояля. Ему особенно понравился Бехштейн, у которого был какой-то исключительно мягкий тон.

И. А. был прекрасный музыкант, музыкант-поэт. Однажды он играл у нас в доме Скрябина, Римского-Корсакова, Рахманинова, свои сочинения. Играл он так, что всем присутствующим показалось, что никогда мы такой игры не слышали.

Эти письма Максима Горького к известному пианисту и композитору И. А. Добровейн печатаются с любезного разрешения его вдовы М. А. Добровейн. Они переданы нам А. Р. Гурвичем. Написаны эти письма М. Горьким в 20-х годах из Германии и Италии. РЕД.

В середине августа Добровейн должен был уехать от нас в Швейцарию к семье. Вскоре началась война и мы расстались на долгие годы. И вот 30 лет спустя в двух книгах, появившихся — одна в Москве, другая в Холливуде — я прочел описание выступлений Добровена в МХТ, произведших такое же потрясающее впечатление, как тогда у нас в доме.

Композитор и дирижер оркестра МХТ Израилевский в своей книге «Музыка в спектаклях МХТ» пишет: — «Добровен с подъемом и большим вкусом исполняет несколько вещей — своих, Скрябина, Шопена, Рахманинова... Экспансивные темпераменты актеров заражены и очарованы музыкой. У одного на глазах слезы... Лица всех сияют. Восторг, наконец, разрешается в бурных аплодисментах... А в книге «Вокруг искусства» Бертенсон пишет: «Одним из частых исполнителей был пианист и дирижер Добровен. Помню, как после его блестящего исполнения «Светлого праздника» Римского-Корсакова Станиславский обратился к присутствующим и сказал: «А ну-ка, попробуйте после такой музыки выступить с чтением, каким бедным покажется слово!» И, действительно, никто не решился ничего сделать, кроме как настойчиво требовать от Добровена еще музыки».

Эти выступления в МХТ имели место в 1918 году. Во время последней войны И. А. дирижировал в Стокгольмской Королевской Опере, а после войны выступал в Музыкальных фестивалях в Люцерне, Цюрихе, Венеции, Эдинбурге, а также поставил в Миланской «Скала» оперу Мусоргского «Хованщина» и «Сказание о Граде Китеже» Римского-Корсакова.

Мое последнее свидание с Добровеном состоялось во время записи им для фирмы «Пате» в Париже оперы Мусоргского «Борис Годунов». И. А. был уже очень болен, но неутомимо добивался всех желательных ему деталей и от солистов, и от хористов, и от оркестра и тем достиг того, что именно эта запись «Бориса Годунова» считается самой лучшей.

Через год, в декабре 1953 г., Исай Александрович скончался в Осло. В прошлом году вдова Добровена, Мария Альфредовна, сообщила мне, что у нее сохранились письма Максима Горького к Добровену. По моей просьбе, М. А. предоставила эти письма «Новому Журналу» для опубликования.

А. Р. Гурвич

25.8.22.

Спасибо, дорогой И. А., за Ваше милое письмо!

Что же это Вы, — у Жермон деньги взяли, а у меня отказались взять? Дружище, это меня не сердит, но — поверьте! — мне было бы приятно оказаться полезным для Вас.

Р. Роллану напишу и тотчас же извещу Вас об этом, чтоб Вы, вслед за письмом моим, послали ему Ваши сочинения. Здесь — холодно, дождь.

Желаю Вам душевного покоя и много работать, а что работать Вы будете хорошо, это — разумеется.

Привет! Поклон супруге.

А. Пешков.

Дорогой мой Исай Александрович!

Послал письмо о Вас Р. Роллану, теперь Вы можете выслать ему Ваши сочинения. Жермэн пишет мне, что он сочтет приятным долгом своим оказать Вам все услуги, на какие он способен.

Приехала Екат. Павловна и еще одна дама — очень хороший человек. Вот, если б Вы приехали сюда, пока они здесь! Был бы страшно рад и благодарен. Останутся они здесь дней восемь.

Всего доброго!

М. Горький.

30.8.22.

Дорогой Добровейн!

Мне очень грустно, что Вы уехали, и вот захотелось послать вслед Вам несколько слов искренней благодарности за те вечера, которые Вы наполнили Вашей прекрасной музыкой, — я никогда не забуду этих вечеров.

Ваша музыка — и артистически совершенное исполнение ее Вами — действует на меня с огромной силой, магически освежая душу. Это — настоящая, глубоко взятая Вами русская музыка, но Вы умеете влагать в ее несколько дикий лиризм, изящество и грацию, которые выгодно подчеркивая ее силу, придают ей общечеловеческое универсальное значение. Когда я слушаю Вас, — я слышу жалобы, стоны и роковые вопросы мировой души, ее неукротимый бунт, ее печаль и драму. Вы — большой поэт и, если Вам нужна мировая слава, — я уверен, что она ждет Вас.

Вам необходимо работать, работать самозабвенно, не думая ни о чем, кроме музыки, относясь к Вашему таланту так страстно и нежно, как к любимой женщине, которой вы хотели бы отдать всю вашу душу без остатка.

Профан в музыке, я все-таки человек кое-что испытавший, я много чувствовал, искусство не чуждо мне, и для меня его

область — область самых глубоких и мудрых наслаждений. Я не мало слышал музыки, но редко испытывал с такой поглощающей меня силой ощущение красоты и радости, как испытываю это, слушая Вас.

Мой дорогой друг, — всей душою желаю Вам бодрости и силы для того, чтоб Вы могли преодолеть все то мелкое и ничтожное, что мешает художнику посвятить себя целиком священному делу служения искусству.

Будьте здоровы и не сомневайтесь в моей искренней любви к Вам, в моем удивлении пред Вами — художником.

Крепко жму руку.

М. Горький.

3.9.22. Герингсдорф.

Дорогой Исай Александрович!

Не отвечал так долго, потому что перебирался из Герингсдорфа в новое место под Берлином: Фюрстенвальде, Сааров; здесь очень тихо и хорошо.

Р. Роллан шепчет: — “Что же касается И. Добровейна, будет не трудно, чтоб его прослушали в Париже”. — Послали ли Вы Роллану Ваши вещи? Его адрес: Швейцария. Виланёв. Вод. Вилла Ольга.

От А. Жермэн получил одно письмо, но это еще не ответ на мое, в котором я спрашивал о Вас. От Берлина до моего обиталища 1½ часа езды, но кажется, что это очень далеко, так пустынно и тихо здесь. Сравнительно дешево, кормят хорошо. 24 поезда до Фюрстенвальде каждый день, а от станции до санатории Сааров — 40 минут пешком или 13 на извозчике. Если будете в Берлине — приезжайте, да?

А пока — до свидания! Привет.

А. Пешков.

1.10.22.

Дорогой мой Исай Александрович!

Думаю, что попаду к Вам не раньше праздников Декабрских, ибо увлечен работой; Вы знаете, что это такое и как крепко держит на месте. Вчера получил письмо от Андре Жермэн, он спрашивает Ваш адрес, сегодня я ему ответил. От Роллана не имею известий, выяснилась у Вас эта история с рукописью?

Кланяюсь Вашим и желаю Вам вдохновения.

А. Пешков.

Сааров, 29.11.22.

Дорогой мой Исай Александрович,

Давно я ждал весточки от Вас и очень был встревожен слухом о Вашем нездоровье, об этом говорили в Берлине. Но кажется, что не верно? Рад.

Живу в Кибурге под Фрейбург'ом, красивое место, тихо, удобно работать. От Вас сюда, кажется, два часа езды? Не заглянете ли? Это очень обрадовало бы меня. И всех нас. Об успехах Ваших слышал. Это — хорошо, это Вам нужно.

Напишите. Я не могу писать, уже час ночи, я целый день работал, а теперь меня донимает отчаяннейший кашель.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

Дорогой мой Исай Александрович,

Как хорошо было бы, если б Вы могли приехать сейчас, т. е. вот в эти дни, до Августа! Дело в том, что у меня живет Федор Рамша, а рядом со мною Зоя Лодий. Подумайте! Рамше было бы полезно посмотреть на Вас и Вас послушать. И, в общем, все это было бы изумительно хорошо.

Но если Вас это не устраивает, приезжайте когда Вам удобно и будьте уверены, что Вас здесь встретят сердечно, устроят удобно.

Крепко жму руку. Все мои — приветствуют.

А. Пешков.

6.VII.25, Сорренто.

14.12.25.

Писем Ваших я не получил ни одного, чему не удивляюсь, дорогой мой, ибо тут был период, когда письма исчезали в бес-предельности вселенной или в каком-то другом месте.

Вам послал два письма, одно, кажется, из Парижа, было отправлено в Рим по адресу, указанному Вами на отель, другое — не помню откуда, было послано мною в Дрезден с моей припиской.

Не писал же Вам я потому, что вскоре после В. отъезда заболел, затем надо было собираться переезжать в Неаполь, а переехав — схватить бронхит, очень хороший, я от него еще не оправился и по сей день. Так, в этих маленьких удовольствиях, время-то и прошло.

О весеннем свидании с Вами я пока не могу уже говорить столь определенно, как говорил в Сорренто, ибо сам плохо вижу,

что будет весною. Герцогини ремонтируют дом, но это идет так медленно, что не представляю, когда они кончат. Здесь мы сняли квартиру до Апреля. Затем: брат герцогини, фашист, назначен комиссаром Сорренто, сиречь — губернатором, человек он, как говорят, фанатический, и я не знаю, насколько удобно будет мне жить в доме его сестер.

Но все сие разрешится с приездом Марии Иг. в Январе, она дела эти знает лучше меня и, расспросив ее, я Вам напишу определенно, как и что будет.

Думаю, что устроимся, потому что очень хочу этого, видеть и слышать Вас, — более чем приятно, — необходимо. Новостей — никаких. Внука растет, как это ей и предназначено. “Артамоновы” еще не вышли, причина сего мне неизвестна.

Спасибо за фотографии! И — просьба: не можете ли Вы увеличить вдвое снимок за столом? Если не можете, — пришлите негатив, я дам его фотографу. Хорошо?

Письмо Ваше — не весело. Из Парижа пишут мне, что и там музыка не в почете, если она не джаз-банд, не “соло на ксилофоне” или на пиле. А в Нью-Йорке знаменит маэстро, который пляшет чечетку в ботинках, которые стреляют, он пляшет, а ботинки — пум, пум! Замечательно. И — удивительно! — такая простая штука, а вот не пришла в головы Моцарта или Бетховена.

В Риме играют нечто Гречанинова. Без успеха. Рассказывал мне это очень музыкальный русский поп, даже архимандрит. Вот, — с архимандритами беседую. Охо-хо, что скажут в России? Плохо скажут.

Ну, будьте здоровы, и Вы, и жена, и дети. Жму руку.

А. Пешков.

Адрес: Неаполь. Позилиппо. Вилла Галлотти.

14-3-26.

Дорогой И. А., установлено, что мы переезжаем в Сорренто между 20-25. Вам с супругой придется жить в “Минерве”, а пианино будет поставлено внизу, в средней комнате, где Вам будет удобно заниматься. Внизу живет Иван Николаевич, который днем дома не сидит. Так — вот как, значит!

Вам телеграфировать, когда все будет устроено?
До свидания!

А. Пешков.

20-2-26.

Посылаю Вам, милый Исай Александрович, “Дело Артамоновых”. Не отвечал на письмо Ваше, потому что ждал книг из Берлина, получил только третьего дня.

Живу — как всегда: работаю, кашляю. Читал и слышал о Ваших успехах. Недавно был в “Сан-Карло”, слушал “Лонгрину”. Можно бы и не слушать. Скоро пойду на “Бориса”, ставит его какой-то русский. Ненадежно, говорят, ставит, а все же послушаем, посмотрим.

Все здоровы. Внука спокойно растет. Жить в Неаполе уже надоело, а ремонт в Сорренто движется медленно.

Жму руку. Поклон супруге. Прочитав “Дело”, напишите, как это Вам понравится. Я — огорчен ибо — скучно.

Привет.

А. Пешков.

Неаполь. Позилиппо.

Дорогой мой Исай Александрович, получил Ваше письмо и, пользуясь свободной минутой, спешу откликнуться.

Спасибо за лестный отзыв об “Артамоновых”. А я все еще сижу в Неаполе и — чорт знает, когда переберусь в Сорренто. Здесь уже стало неудобно и много теряешь времени без пользы. Была тут итальянская труппа русской артистки Татьяны Павловой, — надо ходить в театр. Ходил. Плохо. Поставили в “Сан Карло” “Бориса”, — пошел. Грустно. Борис — Залевский — под Шаляпина, дирижер — Коутс. Пимен пел хорошо. Был здесь Борис Григорьев, отлично написал мой портрет, а с Тимоши иконописную “Мадонну” — еще лучше. Талантлив — на троих.

Видел сицилийского актера Муско — вот изумительный человек! Играет пошленькие фарсы, которые пишутся по его заказу, но как играет! Это надо видеть. До слез радости хорошо.

Ну, что ж еще? Работаю бешено. Не совсем здоров. Все домашние благополучны. Внука растет очень милая, спокойная, веселая.

Б. Григорьев хочет, на лето приехать в Сорренто. А Вы — не передумали? Приезжайте! Федин придет, Бабель.

Ну, всего доброго, дорогой мой.

А. Пешков.

3.4.26.

Искренно сожалею о том, что Вы не приехали, Исай Алек-

сандрович. Последнее мое письмо, — в коем я извещал Вас, что мы переезжаем в Сорренто 10-го Мая, и это уже окончательно, — видимо, не получено Вами? Ответа на него я не имел.

А недавно до меня дошли слухи, что будто бы Вы, в Берлине, имели некоторое основание думать, что Ваш приезд в Сорренто будет материально тяжел для меня, что некая почтенная дама много рассуждала о моем безденежье и т. д. Если что-либо подобное Вы слышали — это грустно. Грустно лишь потому, конечно, что помешало Вам приехать. Только поэтому. Дама же не имела ни права, ни причин говорить о моих делах в тоне, который мог смутить Вас. Так-то.

Значит — в этом году не увидимся? Очень жаль. А здесь так хорошо стало. Хозяева устроили теннис, развели множество цветов. Живем — одни, гостей — нет. Все здорово. Пианино есть и поставлено так, что Вы могли бы без помех работать. М. б. еще заглянете?

Жму руку.

А. Пешков.

1-9-26.

Ответа на мое письмо о “дамах” я не получил, дорогой Исай Александрович, и подумал: ну, он, видимо, обижен. Рад узнать, что это не так. А, вообще, люди удивительно легко обижаются друг на друга, и это настраивает меня очень “трепетно”.

Живу я как всегда, работаю, нигде не бываю. Впрочем, недавно был в Неаполе, смотрел труппу негров. Весьма прискорбное впечатление. И негров — жалко, а еще более — европейцев, белых и страшно культурных людей, которые восхищаются пошленькими фокстротами, саркастически — как мне кажется — искаженными “черным народом”. Вообще — не понравилось. Но одна очень циничная негритянка замечательно изображала свои ощущения в момент полового акта и вот в этом было, очевидно, что-то расовое. Очень подавляющее, но способное разбудить чувственность европейца, только очень извращенного или очень “животного”.

Сонатy Вашу получил, спасибо! Ее, здесь, пробовали играть и — не сыграли. Об успехах Ваших читал, сердечно поздравляю! Мои — все в порядке, украшают елку. Внука спит. Забавная. Я, вот, пишу седьмое письмо сегодня, утром — писал роман, днем корректуру пьесы читал. Вот и все.

Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю еще бóльших успехов, желаю вдохновенной работы Вам. Крепко жму руку.

А. Пешков.

24-12-26, Сорренто.

Было бы хорошо, если б Вы приехали, дорогой Исай Александрович. Вероятно, встретите здесь интересных людей; в конце Июля — в Августе приедет один археолог и поэт, наверное будет О. Фюрш и вообще всякий хороший народ. Приезжайте? Очень обрадуюте меня.

Всего доброго.

А. Пешков.

21-7-27, Сорренто.

В Россию я не уехал, не верьте. Хотя, не скрою, побывать там хочется. Интересно. И — сколько талантливых людей.

А. П.

Дорогой Исай Александрович, — живет у меня — до Сентября — поэт, он же профессор археологии, — Борис Михайлович Зубакин; он предлагает написать для Вас либретто на тему “Есфирь”.

Извещая Вас об этом, добавлю, что на мой взгляд, опера на эту тему была бы весьма своевременна, а что Вы напишете хорошую музыку, в том я, разумеется, не сомневаюсь.

Всего доброго.

А. Пешков.

5-8-27.

ПИСЬМА С. В. РАХМАНИНОВА*

Excelsior Hotel de la Ville, Florence.

Дорогой Евгений Иванович и дорогая Елена Константиновна. Срок нашего пребывания во Флоренции заканчивается через четыре часа. Мы уезжаем сегодня в Цюрих на три-четыре дня и затем, без остановки, в Дрезден, где нас с нетерпением ждут наши и, где нам удалось получить нашу старую, великолепную виллу.

Здесь, во Флоренции, мы прожили 3½ недели. Я немного поправился и пополнел как будто. Своей жизнью здесь был в общем очень доволен. Развлекал меня также Метнер¹ с женой, которые приехали сюда еще до нашего приезда, а теперь уезжают с нами вместе в Цюрих.

Слышал его много и часто играющим и не могу Вам сказать какое искреннее удовольствие и удовлетворение получал и от его сочинений и его игры. Видался еще с некоторыми русскими здесь, из здешней колонии. Нас обнаружили, когда мы ходили в русскую церковь на вынос плащаницы и к заутрене. И эти русские больше все титулованные, оказались милыми, приветливыми и любезными. Да и взгляды наши сошлись. Те же черносотенцы! Был кой у кого несколько раз и к себе приглашал столько же. Теперь чувствую, что туризма с меня довольно и недурно бы куда-нибудь, попрочнее, присесть! Поэтому о Дрездене и жизни там думаю с удовольствием! Нахожу полное сочувствие у своих дочерей и меньше у жены. Несколько слов о них. Им всем Флоренция тоже очень понравилась. Я рад, что девочки ходили также по галереям, а не только по магазинам ювелирных вещей, которые здесь действительно выглядят заманчиво. Наташа последнюю неделю немного расклеилась. Принуждена была все время лежать, да и сейчас лежит (встанет только к отъезду). Тоже перебегала! Ве-

Эти 14 писем С. В. Рахманинова переданы нам С. А. Сатиной. Они написаны Евг. Ив. Сомову, близкому другу и секретарю С. В. Примечания сделаны С. А. Сатиной. РЕД.

лит Вам сказать, что никак не ожидала, что придется с Вами так скоро раззнакомиться! Это по поводу Вашего молчания. Я же с признательностью отмечаю получку от Вас два раза чужих писем и один раз нот (ради Бога не присылайте их больше!) с Вашими приписками. И я не ропщу на Вас! Я отлично знаю, как все Ваше время уходит и отнимается русскими, и лучше помогать им, бедным, чем развлекать и утешать нас, счастливых. Кланяйтесь им от меня! Я и не спрашиваю про них. Чувствую, да и кое-что слышал, что дела плохи. Хотел бы только узнать про Вас! Про Вас лично и Ваши дела. На это, если возможно, ответьте. Прибавьте несколько слов и про здоровье и самочувствие Ваших дам.

Примите все мой душевный привет и лучшие пожелания от чистого сердца.

А просьба все-таки будет. Милый, будьте так добры, купите дамский велосипед и передайте от меня моей Соничке. Скажите ей, что это запоздалый подарок к ее рождению. Наш адрес (думаю по 1-е августа): Emser Allee. 5. Dresden-Blasewitz.

Ваш С. Р., 12 мая 1924.

¹ Композитор и пианист.

“Les Pelouses”. Villers-sur-Mer, Calvados.

Дорогая Елена Константиновна и Евгений Иванович,

Вот уже пять дней, как живем здесь и всем нам необычайно нравится и местность, и воздух, и вид кругом. Очень симпатичен и комфортабелен также самый дом. Имеем четыре комнаты для гостей. Ждем Фоли¹ (передайте ему это!), Сомика,² Жюля Ко-нюса,³ может быть кое-кого из Сатиных⁴ и т. д. Здесь имеется теннис для моциона и, на расстоянии одного километра, море для купания. Хотя мне кажется, что это море будет служить больше как декорация, ибо так холодно, вернее свежо здесь, что “о прыгании и речи быть не может”. Дамы мои купили потрясающие костюмы для купанья, но что-то вздыхают... Видимо, и у них тоже надежда маленькая их продемонстрировать. Я же и климатом доволен! На старости лет жара переносится тяжелее! Веду образцовый образ жизни: делаю гимнастику, много гуляю, во время ложусь спать, пью молоко и курю “по часам”, т. е. мало, или значительно меньше, чем курил раньше. Хватит ли у меня ума продолжать эту жизнь и дальше — не берусь сказать

определенно. Но постараюсь... Результаты все же есть. Лучше сплю, реже голова болит и ем больше.

В километре от нас живет Николай Карлович⁵ с женой. Они мило дожидались, пока мы что-нибудь найдем, чтоб и себеискать место там же. Видаем их каждый день, что меня очень радует и развлекает. Из неприятных вопросов на очереди это поиски квартиры девочкам на зиму. Завтра Наташа и Танюша, наладивши жизнь здесь, уезжают в Париж на неопределенное количество дней. Вопрос этот в Париже острый и все агентства затрудняются Вам что-либо указать. Жизнь определенно вздорожала и за 20.000 фр. квартир сейчас приличных нет. Их много от 60.000 фр. Я сделал непростительную глупость, не купив три года назад дом, что было гораздо дешевле тогда и что освобождало от налогов на 15 лет. Теперь этот закон, как временный, уничтожен; а за дома, стоящие три года назад около одного миллиона франков теперь спрашивают 2 или 2½. Плюс налоги. Пересчитать всех глупостей, которые я на своем веку сделал, нет никакой возможности.

Милый Евгений Иванович, приступаю к поручениям.

1. Вышлите мне на адрес Пайчадзе одну тысячу папирос.

2. Найдите в моем шкапу Эроика Листа и также вышлите. Это маленькая вещь в шесть страниц, которую здесь достать не могу.

3. Вместе с Эроика вышлите и том прелюдий и рондо Шопена. Выслать это тоже лучше на Пайчадзе.⁶

4. Предупредите Фишера⁷ по телефону, что ему послано два экземпляра "русских песен" для Вашингтона, т. е. для получения копирайт на это произведение.

5. Всем кланяйтесь, обнимите и выразите my love.

Получили ли Вы мое второе письмо?

Ваш С. Р., 17 июня 1928.

¹ Управляющий концертами Рахманинова в Америке.

² К. А. Сомов, художник.

³ Скрипач, товарищ Рахманинова по консерватории.

⁴ Родители и брат Н. А. Рахманиновой.

⁵ Н. К. Метнер.

⁶ Управляющий Музык. издат. Кусевицкого.

⁷ Музык. издат. в Америке.

Villa Senar, Hertenstein b/Luzern.

Дорогие Елена Константиновна и Евгений Иванович,

Я долго Вам не писал и чувствую себя виноватым. Простите, пожалуйста, и не сердитесь. Я немного запис, как говорит Иван Иванович,¹ и писательское вдохновение, которым я и вообще не отличаюсь — отсутствовало. Главной радостью нашей здесь является присутствие Софиньки,² которая живет у нас вот уже скоро четыре месяца, и которую мать ее, чтобы нас побаловать, оставляет еще с нами до 1-го сентября. Сама Ирина³ прожила с нами до 8 августа с перерывом в три недели, когда мы усадили ее в санаторий в ста километрах от нас, и куда мы ездили два воскресенья. Побаловала нас и Танюша,⁴ приезжавшая на две недели в июле в отсутствие Ирины. Теперь обе живут на даче под Парижем и мы с ними разговариваем по телефону по понедельникам и четвергам. Только что кончили очередной разговор, во время которого обе девочки мне сказали, что жить без нас они не могут и просят меня продавать Сенар и переезжать во Францию. Свои мысли по этому поводу изложу как-нибудь в другой раз. Сейчас у детей гостят бабушка⁵ и Фоли. Наташа поедет к ним опять на несколько дней в конце августа, а я останусь на попечении Софиньки. Хозяйские дела в Сенаре не переводятся, скорее усиливаются. Каждый день нас будят теперь рабочие в 6½ утра. Стоит это все много денег, а удовольствия приносит немного. Меньше, чем раньше. И надоело мне все это изрядно, хотя я и заставляю себя проявлять интерес. Числа 15 сентября мы переезжаем с Наташей в Париж и 4 октября с “Европой” из Парижа выбываем в Америку.

Благодарю Вас за письма и устройство всяких дел. С приветом и с пожеланиями всего лучшего.

Ваш С. Р., 15 августа 1932.

¹ И. И. Остромысленский, врач и химик.

² Внучка Рахманиновых.

³ Старшая дочь Рахманиновых.

⁴ Младшая дочь Рахманиновых.

⁵ В. А. Сатина, мать Н. А. Рахманиновой.

ПИСЬМО С. В. РАХМАНИНОВА Е. К. СОМОВОЙ
30 НОЯБРЯ 1933 Г.*Auditorium Hotel, Chicago.*

Дорогая Елена Константиновна,

Получили Ваше письмо, за которое Наташа и я очень Вас благодарим. За многими делами и усталостью, я может быть и не ответил бы Вам, если бы в Вашем письме не встретилась одна “подозрительная” фраза, а именно: “что бы Вы ни сделали, как бы Вы ко мне ни относились, Вы всегда будете для меня” и т. д. Выходит так, что я что-то неладное сделал в прошлом, — не то хочу сделать какую-нибудь пакость в будущем, — или и то и другое вместе. Вот, против этой фразы и счел своим долгом энергично протестовать. Ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем я не собирался и не собираюсь к Вам иначе относиться, чем самым сердечным и лучшим образом, а посему, Милостивая Государыня, я и требую, чтобы Ваши слова были бы Вами взяты обратно.

Кстати, толкните в бок Женю, чтобы он не куксился!

С приветом и поклоном всем,

*Ваш С. Р., 30 ноября 1933.**“Piccadilly Hotel”, Piccadilly and Regent Street,
London, W. 1.*

Милые Сомовы, пишу наспех обещанное письмо. Концерт в Лондоше прошел очень хорошо. Много народу (почти полно!) и играл удачно. Что касается приема, то меня кажется нигде не принимают так помпезно как здесь. Перед концертом чувствовал себя не важно и выходил на эстраду довольно “кисло”. После же встречи размяк, тронулся и сразу решил играть хорошо.

Рецензии также хорошие (Ньюман¹ больше на recitals и не ходит), но программой все недовольны. Слишком популярная. Одну рецензию, наиболее важную и яркую, пришлю Вам. Почитайте, как нас разделявают! Переезд через океан был идеальный. Только одну ночь покачало. Очень хорошая еда и “сервис”. Почти решил ехать обратно на Манхаттен. Еще радость: на третий день приехала к нам Бульчик.² А с Танюшей говорим ежедневно по телефону. В провинции было пока только два концерта, но народу мало. Осталось два концерта, после чего ре-

шили “лететь” в Париж, не без влияния моих двух менеджеров, и Фоли и Иббса.³ Говорю про аэроплан.

Моя Наташечка не прекословит и причина та же, что и у меня: если ехать поездом, то приезжаем поздно и не застанем внуков бодрствующими. А так выедем в 12 часов и будем в 2 ч. в Париже. Полдня в нашем распоряжении. Ваши два письма получил. Спасибо! Шлю Вам всем привет и поклон. Передайте то же самое всем нас провожавшим.

С. Рахманинов, 14 марта 1934.

¹ Музыкальный критик в Лондоне.

² Старшая дочь Рахманиновых.

³ Управляющий концертами Рахманинова в Англии.

Дорогие Сомовы,

Третьего дня, без четверти семь утра, мы выехали с Наташей из Парижа. Было пасмурно и погода не предвещала ничего хорошего. И действительно, как только выехали из черты Парижа, так начался дождик и шел, не переставая, до Базеля. В Базеле, к моему великому торжеству, остановился — что и дало мне повод твердить Наташе, что если есть где хорошая погода, то только в Швейцарии.

Из-за скользкой дороги во Франции, проба Линочки не могла состояться. В Швейцарии же скорый ход немислим из-за многих поворотов. Въехали в ворота Сенара в восьмом часу вечера. Было уже темно. Но все же я один пошел смотреть все места кругом большого дома, в самый дом не заходя. Несмотря даже на темноту, впечатление импозантное. После этого осмотра отправился по всему саду смотреть на все деревья. Все еще здесь голое. На деревьях маленькие почки. Приехали, значит, как раз в самое мной так любимое время. Каждый день буду наблюдать за деревьями и цветами как они распускаются. Легли рано спать. Наташа меня умоляла ее не будить до половины девятого. Я обещал! Но про себя решил, что в восемь часов у меня начнутся приступы кашля. Проснулся в половине седьмого и терпеливо ждал. Без десяти минут восемь раздался радостный для меня сонный голос Наташи: “можешь вставать”. Я не заставил себя просить и сразу поднялся. Приподнял наши тяжелые жалюзи и увидел безоблачное голубое небо и сверкающее солнце. Тут и Наташу поднял. Пока одевался глядел из всех

окон по всем направлениям на сад, на дом. Выпили кофею и отправились с Наташей, и пришедшим Росси, вниз на набережную, чтобы посмотреть произведенные Росси работы: новые каменные стены около воды и каменные работы на скале, на которой стоит большой дом. Эта последняя напоминает теперь в микроскопическом виде Гибралтар. Очень красиво! Оглядел все деревья внизу, около скалы. Ничто не попорчено! И только после этого пошли с Наташей в большой дом.

Ну, сэр! Умопомрачительно! Верно наш шофер сказал, которого Наташа сегодня водила по дому, что “можно брать деньги за осмотр!”

Хожу я по дому и чувствую себя миллионером. Да и не у всех миллионеров такой дом найдется. Гордится этим домом и архитектор, который мне сегодня сказал, что “неправда ли дом великолепен?!”

Дом еще *не* готов! Остались мелочи! Не готова и вся мебель, которую Мори не позволяет пока привозить. Есть только кое-что из мебели. И она мне нравится. *Не* думаю все же, что эта мебель будет “по плечу” самому дому. Завтра привезут мне мой концертный рояль. Все будет готово не позже 20 апреля. (Я считаю, что к первому мая).

Вчерашнюю ночь спал очень плохо. Но уже *не* от дома, а от мысли о визите к доктору в девять часов утра. Встал рано, но меня даже и солнце, опять блиставшее, не радовало. В девять был у доктора. Вот резюме... Ничего серьезного!¹

Кстати, про Софиньку! Это совсем очаровательная девочка! Прехорошенькая и с двумя косичками и милая, нежная, внимательная! Она за этот год и в моральном и в физическом смысле необычайно похорошела! Приедет сюда 1-го мая, если после кори, не дай Бог, не будут осложнения. Бумчик² появится не раньше 20-го мая. Танюшка жить без него не может и не хочет оставлять надолго мужа, который служит и может иметь только двухнедельный отпуск. Про Бумчика в другой раз.

Если Софушка еще не уехала поздравьте ее с днем рождения, покажите ей это письмо и пожелайте ей счастливого “кроссинга”. Всем привет и поклон.

Ваш С. Р., 11 апреля 1934.

¹ Выпущены 8 строчек.

² Внук Рахманинова — Александр Конюс.

The Caledonian Hotel, Edinburgh.

Дорогие Сомовы,

Посылаю рецензии после первого исполнения Рапсодии в Манчестере, под управлением русского не выдающегося дирижера... Как это ни странно, но должен сказать, что это исполнение было не хуже Стоковского и во всяком случае лучше Вальтера. После конца был настоящий шторм, если позабыть о сборах, которые за исключением Лондона и Манчестера, были средние, то штормы везде мне сопутствуют. Я даже предложил Наташечке меня называть теперь не иначе как “мастером”, но она плохо поддается.

Час назад кончил свой реситаль здесь и вечером, ночным поездом, уезжаем в Лондон, где пробуду два дня, без концертов. Приятно!

Сейчас получил Ваше и Елены Константиновны письма, где Вы пишете о М. А. Чехове. Я знал, что он Вам понравится, а если Вам удастся раскачать его как-нибудь на разговор, ну — скажем, на воспоминания о Станиславском, о его репетициях с ним “Ревизора”, то Вы будете вознаграждены. Попробуйте.

Пока что кланяйтесь им от меня и следите, чтобы его какнибудь не нагрели в связи с каким-нибудь новым предложением. И еще прошу Вас устроить с ним личное свидание с Соничкой.¹ Я знаю она будет очень счастлива.

До свидания! Рука устала! Елену Константиновну и Вас обнимаю. Всем кланяюсь!

С. Р., 9 марта 1935.

¹ С. А. Сатина.

ПИСЬМО С. В. РАХМАНИНОВА Е. И. СОМОВУ 5 АВГУСТА

Год не указан, но письмо это было написано в 1936 году.

Villa Senar, Hertenstein b/Luzern.

Милый мой Евгений Иванович, сегодня днем получил Ваше письмо, на которое спешно отвечаю. Начну с того, что Вы непременно должны ехать в сентябре в Лондон и, на месте, выяснить все подробности: что требуется от Вас, и что Вы можете требовать от них.

В Вашем письме ко мне, их нет. Известны ли подробности

Вам — не сказано. Если условия будут *не* подходящи, Ваша поездка в Лондон будет для Вас приятной прогулкой, при условии, что прогулка эта будет spolна оплачена. Само по себе предложение заманчиво: 1. Интересное, ответственное дело, и 2. дело в компании с Чеховым, которого Вы любите и 3. жизнь в Европе, в которую Вас не может не тянуть, так мне кажется. Тут же приведу и минусы, которые суть — моя догадка только. Значит Вы их можете легко скинуть со счетов. 1. Мих. Александрович¹ очень увлекающийся человек и переходит уж очень часто с дела на дело. 2. Деньги находятся в руках дамы. Чорт ее знает, что она выдумает послезавтра, и 3, я назвал ваше дело интересным, вернее идея его. Но проведение этой идеи в жизнь — представляет громадные трудности. Ваше дело должно проглотить все существующие уже организации и в то же время удовлетворить всех обращающихся к ним. Даже в *маленьком* деле есть *много* недовольных, что же это будет в Ваших рамках “международных”, как Чехов их называет. И наконец 4. заведующий этим Бюро или трестом, т. е. Вы, имеете Нансеновский паспорт, что с международными делами плохо вяжется. Как бы то ни было, Вы должны потребовать контракт не менее, чем на три года. Не *забудьте* этого!

Сейчас вспомнил, что Вы меня совсем не спрашиваете о самом деле, а просите ответа по вопросу личному, причем вопрос этот поставлен неправильно. Есть люди рассудка и люди сердца, или люди сантимаента и люди дела. Ваш вопрос поставлен по первой категории, а отвечать Вы меня заставляете по второй. Это никуда не годится, сэр! Как бы Вы мне не были нужны, а я не скрою, что Вы мне действительно нужны, но неужели же Вы думаете, что я позволю себе Вас у себя удерживать, на скромном паршивом месте, когда у Вас такие “горизонты”.

Нет, милый Евгений Иванович! Это пустяки и так жить нельзя. Я первый против этого всегда ратовал, проводя известную пословицу, гласящую что “дружба дружбой, а табачок врозь!” Вы должны меня бросить и переезжать в Лондон. Это очевидно! Знаете я уже успел подумать, что 1. все денежные посылки я переведу к Вам в Лондон, откуда их легче и дешевле делать, видите, я человек дела! и 2. мы с Вами будем видаться пожалуй, чаще, если Вы будете в Европе. На этом ставлю точку. Хочется скорее отправить письмо.

Хочу еще напомнить Вам, чтобы Вы уже в Нью Йорке взяли все необходимые визы (там это легче), чтобы после Ваших заседаний заехать к нам сюда.

Говорю до свиданья и еще, что буду душевно рад, если из чеховской идеи что-нибудь выйдет. Рад за Вас конечно!

Мой глубокий привет Супруге Директора Международной Организации Артистов СДМОА. Вас обнимаю.

Вчера приехал сюда Чарли. Сегодня удирает в Берлин. Письмо передал.

Ваш С. Рах-----, 5-е августа.

¹ М. А. Чехов.

Piccadilly Hotel, London. W. 1.

Дорогой Евгений Иванович, вчера отыграл здесь последний концерт и сегодня, через полчаса отъезжаем в Париж. Хочу Вам успеть написать несколько строчек по поводу Вашего последнего письма, где Вы мне сообщаете, что Ваш переезд в Англию вряд ли состоится. Не скрою от Вас, что мое первое впечатление от этого известия — было радостное. Я трудно мог себе представить, как я буду жить без Вас и Елены Константиновны в Нью Йорке, а в деловом смысле не представлял себе как мог без Вас обойтись. Но такие чувства рисуют меня только как эгоиста. Подумав о Вас, мне стало стыдно. Мне кажется и Вас и Елену Константиновну соблазняла мысль об Англии. Вас в смысле интересной деятельности — Елену Константиновну — близость к Европе. Поэтому сейчас очень неодобрительно отношусь, в мыслях к Чеховым, которые, не подумав, взбудоражили Вас и поманили “Синей Птицей”, которую редко кому поймать удастся. И в этом смысле выражаю Вам свое искреннее сочувствие... но... внутри меня радость. Человек — большой подлец!

Концерты здесь прошли хорошо. Успех очень большой. Ну, а критика здесь в Лондоне так себе. Иббс мне даже не хочет показывать “Таймс”. Говорит, что убил бы этого человека; что он не смеет так нечестно писать. В провинции картина конечно другая. Там газеты на седьмом небе. Чувствую себя хорошо. Талисман, видимо, помогает.

Ваше письмо об Ирине меня очень беспокоило. Написал ей два письма и две телеграммы. Авось она меня пожалеет и ме-

ня послушается. Бедная моя Буличка! Говорю теперь: до свидания!

Поклон и привет Вам и Ел. Конст. и всем знакомым.

Ваш С. Р., 24 марта 1937.

Shelbourne Hotel, Dublin.

Милые Евг. Иванович и Елена Константиновна. С самого отъезда Вам не писал. Будьте милостивы и простите.... Ну-с! сезон мой приходит к концу. Вчера играл здесь днем. (Вечером видел в кинематографе вместе с Наташей и Иббсом "Жизнь Эмиля Золя". Замечательная картина!). Сегодня пришлось просидеть весь день тут же. Только что вернулись с другой картины Марлен Дитрих "Ангел". Ерунда и тощища! Завтра в 12 ч. уезжаем в Бельфаст, где вечером играю, а затем опять в Лондон, где 2-й мой последний концерт. Вена конечно мной отменена. Что будем делать дальше, право не знаю. Я уже писал Соничке, что живем здесь в Европе, как на вулкане. Никто не знает что случится завтра. Но все допускают, что завтра может случиться война. А я человек, как Вам известно, очень нерешительный и недоумеваю, что предпринять. Сознаю только одно: если поедem в Сенар и если начнется заворожка, то очутимся вроде как в мышеловке. Уехать же из Европы в Америку, оставив здесь Танюшу, сердце не допускает и т. д. Что касается артистических дел, то никогда мои дела не были так успешны и блестящи, как в этом году. В смысле артистическом и финансовом! Даже моя 3-я Симфония, только что исполненная в Ливерпуле Вудом, имела большой успех. Это ли не удача? 3-го апреля он ее повторяет по радио. Буду теперь на одной репетиции и постараюсь еще Вуда направить по истинному пути. (Кстати... Узнал, что Метнер был в числе слушателей когда Бичам¹ играл ее в первый раз. Уверяет, что исполнение было отвратительное). По этой причине и отчета об исполнении не было прислано. Беру Метнера с собой на репетицию. (Тогда и проверю что ему не нравится: сама Симфония, или ее исполнение).

Что Вам еще сообщить? Начал понемногу покуривать! Этак папиросы две или три в день. Ей-Богу не больше! Очень Вы этим недовольны? Очень это стыдно? Наташа конечно в отчаянии. А я... ничего себе! Доволен! Здоровье мое тоже сносно.

А посему на всякий случай, пришлите мне мой портсигар, который лежит в моем письменном столе, с Булей. Может пригодится! Начал и попивать! Дую пиво на пропалую, а сейчас даже и виски с содой употреблял. Тоже очень хорошо! Развертываюсь на старости лет.²

Где Фокины? Приедут ли они в Европу? Здесь в этом году что-то ничего не говорят об этом. У меня появились еще некоторые дополнения к сюжету. Но не знаю стоит ли о них писать? И трудновато на бумаге объяснить. А может Фокина тут встречу!

Как мои чада? Готова ли к экзаменам Софинька? Интересно как ее английский? Вы с ней поговорите.

Ну-с, до свиданья! Всего хорошего! Кланяюсь Ел. Конст. и целую моих детей.

Ваш С. Р., 27 марта 1938.

¹ Дирижер в Лондоне.

² Выпущены 3 строчки.

Olympic Hotel, Seattle, Wash.

Милый Женичка, час назад получил Ваше письмо, которое должен назвать первой частью Сонаты Бетховена, которая сейчас появляется в моих концертах. Часть эта называется "Les Adieux". Не скрою от Вас, что мне очень и очень взгрустнулось. Стар я стал и трудно мне с людьми, которых люблю, к которым привык — расставаться. И все же, так же как и два года назад, говорю: идите и идите! Вам будет лучше денежно и интереснее в деловом смысле. За Ваше же отношение и за Ваше трогательное желание поступить, как *мне* лучше — душевно благодарю.

Ну, и Ксения!¹ Раньше меня самого на Иуду² променяла, а сейчас Вас отбирает. Не нравится мне только, что Ваш контракт "на год" и называется "пробный". Как то неделикатно и грубо, или уж очень деловито! Ну ладно! Все!

Сегодня вечером уезжаем. Надеюсь, что Вы мне пришлете папирос, как я Вас просил, и несколько пузлей, из моего шкафа, где они спрятаны, в Солт Лэйк Сити, где я буду сидеть четыре дня и чертыхаться по адресу Н.Б.С. Вырезаю еще Вам, для развлечения, целую страницу сегодняшней газеты в Сياتл. Собственно не Вам, а Елене Константиновне: это в ее духе. До сви-

данья! Всего лучшего. Поклон всем и особая благодарность Вам обоим за Ваши частые, подробные отчеты о Булوشке моей!

С. Р., 30-е ноября 1938.

¹ Жена М. А. Чехова.

² Скрипач Менухин.

Villa Senar, Hertenstein b/Luzern.

Дорогой Евгений Иванович,

В Вашем последнем письме Вы пишете, что “не представляю себе как можно отдыхать сейчас в напряженной атмосфере Европы”. Вероятно это ответ на какую-нибудь фразу, высказанную Наташей, так как я никогда не писал Вам, что “отдыхаю”! Свои сомнения и беспокойства излагал много раз в письмах Булечке и Соне. И поныне беспокойства не лишился! До сих пор не понимаю как все, не разделяющие моего беспокойства, решаются брать на себя такую ответственность! Как бы то ни было, пока думаю остаться. Больше всего на это решение повлияло письмо Сонички, советы которой мне всегда приносили счастье! Не логичное объяснение, но... человек я слабый! Сенар я свой очень люблю. Когда выглядывает солнце, я хожу по саду и думаю: “Боже, как хорошо... если не будет войны”... Но солнца у нас сейчас мало. Совсем мало! Погода хитлеровская! Лишился и приятеля своего (В. Верхованцева¹), который вчера уехал на все лето в Норвегию.

Пока настроение, как видите, не особенно бодрое! Что ж поделаешь! Буля моя мне написала подробное и интересное письмо про свой визит к Вам. Повидимому, у Вас там очень хорошо. Радуюсь также, что Вы ее пригласили приехать к Вам с ночевкой. Развлечется малость. По словам Сонечки, у нее опять настроение неважное. Но об этом знаю от Сонички. Меня же она бережет и ничего грустного не пишет.

Вы спрашиваете о квартире. Да, надо возобновлять! Никогда у нас, повидимому, не хватит энергии или отказаться от нее, или найти новую. Только может быть Вам удастся получить соседнюю? Я бы заплатил за нее 2000 и мог бы приютить Булечку. Справьтесь! Может и выйдет у Вас что-нибудь. Еще просим Вас о присылке всех моих рекордов, которые у меня отобраны в моем шкафу. Когда будет время пришлите мне. Только измените адрес: мое имя, а затем Люцерн. Таможня. В

этом случае я попаду, после Вашего извещения и расписки сам в таможную и устрою все это беспопылинно.

Ну, до свиданья, счастливые американцы! Всего хорошего. Привет Ел. Конст. и Чеховым.

Ваш С. Р., 20 мая 1939.

¹ Музыкант теоретик.

1141 Tower Road. Beverly Hills, California.

Милый Женичка, вчера было воскресенье и мне удалось получить Ратова¹ к нам на обед. Постараюсь резюмировать, что он мне сказал про Чехова, только наперед предупрежу, что ничего очень утешительного нету. Он сказал: наконец, теперь голоса *за* Чехова перевалили за половину и что теперь *есть все же надежда* на его приглашение. Сказал, что думает устроить обед для Пастернака, куда мне надо прийти также, чтобы на Пастернака давить совместно (“Эти давления”, особенно на английском языке, не в моем амплуа). И, в заключение сказал, что почти уверен, что Чехову дадут пробу с оплаченной дорогой и, что после такой пробы невероятно, чтобы его не приняли. Тут конечно подразумевалось то впечатление, которое Чехов произведет на своих судей. В общем у меня получился такой взгляд: Ратов старается всеми силами привлечь Чехова, но что голоса *за* него *не* перевалили за половину, а напротив, *не достигли* половины, — иначе его приглашение было бы уже решено. Конечно, на обед я пойду и буду “давить”. Но тут же скажу, что после этого разговора в мою душу впервые закралось сомнение, что стеклянные мундштуки могут до меня и не дойти!² Дам следующий отчет о Чехове после обеда.

Поблагодарите Елену Константиновну за присланный журнал. Действительно “Шпион” рассказ очень славный. Больше ничего примечательного в книжке не нашел, кроме нескольких строф современного русского поэта Прокофьева про березу. “Люблю березу русскую, То светлую, то грустную”. К сожалению, это стихотворение не приведено полностью. Имеются еще только интересные строфы, которые заканчиваются “Под ветром долу клонится, И гнется, но не ломится”. Очень мне это понравилось.

Живем попрежнему широко и рассеянно. На вчерашнем

обеде, например, который подавался на нашем великолепном балконе с сильным электрическим светом, было 22 персоны. Провизии было столько, что можно было накормить 122 персоны, как всегда у Наташи. Главное неудобство в этом то, что нам, впятером, придется ей питаться еще недели две.

До свиданья. Привет, поклон всем.

Ваш С. Р., 17 августа 1942.

¹ Актер кинематографа.

² С. В. шутил требовал от Сомова 50 стеклянных мундштуков, которые он употреблял при курении, за хлопоты о Чехове. Мундштуки эти ему готовил всегда Сомов.

Милый мой Женя Иванович, Ваше последнее письмо, где Вы пишете мне, что решили дать спектакль из мелких рассказов Чехова, с участием Михаила Ч., да еще *на английском*, меня крайне порадовало. Сел Вам тотчас же писать, чтобы сказать, что успех этого спектакля, на мой взгляд, обеспечен. Это исполнение настолько интересно, писатель Чехов настолько известен и любим, что меня не удивит, если рассказы будут даже зафильмованы. Известите меня немедленно об этом успехе, в котором, повторяю, не сомневаюсь. У меня явилась даже идея поговорить с одним менеджером здесь, которого недавно узнал, который мне очень понравился и который работает только с фирмами кинематографов. Решил его просить взять Чехова, предложить ему 10% отчислений. Чем мы рискуем? Если Вы против этого, то сумею ему отказать, да и Чехов сможет просто *не* подписать условий, буде ему почему либо не захочется. Хотя я не вижу к этому никаких оснований!

Ваш пессимизм относительно Ратова не разделяю. В его отношении ко мне безусловно верю, а значит, и словам его доверяю. Что приглашение затягивается меня также не пугает. Постановка нового фильма должна начаться в октябре или ноябре. Сам Ратов кончает другой фильм только на-днях, т. е. еще *не* закончил. А как они все заняты во время этих постановок, знает только тот, кто здесь живет и за ними следит. Ну вот и все, что хотел сказать. Еще раз поздравляю Вас с Вашей блестящей идеей.

Всем привет и поклоны.

Ваш С. Р., 5 сентября 1942.

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

В Лондоне и Париже в 1905 году

В 1905 году в Лондоне анархическое движение среди русско-еврейских иммигрантов было гораздо сильнее социалистического. Анархисты в Лондоне уже много лет издавали свою еженедельную газету на идиш «Арбейтер фрайнд» («Друг рабочих»). В 1905 году редактором ее был Рудольф Рокер, немец, чистокровный «ариец», в Лондоне научившийся писать и говорить на идиш. Рокер был образованный человек не плохой писатель и прекрасный лектор. Под влиянием его газеты и его лекций многие революционно-настроенные еврейские рабочие, приезжавшие из России, очень скоро становились анархистами.

За девять-десять месяцев до моего отъезда из Нью-Йорка, в Лондоне стала выходить большая еженедельная социал-демократическая газета на идиш «Ди нейс цайт». Ее первым редактором был Федор или Теодор Ротштейн, русский журналист, сотрудничавший и в английской печати, одно время он был передовиком лондонской «Дейли Телеграф».

После большевицкого переворота Ротштейн уехал в Россию; занимал разные посты в Наркоминделе. Еще в Лондоне он дружил с Лениным, потом с Литвиновым и Чичериным и считался знатоком международной политики. Позже в России при большевиках был одним из редакторов Большой Советской Энциклопедии, написал ряд книг по вопросам международной политики; умер в Москве коммунистом. Но в 1905 году Ротштейн был еще социал-демократом. Недолгое время он был редактором «Ди нейс цайт». После Ротштейна редактором этой газеты стал некто Бек. Кто такой этот Бек я не знал и когда в лондонском еврейском социалистическом Народном доме впервые с ним познакомился, узнал, что он старый русский революционер, говоривший на идиш с сильным русским акцентом.

Таких руссифицированных евреев в Нью-Йорке я встречал много. Бек каждую пятницу читал лекции на идиш в Народном доме: «Обзор главнейших событий за неделю». В первую же пятницу я пошел на лекцию Бека. Зал был переполнен. В своей речи Бек, между прочим, коснулся последнего выступления одного из лидеров сионизма. Критикуя сионистов, Бек воскликнул: «Вы, сионисты, зовете еврейский народ в Палестину, а мы **еврейские рабочие**, говорим, что наша родина...» В зале разразился сильный хохот. Я думал, что смеются над тем, что Бек сказал «мы еврейские **рабочие**» (он никогда в жизни рабочим не был). Девица, сидевшая рядом со мною, тоже громко хохотала. Я не удержался и спросил ее: «Чего вы так смеетесь? Он же всю свою жизнь борется за рабочее дело». — «Да, — ответила она, — но он же не еврей, он ведь русский казак». И к величайшему моему изумлению я узнал, что это была правда. Бек, живя в Лондоне, как и немецкий анархист Рокер, научился говорить и писать на идиш. Как и Ротштейн, Бек уже тогда склонялся к большевизму. Бек (настоящая его фамилия, кажется, была другая) после революции 1905 года уехал в Россию. И, если не ошибаюсь, в 1917 году примкнул к большевикам. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

В Лондоне я и мой товарищ Лупец, который тогда назывался «американец», пробыли всего недели две. Один наш знакомый бундовец, давно живший в Лондоне, в течение нескольких дней водил нас, показывая «чудеса» Лондона. Мы побывали в английском парламенте, осматривали Британский музей, были в библиотеке музея. И он нам показал письменный столик, за которым сидел в течение многих лет Карл Маркс, работая над своим «Капиталом». Между прочим, в коридоре библиотеки Британского музея мы натолкнулись на известного тогда русского журналиста Дионео-Шкловского, с которым познакомились.

Из Лондона мы уехали в Париж. Ехали мы сначала паромом в Гавр; из Гавра — поездом в Париж. В Париж мы прибыли в 8-9 часов утра. У меня был адрес русской студенческой столовой. Мой приятель Николай Афанасьев мне сказал, что там я смогу узнать адрес художника Ольхина, к которому и дал рекомендательное письмо. Мы бродили по улицам Парижа часа 3-4 и никто не мог нам указать, где находится эта маленькая улица и русская студенческая столовая. Каждый полицейский,

которому мы показывали записку с адресом, вынимал из кармана адресную книжку, искал эту улицу и не находил.

Так, бродя по улицам, мы увидели наконец группу студентов, шедших с книгами. Один из них показался мне русским или русским евреем. Я подошел к нему и спросил: «Вы русский?» — «Да», — ответил он. — «Не можете ли сказать, где русская студенческая столовая, на какой улице?» — «Пойдемте со мной, я тоже туда иду», — сказал он. Минут через десять мы были уже в студенческой столовой и когда я спросил там у заведующего молодого россиянина, знает ли он, где живет художник Ольхин, он ответил: «Недалеко отсюда. Но вы ведь, вероятно, голодны, — так пойдемте сначала пообедаем, а потом я провожу вас к нему. Он наверное сейчас дома».

У Н. Н. Лохова

Приблизительно через час заведующий студенческой столовой привел нас обоих к Ольхину. Я передал Ольхину письмо Афанасьева, и он меня очень хорошо принял. Сказал, что жена его уехала из Парижа на дачу. «Поэтому вы можете жить у меня сколько хотите», — прибавил он. Ольхин на меня сразу произвел чарующее впечатление. Он был высокого роста, красивый брюнет с очень благородным лицом. Говорил он тихо, медленно и очень приятным голосом. Со слов Афанасьева я знал какую большую роль он играл за 5-6 лет до того в петербургской социал-демократической организации. Он был одним из редакторов нелегальной газеты «Рабочая мысль», которую я читал еще в Вильне. Он хорошо знал Ленина и Мартова, Плеханова и Потресова. Мне он сказал, что теперь в Париже состоит членом русского социал-демократического клуба, но что он противник «Искры». Он был первым русским социал-демократом, который сказал, что, по его мнению, Мартов и другие лидеры меньшевиков недалеко ушли от Ленина и что они «по существу на три четверти большевики».

Два дня Ольхин водил меня в Луврский музей, повел и в Люксембургский. Показывал знаменитые картины и скульптуры. Потом попросил своего приятеля — русского студента, тоже социал-демократа, по фамилии Соколов, чтобы он показал мне другие достопримечательности Парижа. Соколов повел меня к Эйфелевой башне и вместе со мною взобрался на самый верх (в то время лифта там еще не было). Показал он мне и

знаменитое кладбище на Монмартре, где похоронен Генрих Гейне, повел на кладбище Пер-Лашез, где находится братская могила расстрелянных в 1871 году коммунаров. Соколов показал мне и знаменитые парижские дворцы и площади, где происходили главные события Великой французской революции.

У Ольхина я прожил, кажется, около двух недель и лишь через несколько десятков лет, уже после революции, я узнал, что Ольхин был не кто иной, как Николай Николаевич Лохов. Это был известный художник. Жил он очень скромно. Со мной много говорил о России и будущей революции. Он был самым резким противником большевизма, которого я до тех пор где-либо встречал. Он уже тогда был более этическим социалистом, чем марксистом. На меня он оказал большое влияние. О том, что он впоследствии совершенно отошел от социалистического движения и всецело посвятил себя искусству, я узнал лишь в 40-ых годах из статьи Екатерины Кусковой в нью-йоркском «Новом Русском Слове». Кускова потом мне писала, что Лохов уже много лет живет во Флоренции, занимаясь тем, что копирует картины великих художников. Кускова писала, что его копии пользуются большим успехом в Европе и в Америке. (Е. Д. Кускова была старой приятельницей Лохова еще по Петербургу).

Позже в «Новом Журнале» я читал статью историка искусства кн. С. Щербатова об Н. Н. Лохове, как человеке и художнике. Щербатов знал Лохова еще по России, а через много лет встретил его во Флоренции и подружился с ним. «Лохов, — писал князь Щербатов, — являл собой сочетание мыслителя, общественного деятеля (идеалиста-народника), глубокого по своей специальности ученого и практика, обожателя, ценителя и знатока искусства, поэта в душе, тревожного и фанатического поборника своих социальных идей, а с другой стороны — добрейшего, миролюбивого и любвеобильного человека, альтруиста и своего рода аскета в равной мере преданного своей идее и своей работе, в качестве первоклассного мастера и неутомимого жертвенного труженика. Он был самым совершенным копистом картин и фресок из всех, кого я знал».

Таким Лохов был на старости лет во Флоренции и такой же светлой личностью он был в 1905 году, когда я провел

около двух недель у него. Он произвел на меня неизгладимое впечатление. Перед моим отъездом в Женеву, он снабдил меня рекомендательным письмом к своему старому партийному товарищу А. Мартынову, который тогда был одним из редакторов «Искры», а также рекомендацией к другому русскому социал-демократу, его бывшему приятелю, который в Женеве жил под именем Соколова (настоящая его фамилия была, кажется, Пай-кес). С этими двумя письмами Лохова и с письмом к Мартынову от моего приятеля из Нью-Йорка Николая Афанасьева я и отправился в Женеву. Лохов меня проводил на вокзал.

В Женеве

По прибытии в Женеву, я заехал к Соколову, — другого адреса у меня не было и по-французски я не говорил. Прибыл я в Женеву в воскресенье днем. Когда я взобрался на третий этаж и позвонил в квартиру, дверь мне открыла полная швейцарка-француженка и когда я ей сказал, что хочу видеть мсье Соколова, она ответила, что он будет дома только вечером и немедленно замкнула передо мною дверь. Я вышел на улицу. Как раз напротив был маленький садик. Я сел на скамейку, и стал ждать, пока увижу свет в комнате Соколова. Просидел я так часа 3-4 и наконец дождался. Я сразу же пошел вверх. Та же хозяйка снова отворила мне дверь, и на этот раз без всяких расспросов ввела меня в комнату Соколова. Я представился ему, передав письмо Лохова. Он сразу же мне сказал: «Вы, вероятно, голодны? Сойдемте вниз и что-нибудь закусим». Он повел меня в ближайший кабачек, угостил сосисками и начал спрашивать об Америке и о моих ближайших планах. Я рассказал ему, что у меня есть два письма к Мартынову и что Анжелика Балабанова обо мне написала Л. Г. Дейчу. Соколов сказал, что Дейча сейчас в Женеве нет — он уехал в Париж и вернется только через две-три недели. Он посоветовал мне завтра же пойти к Мартынову, так как Мартынов собирается на-днях уехать из Женевы навсегда в Вену, куда переезжает редакция «Искры». Он также сказал, что у него в квартире я могу переночевать только одну ночь.

Когда я пришел к Мартынову, он как раз что-то диктовал своей секретарше. Прочитав письма к нему Лохова и Афанасьева, которые я ему передал, он сказал, что, к сожалению, ничего

для меня не может сделать, так как через несколько дней уезжает в Вену. «Поезжайте к П. Б. Аксельроду в Цюрих, — сказал он, — он поможет вам там устроиться».

Когда я Мартынову сказал, что у меня, вероятно, не хватит денег даже на билет в Цюрих и на то, чтобы прожить там несколько дней, он посоветовал мне обратиться к одному лицу в Женеве, который несомненно мне поможет. Мартынов словно облил меня ушатом холодной воды. Я был в полном отчаянии и так как к тому же еще был очень застенчив, то уже к тому лицу, о котором говорил Мартынов, не пошел.

Мой товарищ Лупец, с которым я вместе приехал из Америки в Париж, пробыл в Париже всего два-три дня и уехал в Женеву. Он был бундовцем и по прибытии в Женеву, сразу же заехал в главную квартиру «Бунда» на рю де Каруж, где печаталась русская газета «Бунда», «Последние Известия», а также еврейские брошюры, и где находился архив «Бунда». Я несколько раз там его посетил. Несколько ночей я ночевал у одного наборщика бундовской типографии. На третий или четвертый день я в русской читальне встретил моего бывшего ученика, рабочего из Вильны, которого не видал года четыре. Он страшно мне обрадовался. И когда я ему сказал, что у меня еще нет постоянной квартиры, он сразу воскликнул: «Идем ко мне, у меня большая комната и кроме кровати — большой диван». Оказалось, что он тоже был меньшевиком и работал в экспедиции «Искры». Я перебрался к нему и у меня там было уже все, что мне нужно было.

Знакомство с Л. Г. Дейчем

Через неделю, когда Дейч вернулся в Женеву, я сильно сомневался — идти ли к нему? Если Мартынов, к которому у меня были две рекомендации, так меня встретил. К тому же Дейч уже старик, — думал я, — шестнадцать лет провел на каторге и в Сибири. С моей стороны это будет, пожалуй, просто наглостью — прийти к нему и дурить ему голову: кто я такой и кто Дейч? Так я думал и сказал об этом моему приятелю. Он улыбнулся и ответил: «Не будь дураком! Дейч — не Мартынов. Это очень добрый человек, готовый всегда выслушать и помочь каждому. Иди, иди к Дейчу!»

Помню, что это было в пятницу утром. Я несколько раз подходил к дому, где Дейч жил и не имел мужества к нему

зайти. Дейч в Швейцарии жил под именем Каган (по паспорту). Наконец, я все-таки набрался духу и позвонил. Дверь открылась и навстречу мне вышел высокий, широкоплечий, здоровый человек с рыжеватой бородой, с сединой. «Тут живет мсье Каган?» — спросил я. — «Зайдите, зайдите, пожалуйста, я — Каган». Я зашел к нему и сразу сказал кто я такой. Он развел руками и громко произнес: «Где же вы были все это время? Балабанова мне писала еще недель шесть тому назад, что вы выехали в Женеву. Так долго продолжалась ваша поездка?» Я ему рассказал, что провел несколько недель в Лондоне, потом в Париже и что уже почти две недели я в Женеве. Дейч расспрашивал о своих друзьях и знакомых в Нью-Йорке; об американском рабочем и социалистическом движении, о настроениях русских революционных кругов; а под конец мне сказал: «Денег у вас, вероятно, ни гроша? Так вот вам пока двести франков. А когда понадобится еще, — пожалуйста, не стесняйтесь, приходите». Во время этого разговора я ему, помню, сказал, что нью-йоркская группа считает, что в Америку должны поехать Плеханов или Троцкий на лекционное турне. «Плеханов не может поехать, — сказал Дейч, — потому что он сильно страдает морской болезнью, и вообще больной человек; а что касается Троцкого, то он еще много месяцев тому назад уехал нелегально в Россию и теперь там». (За два года до этого Троцкий бежал из Сибири, куда был сослан после того, как больше двух лет просидел в тюрьме).

Дейч дал мне записку, чтобы меня впускали в закрытую библиотеку русских социал-демократов, которую большевики после раскола партии захватили в свои руки. В этой библиотеке можно было читать все русские газеты и журналы — петербургские и московские, а также немецкие социал-демократические газеты. И я проводил в ней целые дни. Заведующим этой читальней-библиотекой был Владимир Бонч-Бруевич — один из основателей большевицкой фракции РСДРП. Ярый ленинец. (В 1917 году он играл большую роль в подготовке октябрьского переворота, а после переворота был первым управляющим делами Совнаркома). Библиотека получала все русские журналы и газеты, но свежие номера журналов — могли читать только большевики. Меншевикам Бонч-Бруевич обычно отказывал давать для прочтения тут же в читальне свежий номер какого-либо петербургского или московского журнала. В биб-

лиотеке я часто видел М. Ольминского. Это был высокий красивый, уже пожилой человек с седой бородкой. Самый старший из большевиков, которых мне пришлось видеть в Женеве. Иногда в библиотеку-читальню заглядывал «товарищ Воинов». Знакомая большевичка мне поведала «тайну», что «товарищ Воинов» не кто иной как А. В. Луначарский, известный в то время литературный критик. В 1905 году Воинов-Луначарский был членом редакции большевической газеты «Вперед» (переименованной позже в «Пролетарий»), выходившей в Женеве. Луначарский был хорошим оратором. И несмотря на его большевизм, я был тогда большим его поклонником — как литературного критика и оратора. Дейч познакомил меня с Плехановым и его женой, Розалией Марковной, с Потресовым, а также с Парвусом. Он мне рассказывал, между прочим, о Троцком, о котором я много слышал и которого тогда высоко ценил. Дейч был настроен тогда против Плеханова за то, что Плеханов не любил Троцкого, — не любил статей Троцкого. Троцкий в «Искре» в то время часто подписывался псевдонимом «Перо» и Плеханов часто повторял: «Перо господина Перо мне не нравится». Дейч же защищал Троцкого и сильно ему патронизировал. Троцкий всю жизнь не мог простить Плеханову его отношения к нему. Но и Дейча он не особенно щадил после революции. Вообще Троцкий никого кроме себя не любил, — в чем я имел возможность через много лет убедиться. К людям он был или равнодушен или их ненавидел.

Однажды, когда я с Дейчем гулял в Женеве, я опять ему напомнил о необходимости послать на лекционное турне в Соед. Штаты кого-нибудь из выдающихся социал-демократических лекторов. Дейч, как будто мимоходом сказал: «Я сам охотно поехал бы туда». — «Но вы ведь не оратор, — сказал я, — а там нужен именно хороший оратор, который мог бы состязаться с Житловским, делегатом партии социалистов-революционеров, а он блестящий лектор». — «Ну, где я мог развиваться как оратор, — заметил Дейч, — на каторге или в Сибири?» Мы продолжали разговор. Он меня пригласил приходить к нему чаще. Однако, я заходил к нему редко, боясь, что могу помешать его работе.

Моя первая встреча с Верой Засулич

Однажды прогуливаясь по рю де Каруж, где тогда жили

многие русские студенты и политические эмигранты, я встретил моего приятеля Гоникгберга, с которым в Нью-Йорке я одно время работал на мебельной фабрике. Гоникгберг в феврале 1905 года вместе со своим товарищем Девдериани уехал в Россию на революционную работу. Он мне рассказал, что они по приезде в Россию, поселились в Баку, где оба работали в меньшевистской организации. Девдериани, между прочим, редактировал там местную легальную ежедневную русскую газету социал-демократического направления. Теперь Гоникгберг приехал в Женеву по какому-то партийному делу и собирался пробыть здесь несколько недель. В разговоре с ним я, между прочим, рассказал ему как Владимир Бонч-Бруевич, заведующий библиотекой Центрального Комитета партии, чуть ли не вырвал у меня из рук свежий номер толстого петербургского журнала и у меня теперь нет возможности читать свежие русские журналы.

«Вы же все эти журналы можете достать у Веры Ивановны, — сказал Гоникгберг, — она получает все главные петербургские и московские журналы».

Вера Ивановна — это была Засулич, известная революционерка 70-ых годов, которая в начале 80-ых годов вместе с Плехановым, Аксельродом и Дейчем основала «Группу Освобождения Труда», а потом была членом редакции «Искры».

Она многие годы жила в Лондоне, потом в Женеве; была знакома с Карлом Марксом, дружила с Фридрихом Энгельсом.

«Как я могу достать у нее журналы, — сказал я, — она меня совсем не знает, а я даже не знаю, где она живет?» — «Я на-днях буду у нее, — ответил Гоникгберг, — и возьму для вас какой-нибудь журнал, который она уже прочла и вам его принесу».

После этого я Гоникгбергу несколько раз напоминал об его обещании взять у Веры Ивановны журналы, но он все забывал. Однажды, когда мы прогуливались с ним невдалеке от здания, где помещалась редакция «Искры», оттуда вышли двое мужчин и старая женщина. Одного из мужчин я знал: это был Блюменфельд, старый социал-демократ, бывший секретарь редакции «Искры». Другой мужчина и женщина были мне незнакомы. Мы с ними встретились, остановились. Гоникгберг не нашел нужным меня познакомить. Как это часто бывает, когда встречается группа знакомых людей, сначала заходит общий

разговор, потом группа распадается. Гоникгберг разговаривал с Блюменфельдом и его товарищем, а я — с женщиной. По ее фигуре можно было бы подумать, что это молодая русская курсистка, но все ее лицо было в морщинах, а во рту не доставало нескольких передних зубов.

В Женеве, в особенности среди социалистов-революционеров, тогда было значительное число старых революционерок еще со времен «Народной Воли». Некоторые из них действительно были известные революционерки, проводившие многие годы на каторге и в Сибири, и после своего освобождения примкнувшие к партии социалистов-революционеров. Другие отличались лишь тем, что в молодости участвовали в каком-нибудь революционном кружке. Я знал и тех и других; и старушек второй категории мысленно называл «архивными революционерками». В то время вся европейская печать была полна сообщений из России об «армяно-татарской резне» на Кавказе, то есть, о погромах, которые татары учиняли над армянами на Кавказе. И вот женщина, с которой я беседовал, удивлялась почему правительство натравливает татар на армян, а не наоборот, армян на татар? «Ведь армяне православные, — говорила она, — а татары мусульмане». — «Это вполне понятно, — ответил я ей, — армяне более сознательные; среди них много революционеров...» И я долго говорил ей на эту тему. Я был уверен, что передо мной «архивная социал-демократка» и даже не поинтересовался спросить потом у Гоникгберга, когда они ушли, кто эта «архивная революционерка». Что она социал-демократка я понял из того, что она шла вместе с Блюменфельдом и Гоникгберг так дружески с ней поздоровался; а также и из того, что она, смеясь, сказала: «В Петербурге носятся слухи, что Троцкий собирается вместе с Гапоном и его последователями создать новую рабочую партию». (Троцкий тогда поссорился с лидерами меньшевистской организации в Петербурге). Гуляя дальше с Гоникгбергом, мне вдруг пришло в голову спросить его, когда же он, наконец, достанет для меня журналы у Веры Ивановны? «Почему же вы мне об этом не напомнили? — воскликнул Гоникгберг, — я бы с ней условился, когда за ними придти! Ведь это же и была Вера Ивановна Засулич!» — «Что? Вера Засулич?» Я был как громом пораженный, мне стало стыдно, что я читал ей такую «лекцию» об армяно-татарской резне. Могу без преувеличения сказать,

что из-за той «лекции», которую я прочел Вере Засулич, я потом не спал несколько ночей и когда недели через две увидел Засулич на каком-то собрании, я притворился, что ее не замечаю. Но она меня узнала и при выходе подошла ко мне, поздоровалась и спросила: «Как поживаете?» По всей вероятности, Гоникгберг ей рассказал всю историю и она поняла, что, вероятно, я стесняюсь подойти к ней. В течение многих лет всякий раз, когда я вспоминал о моей «лекции» Вере Ивановне Засулич, я чувствовал себя не по себе.

Мое знакомство с Лениным

Впервые я увидел Ленина в Женеве на улице. Если бы мне не сказали, что это Ленин, я бы никогда не поверил, что это он. На меня он издали произвел впечатление русского прасола, но только глаза его, когда он приблизился ко мне, меня поразили. У него был острый, как бы пронизывающий каждого, взгляд и всегда немного саркастический. Познакомился я с Лениным впервые на большевицкой вечеринке в Женеве. Ленин был очень прост в своих отношениях с людьми. Моя знакомая русская большевичка — студентка Женевского университета — взяла меня на эту вечеринку и там познакомила с Лениным. По обыкновению, на этой вечеринке пили пиво, закусывали бутербродами и пели революционные песни. Ленин тоже пил и пел вместе со всеми. Я не знаю, что рассказывала обо мне Ленину моя знакомая курсистка, но когда я стоял около него, он мне сказал: «Почему вы не вступаете в нашу группу? Вы ведь — молодой человек, а у меньшевиков теперь все старики». Я сильно смутился, но ответил, что я против тактики большевиков. Ленин не вступил со мною в дискуссию; он только рассмеялся. У меня было впечатление, что он немножко под хмельком.

Через несколько дней я был на лекции Ленина. Зал был переполнен. Тема лекции была: «Аграрная программа ППС» (Польской Социалистической Партии). Ленин не был оратором в обычном смысле слова. Он был скорее лектором. Свои мысли он как бы вбивал в головы слушателей. Первая речь, которую он произнес, произвела на меня сильное впечатление. Такого оратора я до тех пор никогда не слышал. Когда он кончил почти все ему аплодировали. Аплодировали, конечно, и я. Потом начались вопросы — устные и письменные. Ленин на все вопросы

отвечал. Одна записка с вопросом, помню, была от анархиста. Он спрашивал: «Чем вы объясняете, что крестьянское движение в России, как истинно народное движение, носит анархический, а не социал-демократический, характер?» Ленин вслух прочел записку и ответил: «Чему же тут удивляться? Если у крестьян в голове полнейшая анархия, то и движение их носит анархический характер». Все рассмеялись и опять ему бурно зааплодировали.

Через неделю Ленин читал вторую лекцию. Тема ее была о будущих выборах в Государственную Думу. Лекция должна была быть ответом на статью Парвуса в последнем номере «Искры». Ленин первую часть своей лекции читал по бумаге. Он сказал, что эта лекция — первая часть его статьи, которую он успел написать для следующего номера его газеты. Когда он читал рукопись, большинство слушателей просто зевало, но когда потом он начал говорить, подскакивая и выбрасывая вперед свою правую руку с сжатым кулаком, публика увидела перед собой совершенно другого Ленина. Своей речью он сразу завоевал большую часть аудитории, которая состояла из молодых людей, не очень сильно разбиравшихся в политических вопросах. Эта речь Ленина особенно врезалась мне в память. Ленин картавил, он часто букву «р» произносил как «г» и так как речь его была направлена против Парвуса, то он постоянно повторял: «Пагвус... Пагвус...» И на этот раз после лекции ему задавали вопросы. Ленин был очень резок в своих ответах, часто остроумен, иногда просто издевался над своими оппонентами, представляя их как невежественных и тупых людей. Поэтому только немногие осмеливались выступать открыто против него или даже задавать ему устно вопросы. На этой лекции, я помню, выступил против него один грузинский меньшевик, — тогда уже не молодой, жил он в Женеве под именем «Волгин». Начал он свою речь словами: «Хотя я рискую подпасть под остроумные стрелы товарища Ленина, я все-таки решил сказать, что я думаю о его тактике». Содержание речи грузина я забыл. Помню только, что когда настало время ответить ему, Ленин начал: «Ну, а для товарища Волгина у меня никаких стрел нет, я их все выбросил из кармана». И Ленин так его и не оскорбил. Выступил на этой же лекции и один большевик под именем Федоров, довольно развязный молодой человек, постоянно громивший меньшевиков так же, как

и эсэров. После того, как Ленин ответил всем своим оппонентам, он сказал: «А товарища Федорова прошу меня не углублять...»

Третий раз я пришел на лекцию Ленина в большой зал, лекция предназначалась для широкой публики, брали за вход два франка. Безработных впускали бесплатно. Так как у меня в кармане было не больше одного франка, я так и решил сказать, что у меня больше нет. Я был уверен, что после моих слов меня впустят. Но у кассы сидела ярая большевичка, старая дева, с кислым лицом. Она меня знала как меньшевика и поэтому отказалась впустить в зал. Я решил подождать у двери, пока придет Ленин. Когда он пришел, я обратился к нему: «Товарищ Ленин, она меня не пускает на вашу лекцию». — «Почему?» — спросил он удивленно. «Кислое лицо» у кассы, услышав ленинское «почему», сильно растерялось и начало звать меня: «Входите, входите, пожалуйста...» Ленин своими острыми, улыбающимися глазами посмотрел на нее и вошел в зал. А я вслед за ним. Она со злостью отвернулась от меня. Через много лет, уже после большевицкого переворота, я слышал, что эта женщина стала видной чекисткой.

Воспоминания об этой лекции у меня не сохранилось.

Последняя лекция Ленина, на которой я был, была в тот вечер, когда я должен был уехать из Женевы в Россию. Поезд из Женевы на Вену уходил в одиннадцать тридцать вечера. Лекция Ленина происходила в зале недалеко от вокзала. Я сидел в зале приблизительно до половины одиннадцатого... Не помню уже темы этой лекции, но один эпизод навсегда врезался в мою память: в дебатах после лекции один из присутствующих сказал Ленину: «Вы говорите так и так, но Плеханов доказывает, что это не верно». Когда Ленин стал отвечать на этот вопрос, его серые глаза зажглись каким-то странным огоньком, как у кошки. И он сердитым голосом проговорил: «Кто такой Плеханов? Политический авантюрист, не больше!» На меня это произвело ужасное впечатление. До тех пор я думал, что Ленин только фанатик. Теперь же я увидел перед собой демагога, который готов, выдумать о своем противнике, будь он даже членом его собственной партии, самый худший навет, только бы дискредитировать его в глазах мало информированных слушателей. Я в то время был большим почитателем Плеханова. Но с тех пор Ленина я возненавидел, и не столь-

ко потому, что он оскорбил Плеханова, а потому, что я понял, что Ленин сам не верит в то, что сказал о Плеханове. Он как раз был очень высокого мнения о Плеханове не только в то время, но и позже. Когда, через несколько недель после того, как я уехал из Женевы, в Петербурге должна была начать легально выходить первая большевицкая газета «Новая Жизнь», Ленин в письме к Плеханову осыпал его всевозможными комплиментами и просто умолял, чтобы Плеханов стал одним из редакторов газеты. (Это письмо напечатано в полном собрании сочинений Ленина).

Помню еще, как на одной лекции Ленина какой-то слушатель прислал ему записку следующего содержания: «Почему вы в своей лекции все время нападаете не на реакционеров, а на Петра Струве, который является одним из выдающихся русских радикальных публицистов, экономистов и философов?» Ленин ему ответил: «Я потому критикую больше всех Струве, что Струве самый умный, самый образованный и самый честный из всех русских либералов...»

Всегда, когда я думаю о Ленине, я вижу его перед собой в той позе, — с этим злым огоньком в его глазах и слышу его голос: «Кто такой Плеханов? Политический авантюрист, — не больше!»

(Продолжение следует)

Д. Шуб

СМЫСЛ ИСТОРИИ*

Философия истории, или, как ее принято называть, историософия, наука сравнительно молодая. Если не считать особого бл. Августина (354-430) с его «Градом Божиим», то основоположниками этой дисциплины следовало бы назвать итальянского мыслителя Вико (1668-1744) и немецких философов — Гердера (1744-1803) и Гегеля (1770-1831). Отдельные элементы историософии встречались у многих мыслителей разных времен и народов, но в систематическом изложении они впервые появились в трудах вышеупомянутых философов.

История принадлежит к гуманитарным и описательным наукам: ее можно определить, как науку о том, как, когда, где и почему совершались события, имевшие влияние на судьбы народов. Историк, в отличие от представителя естественных наук, не может экспериментировать. Его умозаключения почти всегда косвенны. Предметы его исследований фактически не существуют и поэтому ему приходится заключать о них, отправляясь от доступных следов, какие оставили отдельные люди, факты и события, рассматривая их на фоне той суммы сведений, какую являет собой наука истории. В зависимости от конкретной цели, какую ставит себе историк, и от обширности поля, которое он хочет исследовать, мы бы различили «микроисторию» (лица, государства, войны, законодательства, памятники культуры и т. п.) и «макроисторию» (группы народов, эпохи, культуры, цивилизации). Когда ученый, занимающийся предметами «макроистории», излагает свое общее воззрение на судьбы человечества (смысл истории, цель существования человечества, завершение истории, связь между судьбой человека и судьбой человечества и т. п.), тогда он входит в область историософии.

Историософская литература последних ста лет обширна

* Эта статья является рецензией на книгу Н. Бердяева «Смысл истории», вышедшую 2-ым изданием в 1969 г. Изд. ИМКА. Париж.

и разнообразна. В самых общих чертах можно определить, что философия истории представлена двумя основными направлениями. Одно из них ограничивает предмет этой науки областью имманентного; второе — рассматривает судьбы человечества, исходя из метафизических предпосылок. Представители имманентного направления локализируют историю в отрезке времени от момента запечатления первых следов существования человека в рамках примитивной социальной организации (открытых доселе археологией) — по сегодняшний день. Эта школа, вдохновляясь достижениями и предметами разных наук, старается выработать «научообразные» исторические методы и с недоверием, а то и с пренебрежением, относится ко всем метафизическим построениям. Такие «метафобы» чаще всего встречаются в странах англо-саксонской культуры. Крайним выражением этого направления является марксистско-материалистическая историческая доктрина, которую, из-за недостатка солидных и диалектически оправданных оснований, к истории философии причисляют только по недоразумению. Имея за собой ряд достижений в области открытия исторических закономерностей, эта школа не в состоянии дать гипотетического ответа ни на вопрос о происхождении человека, ни на вопрос о его окончательной судьбе.

Познавательный базис историософов метафизического толка шире: признавая полезность чувственного и рационального познания, они оспаривают его притязания на исключительность и всеобъемлемость. Своими орудиями познания они признают также и интуицию (чувственную, интеллектуальную и мистическую), при помощи которой стараются проникнуть в трансцендентную область для того, чтобы земную историю человечества вывести из начала божественного творчества и затем, в завершении, свести ее к тому же началу, понимаемому уже в качестве предела. Когда Бог «основывал землю и утверждал небеса разумом», при Нем была Его «художница-Премудрость» и ее творческая «радость была с сынами человеческими». Историософу, как и любому представителю искусства, надо обладать даром этой «художественной премудрости», которая дает его взору силу проникновения сквозь толщу веков; его слуху — возможность слышать «неизреченные глаголы», его чувствам — воспринимать божественное «в дыхании хлада тонка».

Среди иных аргументов против метафизического охвата предметов истории философии выставляется факт, что некоторые историософские построения не оправдались на практике. На это можно возразить, еще раз, что историософия не принадлежит ни к так называемым точным наукам, ни к наукам естественным. Историософия имеет дело с вечно изменчивой реальностью человечества, всеми цветами кожи переливающейся, разными этнографическими частотами пульсирующей, из разных культурных источников питающейся и различными токами рациональных и иррациональных волеизъявлений заряжающейся. Так как человек, в духовной области, свободен, то судьба его не может быть детерминирована априори, и в этом экзистенциалисты правы. Поэтому и перед человечеством лежит не один путь развития, а неисчислимо множество возможностей. Никакой историософ и никакой футуролог не может заглянуть в будущее, а потому и не может точно предсказать грядущего: он может лишь строить предположения, основываясь на существующих общих тенденциях. Его предсказания покоятся на гипотетических основаниях типа «если... то», известных нам уже из области библейских пророческих вещаний. Чем непосредственнее связь между условием и следствием в истории, чем ближе они во времени, тем большая вероятность осуществления предвиденного. В таком историософском уравнении имеется постоянное неизвестное: человеческая иррациональность. Его, вероятно, нельзя **решить**, а можно лишь только **решать**, постоянно внося новые коррективы. Это похоже на то, как в некоторых фазах развития естественных наук прожектором, освещающим темные недра бытия, является «рабочая гипотеза»: хотя она и неадекватна сущности бытия, тем не менее пригодна для того, чтобы постоянно меняться и уточняться, продвигать науку вперед.

Для русских историософов характерна метафизическая ориентированность. Одним из наиболее выразительных представителей русской историософской школы является Н. Бердяев.

В этом мыслителе преобладает философ и богослов, а не историк, поэтому его историософские концепции ярко окрашены метафизичностью и эсхатологичностью. Как в «Фаусте», история у Бердяева начинается прологом в небе, небесным прологом она и завершается. Земная история — это инволю-

ция человека в область времени и пространства. Для бердяевской философии истории решающее значение имеет его теогоническая концепция. Официально принятое христианской догматикой учение о Боге, как о Существе совершенном и потому неподвижном, развитое под влиянием греческой философии, Бердяев считает недостаточным и односторонним. Если Бог совершенен, если в Нем нет никаких изменений, если Он вечно неподвижен, если в Нем немыслимы какие-либо процессы, то с таким понятием Божества не согласуемы библейские откровения Бога, как Творца, любящего, гневающегося, жестоко-наказующего, всепрощающего, милосердного, приносящего в жертву Своего Сына, распятого, страждущего, воскресшего и торжествующего. И в самом деле, если в божественном лоне сочетаются противоположности, если догматика допускает положительное и отрицательное богословствование в учении о Боге, то почему страшиться сочетать в понятии Бога начало статическое с началом динамическим? Логическим выводом из этой апории был бы либо полный агностицизм, либо признание, что существенные черты человеческого духа приписуемы, в эминентной степени, конечно, и Богу. Разве не сотворен человек по образу и подобию Божию? Антропоморфизм, не в физической, а в метафизической области, легален, поскольку он относится к теoантропоморфическим категориям.

Так вот, Бердяев постулирует некую драматическую процессуальность в Божестве, и в этом он следует учению немецкого мистика Якова Бёме (1575-1624). В чем же заключается это учение?

Отправной точкой Бёме было сознание, что решение проблемы наличия добра и зла в мире должно быть перенесено из этого мира в Божество. Наличие добра и зла является выражением изначальной дуальности, вне которой ничто не может существовать и ничто не может мыслиться. Абсолютное тождество всего сущего сгущает все бытие в один бытийственный пункт, который, с онтологической точки зрения, погас бы, если бы ему не было что-либо противопоставлено. Принцип противопоставления вносит разделение, иность и инаковость. Совершенная тьма есть не-бытие, и совершенный свет есть не-бытие: бытие обнаруживается (принимает значение, определяется, начинает **как-то** существовать) во взаимовлиянии темноты и света, в контрастности свето-тени.

Таким образом, Бог, для того, чтобы открыться в самом себе и для себя, должен был внутренне противоположиться. Это самопротивоположение могло состояться только на некой общей, еще до-дифференцированной подоснове, которую Бёме называет темной природой Божества, Всем и Ничем, божественной бездной, "Ungrund". «В природе Бога, глубже Его, лежит какая-то изначальная темная бездна, и из недр ее совершается процесс теогонический, процесс Богорождения; этот процесс есть уже вторичный процесс по сравнению с этой первоначальной, ни в чем невыразимой бездной, абсолютной, иррациональной, не соизмеримой ни с какими нашими категориями» (Н. Бердяев. «Смысл истории», стр. 68).

Из этого следовала бы возможность движения в недрах Божественной жизни, возможность Божественной трагической судьбы. И тогда более понятным станет страдание самого Бога в лице Его Сына, имеющее целью искупление мира и спасение человека, сына Божия по призванию, тоже через страдание и любовь стремящегося к Богу. Это же, в свою очередь, предполагало бы наличие какого-то общего и для Бога и для человека «глубинного источника» судьбы Богочеловеческой.

Вселенная есть историческая сцена той всемирной драмы, в которой Бог открывается человеку и человек, в свою очередь, ответно открывается Богу для приятия в себя божественного. Борьба божественной необходимости с человеческой свободой и божественной свободы с природной необходимостью и представляют собой антиномическое содержание исторической драмы.

Рассмотрим отдельные темы, трактуемые Бердяевым в его «Смысле истории».

Время. Сущность понятия времени и отношение времени к вечности является центральным вопросом истории. Бердяев, в противовес феноменализму и прагматизму, не видит онтологической пропасти между временем и вечностью, но, вслед за древними гностиками, склонен признать наличие разных эонов, в какой-то перспективе уходящих вглубь божественного бытия. Одним из этих эонов представляется наше земное время, которое Бердяев называет дурным временем, неистинным, порченным. Но существует и время идеальное, хорошее, истинное и целостное, и оно эссенциально для глубинного, ноуменального бытия.

Наше время, дурное, «вращающееся по своему кругу», было бы безысходным, кошмарным временем, призрачным, не имеющим никакого смысла; оно призрачно, собственно говоря, так как если мы рассмотрим его слагаемые — прошлое, настоящее и будущее, то все эти три слагаемых не имеют собственной реальности: прошедшее не реально, так как его уже нет; будущее не реально, так как его еще нет; а настоящее не реально, так как оно неуловимо и неизмеримо. Единственно память собирает воедино клочья призрачного времени, единственно в памяти прошлое может оживать и только память, соединенная со способностью воображать, может проникать в будущее. Память поэтому представляет собой величайшее проявление духа вечности в нашем существовании. «Наше время, однако, может быть преодолено... так же, как во времени возможно вхождение вечного, — возможен и разрыв замкнутости времени и выход времени в вечность», — говорит Бердяев.

Сущность исторического процесса. Исторический процесс имеет двоякую природу: консервативную и революционную. В смене событий будущее пожирает настоящее, но память сохраняет прошедшее. История есть результат этих двух взаимодействующих начал. «Историческое» связано с «религиозным»; только при такой установке возможно создавать философию истории. Родовая человеческая память в форме мифов повествует о «вступлении» в историю, миф есть грань между мета-историей и историей. История началась тогда, когда материя созданной вселенной начала отвердевать. Судьба человечества есть судьба человека, и наоборот, каждый человек в своей собственной судьбе как-то репрезентативно переживает судьбу человечества. Человек — микрокосм, в нем имеются все пласты исторического прошлого. Значение человека, как элемента исторического процесса, может рассматриваться с точки зрения двух теорий: эволюционистической и креационистической. Первая считает человека результатом естественного развития природных, естественных элементов, венцом постепенной эволюции низших форм в высшие. Бердяев начисто отвергает теории этого типа и говорит, что будь они правы, тогда не было бы никакой истории, все было бы детерминировано, все шло бы с механической точностью, человек был бы погружен в процесс становления и не мог бы возвы-

ситься над ним, не мог бы заглядывать в будущее, не мог бы искать смысла... Если мы представляем только одно число из ряда чисел, то мы можем двигаться только в дурную бесконечность. Но если мы трансцендируем в высший план, мы можем охватить всю сущность ряда чисел в постижении закона чисел. Сам факт, что человек способен охватывать одним взглядом прошедшее, настоящее и всматриваться в будущее, свидетельствует о том, что он находится в плане высшем, чем природно-эволюционный. Конечно, физической своей природой мы погружены в эволюционную стихию, но наш разум, наш дух, наша интуиция — из высшего плана. Это может быть понятно только при принятии учения о сотворении человека Богом по Его образу и подобию.

Божественное откровение. От времени до времени метафизическое прорывается в историческое, вечное во временное. Уже в первые века христианства богословы учили, что Бог открывается отдельным людям и народам соответственно их удобовосприимчивости (кат'аналогия). Языческим народам Бог открывался в природе. Лучше всех иных народов восприняли это откровение древние греки, создав философию и непревзойденное искусство. Дух красоты и гармонии, пропорциональности и симметричности, «математичности» во всем окружающем вдохновил греческое искусство к созданию совершеннейших произведений; они стяжали, свели, поскольку это возможно для человека, красоту с неба на землю. Но во всем этом не было истории, не было конфликтов, не было борьбы; это было статическое созерцание потустороннего сквозь призму тварной природы.

Индусским народам Бог открывался в имманентно-индивидуальном порядке. Арийскому сознанию нет дела до всего мирского, оно аскетически самоуглубляется в неизмеримую глубину человеческого духа, чтобы там, в недрах его, переживать общение с Божественным. В этом глубинном, внутрь обращенном состоянии наступает отождествление человеческого я с самим Божеством: это главная цель, главное стремление. Все остальное — призрачно и неважно. В Индии создавалась мистическая традиция восточного типа (внеобразная), но Индия не создала ни истории, ни философии, ни наук, ни техники.

Еврейскому религиозному гению дано было создать уче-

ние о едином и трансцендентном Боге: наступил разрыв между земным и небесным. Преодоление этой онтологической пропасти и составляет историю. Однако, трансцендентность Бога не ведет иудея к агностицизму, теоретическому или практическому. Иудейский народ чувствует влияние Бога на своей судьбе очень ясно: Бог имманентен еврейскому народу своим волеизъявлением, своим постоянным вмешательством, своим руководством... История еврейского народа являет нигде не встречаемый пример богоборчества: Бог преодолевает косность и жестоковийность народа, Бог укрощает его жестокими наказаниями, Бог очищает дух народа национальными катастрофами. С другой стороны, никакой иной народ не явил примера такой теократии, какая имела место в известные периоды еврейской истории. История эта идет по равнодействующей, постоянно проявляемой, воли Божьей и воли человеческой. Судьбы еврейства протекают при постоянной доминанте: И сказал Господь, и повелел Господь, и наказал Господь, и вывел Господь... История создалась в результате диалога между Богом и избранным Им народом. Только в этом народе сказалось Боговождение в столь очевидной, можно даже сказать, осязательной форме. Существование еврейства — имеет метафизические корни, оно никак не может быть объяснимо с позитивистическо-материалистической точки зрения. Впервые чувство миссии осозналось народом так остро и ярко: вся жизненная энергия народа обращена в будущее, народ страстно желал наступления Царства Божия, здесь, на земле. Даже еврейские атеисты недавнего прошлого и настоящего сохранили этот страстный религиозный пафос, сосредоточив его на вне-религиозных целях и видениях, подменив идею избранного народа идеей избранного класса, поставив волю человеческую вместо воли Божьей. Страстность, динамизм, огромный напор воли — остались те же...

Христианство выросло из иудейства, преодолев его имманентизм, но сохранив его историческую динамичность. Динамизм христианства сказывался даже в отступничестве от христианства, как будто по ньютоновскому закону: силе действия равна сила противодействия. В христианстве произошел синтез эллинского мышления и иудейского чувствования: эллинизм дал основание догматике, а иудейство — вере. Но и в самом христианстве наметилась некая полюсность: западная

церковь, впитав в себя прагматическо-юридический дух Рима, достигла высокой степени организованности в имманентной области; восточная Церковь, с ее символичностью, своими интересами устремляется горé, к последним свершениям; первая — делала историю, вторая — мета-историю; западная мистика — чувственно-образная, восточная — внеобразная; на западе были попытки «папоцезаризма», на востоке — цезарепапизма. Восточная церковь, до сих пор, собственно говоря, была вне главного течения европейской культуры. История западной церкви так тесно переплелась с историей Европы, что их нельзя уже разделить. Почти все то, что совершалось исторического в Европе, было в связи с западной церковью: либо рождалось из нее, либо в отталкивании от нее.

Христианство освободило человека от плена природы, христианство провозгласило свободу личности. Иудейство поставило в исторический фокус избранный народ, христианство — личность отдельного человека. Процесс освобождения личности от природы и от коллектива — характерен для возрастающей кривой западной культуры; кризис этой культуры и затем ниспадающая кривая — это обратный процесс порабощения личности коллективом.

Отдельные периоды западной культуры. Эллинизм, иудаизм, христианство. Средневековье можно сравнить с тем периодом в природе, когда посеянное зерно лежит в свежераспаханной земле и набирает силы для пророста. Монах и рыцарь — два главных персонажа средневековой драмы. Оба — аскеты, хотя и в разных областях. Суровая жизнь дисциплинирует обоих и постепенно накапливает в них духовную энергию. Средневековая церковь хотела построить царство Божие на земле в принудительном порядке, в порядке послушания. Но, своевременно, зерно дозрело для всхода и, пробив темный покров почвы, потянулось к солнцу. Так внешние воды Возрождения, вздымаясь, сломали обветшавшие преграды и буйно устремились к творчеству. Ренессанс — это расцвет человеческой автономности, это секуляризация всех областей жизни. Веками отделенный от природы, человек снова обращается лицом к природе, вдохновляется ею, ищет в ней разгадок тайны. Ренессанс — это воскресший дух античности, но уже просвеченный христианским динамизмом. В Ренессансе, особенно раннем, человек, рассматривая лицо природы, старается найти в нем чер-

ты вечности. Ранний Ренессансный гуманизм, не порвавший еще с христианским образом человека, есть попытка синтезировать Божественное с природным, и в этом он достигает высшего совершенства. Но... тварное никогда не сможет адекватно выразить Божественное. Творчество Боттичелли, каким прекрасным оно бы ни было, является искусством человеческим. И в этом состоит трагедия художника: его произведение всегда будет неадекватным выражением его вдохновенного замысла. О Боттичелли говорили, что его Венеры покинули землю, но... его Мадонны покинули небо.

В творчестве позднейшего Ренессанса (Микель Анджело, Рафаэль), изобразительность достигает предельного совершенства с формальной точки зрения, но в нем уже нет того чудесного аромата, каким было полно творчество периода Кватроченто. Вскоре начался упадок... В Ренессансе были семена антихристианского гуманизма, которые проросли в эпоху Просвещения. Человек велик и силен не своей психо-физической природой, а своим богоподобным духом. Нигде человек не был так возвеличен, как в святоотеческой философии, ибо за ним была признана, в потенции, возможность стать Богом по причастию (ср. учение об обожении). Когда же, в ложно понятом секулярном возвеличении человека вне связи с его Пробразом, на пьедестал ставится его тварная природа, гуманизм вырождается в дегуманизацию.

Величие человеческое — функциональное величие: человек есть отсвет Божественного света. Погасите в сознании человека Свет, и он станет лишь одним из млекопитающих позвоночных, обладающих могущественным мозговым аппаратом со склонностью ко злу, чего лишены иные животные.

Внебожественный гуманизм логически приводит к отрицанию ценности личности. Одно из двух полюсных развитий этого направления приводит к идее сверх-человека в образе «белокурой бестии», ибо, творец этой идеи, Ницше, говорит, в заключение, устами Заратустры: «человек есть стыд и позор, он должен быть преодолен». На другом полюсе, у Маркса, восставший на Бога человек, в пределе самоутверждения, пожирается Молохом-коллективом. А посредине — многомиллионная масса буржуазии, почти-безличной, квази-религиозной, мелко-интеллигентной, пульсирующей одним всемирным ритмом жажды наживы и потребления, которой дали такую меткую характеристику Леонтьев и Блуа.

Почти все историософы, включая и Бердяева, согласны, что в период цветения культуры создаются новые ценности этического, эстетического и интеллектуального характера. И так, как цветок в своем прекрасном своеобразии, сменяется плодом, имеющим ценность утилитарного характера, так и достижения культуры, достигнув своего апогея, при утилитарной популяризации из качественного плана переходят в план количественный: мотто «выше, глубже, прекраснее» подменяется лозунгом «легче, лучше, больше». Но это уже — увядание культуры...

Теория прогресса. Каков смысл исторического процесса? Бердяев начисто отвергает эволюционные, материалистические, позитивистические и прогрессивные теории. Все они сходятся в одном: человек, дитя природы, развивается согласно естественным законам, переходит из низших ступеней самосознания к высшим, развивает свои умственные способности, все более и более умело покоряет и использует для своих целей природу, наследует от ушедших поколений их достижения, приумножает их и передает следующим поколениям для того, чтобы когда-то, в неопределенном будущем, достигнуть полного совершенства индивидуальных способностей и социального устройства. Такие историософы, как Данилевский, Шпенглер, Тойнби, Кребер, Сорокин (упоминаю наиболее известных) с полной очевидностью доказывают, что историческая наука никак не подтверждает правильности построений этого рода. Такие философы, как Бердяев, отвергают их и с нравственной точки зрения. Мессианские чаяния осуществления Царства Божия на земле, корнящиеся в религиозном пафосе еврейского народа, были подменены антирелигиозной идеей создания Царства Человеческого. Но... «Царство Мое не от мира сего!» Локализируя абсолютное в относительном, материалисты, отвергая веру в Бога, уверовали в человека, и направив всю свою энергию на достижение этой утопической цели, забыли для кого эта цель изначально была назначена: в процессе осуществления мечты о счастье человека, они пользуются человеком же, как средством. И в этом их роковая и чудовищная в своих последствиях ошибка. Но если бы их цель и была практически осуществима, то в **последнем**, достигшем счастья поколении, должна была бы быть атрофирована совесть: ибо как могли бы люди наслаждаться земным раем, зная, что для его осуществления страдали **все** предшествующие поколения? Во всем этом

кроется чистое противоречие, которое можно лапидарно выразить так: для произведения будущего типа человека-эгоиста нужны жертвы, лишения и страдания прошлого и настоящего типа человека-альтруиста. Такая установка понятна если мы исповедуем учение о соборности человеческого рода и жизни будущего века, но она бессмысленна в материалистическом мировоззрении.

Учение о прогрессе есть «обогащение будущего за счет прошедшего и настоящего», тогда как идея справедливости требует, чтобы все люди всех эпох имели непосредственное, личное отношение к вечному и Божественному. Соборность человеческого рода перед лицом вечности предполагает, «чтобы не только не было допущено обеднение нас великими богатствами прошлого, но чтобы мы не были лишены возможности обогащаться и творимым будущим».

Завершение истории. История — это процесс перехода из этого мира в мир потусторонний. Подлинную красоту и подлинные ценности человек может творить только в том случае, если перенесет «центр тяжести человеческой жизни в иной мир...», ибо христианская философия истории целеустремлена в мир потусторонний, она не может быть не-апокалиптической. «В апокалиптическом свете метафизика истории раскрывает двойственность грядущего, раскрывает нарастание в нем как положительных христианских сил, которое должно завершиться явлением Христа Грядущего, так и отрицательных антихристианских сил, которое должно завершиться явлением антихриста». «В грядущем предстоит небывалая борьба добра и зла, Бога и дьявола, света и тьмы. Смысл истории заключается в раскрытии этих противоположных начал, в их противоборстве и в окончательном трагическом столкновении одного и другого начала». Апокалипсис будет совершаться и во внешнем мире, и в душе каждого человека. Апокалипсисом завершится наш исторический эон.

Итоги. «Смысл истории» Бердяева — книга, написанная необыкновенно ярко, очень художественно, очень интуитивно, с большой эрудицией и с большим пониманием западной культуры. Любой отрывок из нее можно приводить, как цитату, заслуживающую особого внимания.

Главные историософские идеи, развиваемые Бердяевым суть: связь истории с мета-физикой; отрицание всех видов «ли-

нейной» интерпретации исторического процесса; рассмотрение великих культур в качестве одновременно и смертных и бессмертных, временных и вечных (народы, как носители культур, рождаются, цветут и умирают, но созданные ими ценности вечно живы); определение культур не как реализации **новой жизни**, а как реализации новых **ценностей**; усмотрение, в результате сравнительного анализа доселе существовавших культур, роковым образом присущего им всем трагического завершения; оценка культурных достижений как символических, а не реалистических; заключение, что «неудачи» исторических культур имеют положительное, дидактическое значение, выражающееся в том, что они суть как бы доказательства «ад абсурдум»; положительные достижения культур — открытия вечных ценностей — суть вехи на пути человека к Богу.

Заключение. Подобно тому, как затихает природа на некоторое время перед надвигающейся бурей, так и народы в коллективном подсознательном напряжении улавливают симптомы надвигающейся исторической катастрофы; отдельными молниями вспыхивают индивидуальные прозрения мыслителей, но в массе человечество лишь инстинктивно чувствует нечто подготавливающееся, нечто грядущее... А после катастрофы, как после грозы, жизнь человеческая снова могуче устремляется вперед, хотя уже по новому руслу.

Так бывало издревле, когда рушились древние цивилизации, так было и в более исторически-близкое к нам время. И вот теперь, в последние десятилетия XX века, жизнь и наука, как никогда доселе, с головокружительной быстротой стремятся вперед, в геометрической прогрессии, в результате взрывов: атомных, народонаселенческих, нравственноустоевых... Что это? Последние судороги европейской умирающей культуры-цивилизации? Последние отсветы заката перед наступающей ночью Нового Средневековья? Так думает Н. Бердяев.

Игумен Геннадий (Эйкалович)

АНТИФИЛОСОФ

1

Лев Исакович Шварцман, в течение 40 лет писавший под именем Льва Шестова (первая книга его, «Шекспир и его критик Брандес», вышла в 1898 году, умер он 20 ноября 1938 года), занимает особое место в истории русской философской мысли. Отметим, прежде всего, что это был не только оригинальный, мыслитель и ученый не-академического типа, шедший своей дорогой, не изучавший философии под чьим-либо систематическим руководством, ум самостоятельный и вольный, блестящий и увлекательный писатель, книги которого будущие поколения в России оценят, как долго скрытый от них клад. Стилль Льва Шестова, непринужденный, почти разговорный, хотя он и предполагает у читателя высокий уровень образования, вплоть до знакомства в подлиннике с теми философами, о которых он пишет, — имеет одно удивительное свойство: можно открыть любую его книгу в любом месте и читать — все равно откуда — и сразу увлечет, потянет за собой читателя сильный, напряженный ток мысли. Притом, если знаешь Шестова, всегда это будет одна и та же основная мысль, — но высказанная иначе, повернутая под другим углом, в применении к другому автору. Нужно было большое искусство и из ряда вон выходящая настойчивость, чтобы так — 40 лет подряд — вариировать одну и ту же тему. Повторения при этом были неизбежны, но они, как лейт-мотив в музыкальном произведении, служили архитектонике целого. Шестов не боялся подчеркивать и повторять то, что считал «трудно усваиваемым» для сознания современников. Шестов вообще не считал своей задачей кого-либо убеждать или доказывать свою правоту. Он утверждал право не считаться с логической последовательностью и законом противоречия, провозглашал свою правду «всем вопреки».

Классифицировать Шестова трудно — он не укладывается в обычные рубрики. Н. Бердяев в статье, перепечатанной в виде предисловия к вышедшему в 1964 году собранию статей Ше-

стова («Умозрение и откровение», Париж, ИМКА-Пресс) назвал его «философом, который философствовал всем своим существом, для которого философия была делом жизни и смерти». С этим позволительно не согласиться. Шестов не был философом в общепринятом смысле, ни академическим, ни экзистенциальным, в смысле Гегеля, современных экзистенциалистов, или любого из разбираемых им авторов. Он не шел с течением философской мысли, а парил над ним, — всегда и неизменно шел против него. Он верил в Бога, а не в философию, но и религиозным мыслителем не был. Существенно для этого писателя то, что он не писал о религии, религиозное не было предметом его мысли, и он не был связан границами и догматами какой бы то ни было исторической религии, — несмотря на свое почитание Священного Писания и других священных писаний.

Он писал против философии, и в этом смысле являет единственный в своем роде пример — решительного, принципиального и профессионального **антифилософа**. С Киркегором, которого он узнал только в старости, сближает его, что он был, как и тот, «частный мыслитель», но он не принадлежал ни к какому исповеданию, и смерть застала его за чтением «Системы Веданты», на раскрытой главе о «Мудрости Браммы». Шестов не жаловал «христианствующих философов и философствующих богословов» (см. «Умозрение и откровение», стр. 61), и этого они ему не прощали, даже личные его друзья, как Н. Бердяев и С. Булгаков. Он не создал школы, не имел учеников, кроме, в последние годы, несчастного Бенжамена Фонтана, румынского еврея, погибшего в гитлеровской газокамере. Современники в лучшем случае ему «сочувствовали» и оказывали уважение, но сохраняя дистанцию. Шестов — блестящий философский публицист, эссеист, критик и обличитель философии, но книги его не философия, они «о философии» и «вокруг философии», — по существу и по форме, по замыслу и выполнению. В этом своем качестве они вторичны, — и никогда бы не создались, не будь тех авторов и тех систем и утверждений, от которых они оттолкнулись и обсуждению которых посвящены.

Это страстный полемист и воитель, книги его — лирический монолог и лобовая атака. В первой же своей книге он атакует и ниспровергает Георга Брандеса. В книгах о Достоев-

ском, Ницше, Толстом показано, что правдой и единственно важным в их творчестве было не то, что они проповедовали и чему учили, а трагедия человеческого существования, которую они пережили, но выхода из нее не нашли. «Ответы» их — лепет Алеши, образы Зосимы и князя Мышкина, «сверхчеловечество», «вечное возвращение», мораль, — Шестов считает «мнимыми ответами», жалкими увертками. Так начался беспримерный поход Шестова против философии и философов. Соловьев — «все сделал, чтобы погасить живую и оригинальную русскую мысль» («Умозрение и откровение», стр. 35), он «глух и слеп ко всему» (там же, стр. 63) и даже «ни мало того не подозревая, служил делу... Антихриста» (стр. 90). У Розанова «естественная связь явлений была пределом, за который никогда не перелетела его мысль». Есть у Шестова что сказать «вопреки Буберу» (стр. 122). Он обличает Спинозу во лжи (в «Антологии русской философской мысли» С. Франка, см. стр. 165-8). «Философы менее правдивы, чем невежественные женщины», — говорит он. «Правдивый Спиноза с неслыханной доселе силой и вдохновением возвестил людям ложь», «безобразную ложь», Лейбниц надел «лицемерную личину», а Кант «предал Бога».

Столь резкая полемичность не осталась без ответа. Над писаниями Шестова пожимали плечами «христианствующие философы и философствующие богословы». Образец этого найдем в «Антологии из истории русской философской мысли конца 19 и начала 20 века» С. Л. Франка. Там Шестову уделено место наряду с такими мыслителями, как Л. Толстой, Вл. Соловьев, Н. Бердяев, о. П. Флоренский и С. Булгаков... И он — единственный, о ком проф. Франк высказался в краткой справке, предшествующей каждому приведенному автору, явно осудительно: он отказывает ему в подлинно-религиозном сознании; даже, в сущности, в вере в Бога, говоря: «иррациональное существо жизни он иногда называет Богом, но от всякого подлинно-религиозного сознания его позиция отличается тем, что для него трагизм человеческой жизни остается и должен оставаться безысходным».

Философ Франк явно несправедлив к антифилософу Шестову, который, не будучи религиозным мыслителем типа Франка, все же верил в Бога, а не просто в «иррациональное существо жизни», и не «безысходность» утверждал, а тщету

человеческого разума. Кстати, в списке главных трудов Шестова в «Антологии» пропущен «Апофеоз беспочвенности» 1905 года, т. е. именно тот «Опыт адогматического мышления», где Шестов очень резко выразил свое неприятие всяческого идеализма. Для Франка история философии была историей идей. Антифилософ Шестов в «Апофеозе беспочвенности» проклял всяческие идеи. «Идея» была для него «Молохом», питающимся человеческой кровью, источником всех несчастий на земле. Стремление примирить веру с разумом — вмонтировать Бога в систему идей — приводило его в ярость.

2

Здесь мы подходим к основному тезису антифилософии Шестова: этот человек произнес хулу на разум, на знание и науку величайшие, какие только известны в истории культуры. В этой безудержности отрицания, раздражавшей его противников и оставившей неудовлетворенными его читателей, что-то было недоговорено, что-то оставалось открытым. Всю жизнь он боролся с «самодержавием Разума», равно теоретического и практического. В стремлении Платона и Плотина к «Чистому Разуму» усматривал «чисто человеческую слабость». Идеализм, — пишет Шестов, — «подобен восточной деспотии: снаружи все блестяще, красиво, вечно, а внутри — ужасы» («Достоевский и Ницше», стр. 58 берлинского издания 1922 года). Но что, собственно, понимал Шестов под ненавистным Разумом?

— “Ratio”, — говорит он в своей статье о Соловьеве, — «есть те ‘законы’, неизвестно когда и откуда пришедшие, власть которых держится тем, что никто не смеет их спросить, почему им дано господствовать неограниченно над людьми и мирозданием».

Это относится и к данным науки, и к аксиомам морали, и к догматам религии, — ко всякому вообще рациональному осмыслению мира. Заметим, что нет противоречия в том, что Шестов всю жизнь облакал свою борьбу с тем, что он называл «всевластием Разума», в форму мысли. Мысль есть субъективный акт человеческого дерзания, а Разум — объективная связь и закономерность вещей, «логос» — идеальная структура сущего. Шестов восстал против принудительности навязываемых человеку философами «истин», против окончательности нашего человеческого знания, против притязания

человека на абсолютную истину. Именно этим — неистовым исповеданием Бога, который может и бывшее сделать небывшим, и опрокинуть все наши «абсолютные истины», он оттолкнул от себя не только «философствующих богословов», теологов, но и всех вообще, кто принимает, по Евангелию, что «в начале было Слово». Нет, в начале было — творение из ничего. Бог выше мысли теологов, притязующих на «власть «Ключей» — католическую и не только католическую.

И если можно было Богу создать нечто из ничего, то можно Богу и обратить все кошмары бытия в ничто, а наибольший кошмар — его логичность, клетка созданная рациональным мышлением. Шестов мыслил мифами. Основным мифом Библии было для него изгнание из рая. Адам вкусил яблоко познания — познания добра и зла — и с этого начались все несчастья. Шестов восстал против Адама. Все его книги — говоря образно — попытка выплюнуть яблоко и мольба к Богу о возвращении в рай до грехопадения. Это звучит фантастически. Шестов осмелился спросить «законы, неизвестно когда и откуда пришедшие» кто им дал право неограниченно господствовать над людьми и мирозданием. На этот вопрос, как и следовало ожидать, ответа не последовало.

В своем восстании против эллинской мудрости, против положительного знания, против Разума, якобы неумолимого и беспощадного к человеку, Шестов напоминает Дон-Кихота, борющегося с ветряными мельницами. «Самодержавие Разума» привиделось ему на переломе 19 и 20 века, накануне величайшего безумия охватившего мир. Если не возлагать ответственности за все страдания человечества на науку и схоластику, на увлечения и преувеличения школьной философии, которые всегда оставались уделом немногих и замкнутых в себе кругов специалистов, — придется сказать, что такого Разума, против которого повел войну Шестов, никогда и не существовало. Скорее можно говорить о беспомощности и недостаточности человеческого разума, а не о его «всевластии».

Величайшим философом Лев Шестов считал — библейского Иова, презревшего мнимые утешения моралистов, прожившего не на разум, а на чудо: на то, что все случившееся с ним Бог может просто зачеркнуть — сделать **небывшим**. Это безумие, ибо даже и в христианстве величайшее чудо и граница упования есть **воскрешение**, а не обращение вспять акта

творения. В последовательном развитии своей мысли Шестов дошел до «борьбы с самоочевидностями». Последним основанием разума является очевидность: *facultas intuenti* — так определял разум в 18 веке ученик Лейбница Христиан Вольф. Но Шестов смеется над «самоочевидностями» — ибо очевидное для человека не обязывает веры. Верой преодолевается очевидность, — она ищет спасения, а не логической достоверности. Заметим в скобках, что он и книгу Иова понял по своему. Он вычитал в ней, что Бог вернул страдальцу не только здоровье и имущество, но и убитых детей! Этого нет в книге Иова, там говорится, что он разбогател вдвое и Бог дал ему новых детей, — но этого мало Шестову, он настаивает, что смерть детей и все страдания по воле Бога оказались (или в последнем счете окажутся?) просто несуществовавшими. Так хочет вера, ибо для Шестова то, что раз имело место в прошлом неискупимо и невознаградимо иначе.

Для него эллинская идея «всеединства», которой все заранее оправдано высшей гармонией, ненавистна, как еще одна уловка развратного разума, попытка уклониться от существа проблемы. Философия в течение тысячелетий стремится примирить веру и разум или, по крайней мере, разграничить их, как это сделал Кант, показав, что там, где кончается компетенция разума, вера отвечает на основные запросы человеческого незнания. Но этого мало Шестову. Для него несовместимы вера и разум, и он утверждает веру в противоположность разуму. Кантовская «вера в границах разума» для него самообман, он не устает повторять, что Откровение не только не нуждается в Умозрении, но и исключает его, враждебно ему. Мало верить в согласии с разумом, — надо верить вопреки разуму. Нет моста между Афинами и Иерусалимом!

Нигде так не выясняется сущность шестовской проповеди, как в его конфронтации с антиподом — Гуссерлем, основателем современной феноменологии, которому так обязан русский интуитивизм. В статье “*Memento mori*”, которая стала известна Гуссерлю во французском переводе, Шестов обрушился на него со всем красноречием и пылом своей полемики, — и Гуссерля заинтересовал этот неожиданный противник. Они встретились, и сам Шестов рассказал об этой встрече. Конечно, они не могли убедить друг друга. «У нас разгорелся горячий спор», рассказывает Шестов, «по вопросу, что такое философия? Я сказал, что

философия есть великая и последняя борьба — он мне резко ответил: *Nein, Philosophie ist Besinnung*. — Нельзя короче и острее продемонстрировать глубину расхождения, как если бы гово-

рили на разных языках, о двух разных вещах. Шестов видел в философии Гуссерля (и в каждой достойной этого имени философии) — борьбу. Борьба есть драматическое действие, выражение помогающей жизни, — «праксис». Философия — бунт! Философия — неприятие всяких очевидностей! И в своей статье о Гуссерле он переводит слово *Besinnung* — «рефлексия». Точен ли перевод? В введении к книге «Афины и Иерусалим» Шестов повторяет (стр. 19) — «философия есть не любопытствующая оглядка, не *Besinnung*, а великая борьба».

3

Итак, «любопытствующая оглядка» против «великой борьбы». Но и то и другое неверно. *Besinnung*, как определение философии, не есть ни «оглядка», ни просто «размышление» (*Betrachtung*), — это предельная активность ищущей мысли, направленной на все предстоящее ей, — в крайнем охвате всего открытого ей, со всем содержанием наук и жизни, стремлений и достижений, всего нашего знания и незнания. Не «любопытство» движущий импульс философии, а динамика и внутренняя необходимость, присущая мысли. «Великой борьбой» Шестова была не борьба с бытийственной структурой мироздания — поскольку она нам доступна — ни мысли, ни книги его не могли иметь на нее влияния, — а с философами. Противопоставляя Откровению — умозрение, и во всех формах умозрения открывая «человеческое пристрастие», он сам оставался в границах умозрения и собственного человеческого пристрастия. И если бы не было существенного родства нашего антифилософа с теми, против кого он восстал, то не могло бы быть и этой трогательной черты Шестова, как мыслителя, — его любви, уважения, даже преклонения пред теми великанами человеческой мысли, которых он яростно разоблачал. Ибо Шестов любил своих антиподов, Спинозу, Канта, Гуссерля, любил так, как не любили их и вернейшие ученики их. Он прожил всю жизнь в обаянии этой *Philosophia Perennis*, которой объявил войну, и без которой не мог обойтись. Лицом к стану

философов и спиной ко всем алтарям — такова была его позиция, и если он под старость называл ее «религиозно-философ-

ской», то парадокс заключался в том, что она была — внерелигиозно-антифилософской. Со всем своим глубокомыслием и прозорливостью он оказался в опасном соседстве с анти-интеллектуальным поветрием своего времени, и лишь сейчас, со всем страшным опытом последних десятилетий, мы видим это опасное соседство.

Поражает безмерное отчаяние, из которого исходил этот человек. «Знание порабощает человека». — «Мир — мрачное и страшное подземелье». — «Нельзя покорно принимать бытие со всеми его ужасами». Он цитирует Киркегора: «Только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо». Можно ли считать Шестова экзистенциалистом? Он был против Ясперса, Гайдеггера и, разумеется, ничего общего нет у него с атеизмом Сартра. Все это — аналитики, рассматривающие «человеческую реальность», как она есть. Шестов не занимался человеческой реальностью «всемства», он концентрировался на исключениях. Единственной реальностью для него была реальность человеческого вопля и безумной надежды на то, что «Богу все возможно». Чтобы уяснить, как ставил Шестов проблему человеческого существования приведем следующее место из беседы с Гуссерлем («Умозрение и откровение», стр. 305):

«В 399 году до Р. Х. отравили Сократа... точно ли в мире есть такая сила, такая власть, которой дано окончательно и навсегда принудить нас согласиться с тем, что Сократа отравили? — Для Аристотеля такой вопрос, как явно бессмысленный, не существовал. Он был убежден, что «истина» — Сократа отравили — равно навеки защищена от всяких человеческих и Божеских возражений. Цикута не различает между собакой и Сократом, и мы, принужденные самой истиной, обязаны тоже не делать никакого различия между Сократом и собакой, даже бешеной собакой...»

Это очевидное *non-sequitur*, и согласиться в этом случае не значит «примириться». Но дело не в особенностях стиля, а в том, что хочет сказать Шестов. Как освободиться от истины, что Сократ был отравлен по приговору суда в 399 году? Богу все возможно, и он может отменить, обратить в ничто, в небытие, также и отравление Сократа. Так сводится вера, исповедуемая Шестовым к надежде на то, что невозможное возможно и что действительность не обязывает верующего считать ее

когда-либо имевшей место. «Задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного мышления и найти в себе смелость (только отчаяние и дает человеку такую смелость) искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом». И еще сильнее: «Противопоставить усмотрениям разума «крики» Иова, «плач» Иеремии, громы пророков и апокалипсиса? Это, скажу еще раз, несомненно, «безумие». Но разве ужасы жизни, открывающиеся тому, кто принужден взглянуть им прямо в глаза, — не безумие? Разве Иов со своим страшным опытом, Иеремия, плачущий о судьбе своего народа, или даже Плотин, вспоминая об убитых юношах и обесчещенных девушках, — находятся еще в пределах разумного? Мы стоим между двумя «безумиями». Между безумием разума, для которого обнаруживаемые им истины об ужасах реального бытия есть истины последние и окончательные, для всех обязательные, вечные истины, — и безумием киркегоровского Абсурда, который решается начать борьбу, когда по свидетельству нашего разума и его очевидностей борьба невозможна, ибо она обречена на позорную неудачу. С кем идти — с представителями эллинского симпозиона или с Иовом и пророками, какому безумию отдать предпочтение?» («Умозрение и откровение», стр. 321).

Это сказано так патетически взволнованно, что почти циническим кажется ответить простонародной пословицей: «на Бога надейся, а сам не плошай».

4

Откуда же взялось у человека, прожившего всю свою жизнь в мирнейших, благополучнейших условиях, материально обеспеченного, спокойно занимавшегося в предреволюционной России, потом в Берлине, Париже, чтением, мыслями, писанием книг, — это безграничное отчаяние, это воззрение на жизнь, как на кошмар, этот ужас пред бытием, которое давит неумолимо до того, что единственный исход — это отказать ему в признании, отбросить свидетельство действительности, ибо Бог может всю ее аннулировать? Откуда взялось это представление о том, что знание убивает свободу, а разум поработывает? Где корни, где источники этой «великой борьбы», которая, в конце концов, свелась к литературе, кабинету и сочинению книг для немногих посвященных?

В недоумении мы спрашиваем себя — разум ли осудил на гибель Иова? или этические учения повинны в несчастиях человечества? Откуда взялось у Шестова это кипение, горение и неистовство?

Откуда это настаивание на том, что философия, «истинная философия», как он иронически выражается, лишает человека всякой надежды на спасение от кошмарной действительности или отказывает ему в праве на веру во всемогущего Бога, когда эта вера рождается в смятенном и отчаявшемся сердце?

Отчасти — только отчасти — мы найдем ответ в атмосфере перелома века, в тревоге, овладевшей умами в предреволюционной России, когда начался «великий трус» и «переоценка ценностей», когда могла писать Зинаида Гиппиус «хочу того, чего нет на свете», а Блок «и невозможное возможно», когда рождались «мистические анархизмы» и «мистические эмпиризмы», богоискательство и «творимые легенды». В это время родился и «Апофеоз беспочвенности», как вызов, брошенный всем благополучным обладателям абсолютных истин и всем «в очевидности получающим свое полное и окончательное удовлетворение», как писал враг очевидностей Шестов. — «Покоя нет — покой нам только снится», есть родство у поэта Блока и нарушителя покоя, который Спинозе и Канту ставил в вину их величавое спокойствие пред тайной Вечности. Шестов был сыном своего времени. «Беспочвенность» он осуществил трижды в своей жизни: оторвавшись от солиднейшей благоустроенности еврейского купеческого дома, настолько укорененного в быту и традиции, что много лет спустя, когда брат Льва Шестова, ныне еще благополучно здравствующий в Тель-Авиве проф. консерватории Александр Шварцман прибыл в Израиль, простодушные выходцы из Киева приветствовали его, как сына известного Исаака Шварцмана, основателя киевской фирмы, а о брате его, пишущем книги, никто из них и понятия не имел. И позже, выпав трагически из русской действительности, уйдя в эмиграцию, где несмотря на годы творчества и жизни в Париже, не появилось во французской прессе даже упоминания о его смерти, когда он умер в ноябре 1938 года («только русские газеты дали сообщение», пишет Г. Ловцкий в своих воспоминаниях). И третий — самый болезненный отрыв — выразился в его «войне против самоочевидности», в оспаривании всех авторитетов и философских течений его времени,

результатом чего была роковая «непонятость» и отщепенство в стане философов. После войны, разгрома Европы, беспримерной моральной и материальной катастрофы, трагедии, превысившей и «Книгу Иова» и опыт Ницше и Достоевского, Шестов стал ближе пониманию переживших. Тогда, в 1950 году, была даже сделана попытка — в Граце — создать «Шестовское общество» по образцу «Кант» или «Ницше-Гезельшафт». Оно выпустило две небольшие книжки для своих членов и распалось через несколько лет. Оценить творчество Шестова в полной мере могут лишь те, у кого почва ушла из-под ног, — осужденные и отверженные, безутешные и отчаявшиеся до конца не только в псевдо-научных утопиях, но и во всякой вообще мудрости мира сего. Что же остается, и где в конце концов ключ к этой странной и страстной антифилософии?

Похоже, что писавшие о Шестове, как о религиозном мыслителе, упустили одно простое, но много объясняющее обстоятельство: никакая беспочвенность не может быть абсолютной, и никакой бунт не может уничтожить глубочайших исторических связей. Шестов греков и римлян читал в оригинале, а языка Библии не знал, но в своем типе мышления и жизнеощущения остался старозаветным евреем, как сто поколений его предков. Еврейское мессианское сознание он не только сохранил в себе, но и противопоставил всей «афинской» мудрости университетов и академий — так остро, как не могли бы это сделать неученые простые евреи, занимавшиеся коммерцией и ежедневной борьбой за существование, — а между тем любой, самый бесхитростный из них, из глухого местечка, понял и принял бы сразу этот протест против недолжности и безысходности мира, против очевидности, которая неправа и которой противопоставалась вера в то, что Богу все возможно. Это отклонение всех умственных роскошей и изощренностей, всех великолепий западной и всякой цивилизации во имя «Бога Авраама, Исаака и Иакова» — эхо которого звучит, кстати, и у другого русского еврея, М. О. Гершензона, в «Переписке из двух углов» — есть историческая традиция беспочвенного народа, привыкшего стоять лицом к лицу с Богом. Автор «Апофеоза беспочвенности», «Афин и Иерусалима», «Власти ключей» писал свое имя Шестов, а верил как Шварцман, как деды и предки верили.

В этом секрет его силы и тайный источник его вдохновения и непримиримости — ныне, быть может, в исторической

перспективе, более близких и понятных поколению, пережившему ужасы гитлеризма и сталинизма.

Он любил давать своим произведениям патетические названия — «В фаларийском быке», «Скованный Парменид». Для характеристики творчества Шестова в целом подошло бы название «В газовой камере». Он видел все человечество в положении загнанных в камеру смерти и отказывался принять реальность газовой камеры. Великая борьба Шестова была борьбой против реальности газовой камеры, — и единственным местом, где его антифилософия подходит к условиям места и положению человека, могла бы быть газовая камера, — если бы заключенные в ней опозоренные и замученные люди еще были в состоянии мыслить. Мы, живые, об этом ничего не знаем. Мы не знаем, о чем думали, что чувствовали жертвы в ожидании смерти, когда закрывались за ними наглухо двери камеры, и оставалась только надежда на чудо, на нереальность того, что с ними делают. — «Богу все возможно», — даже и то, что все это окажется сном и неправдой. Если это «экзистенциализм», — то в довольно своеобразном, еврейском, библейском варианте: *de profundis clamavi*.

Мы, познавшие и прошедшие ужасы, до которых Шестов, к счастью своему, не дожил, не можем принять ни шестовского отрицания разума, ни его представления о всемогущем, якобы, разуме, налагающем пути и обессиливающем человека. Мы знаем, на какое чудовище Абсурда восстала свободная мысль человека, единственное оружие его в борьбе с темными силами. Ожидание чуда не есть философия, не есть даже вера! ибо можно ждать чуда, не веря в него, единственно в силу невыносимости того, что происходит с человеком. Так ждали в газовой камере верующие и неверующие, что случится то, что превышает человеческий разум. «Великая борьба» философии для нас не заключается в одном писании книг, истина, которую ищет философия, поверяется делом. Мы не можем проповедовать «своеволия», как делал Шестов, писавший в догитлеровскую эпоху. Не разум, а неразумие, пренебрежение «интеллектом» и своеволие привели к газовым камерам и насилию над человеком. Нет ничего опаснее провозглашения Абсурда в качестве путеводной звезды — мы видели и ныне видим в наши дни снова и снова, как легко поддается человек соблазну Абсурда. Мы стали скромнее в своих притязаниях и осторожнее

в своих отрицаниях. Не импонирует вера, не поверяемая разумом, и не импонирует разум, лишенный меры своих сил.

Все еще остается в силе пушкинский призыв:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.

Сила и значение Льва Шестова в том, что он ставит человека на перепутье между экстатическим, иррациональным импульсом многих «ложных мудростей» и солнцем бессмертным ума. Приходится нам философствовать не в отвлечении от реальностей жизни, а под угрозой и в обличии врага. Умерли ли те, заключенные в газовые камеры, или выход открылся им чудом? Ответить на этот вопрос не поможет «Книга Иова». Если весь мир — «мрачное и страшное подземелье» и «Богу все возможно», то тут, действительно, никакая философия не поможет, и остается плач истязуемых и надежда на чудо, — в газовой камере. Но если мы хотим разрушить газовые камеры и не допустить до положения, когда ничего не остается, кроме вопля истязуемых к Богу, — то без «солнца бессмертного ума» не обойтись.

Юлий Марголин

КРУПСКАЯ ЧИСТИТ БИБЛИОТЕКИ...

«Что с нами сделалось? Как мы могли поддаться? И — чему больше? Идолам рынка? Идолам театра? Ну, хорошо — я маленький человек, но Надежда Константиновна Крупская? Что ж она — не понимала, не видела? Почему она не возвысила голос?»

*Александр Солженицын,
«Раковый корпус».*

8 ноября 1923 года Максим Горький писал из Сорренто находившемуся тогда в Лондоне Владиславу Ходасевичу, своему сотруднику по редакционно-издательской работе:

«Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что... в России Надеждой Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

Сверх строки мною вписано «будто бы» — тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Мы получили эту статью от Бертрама Д. Вульфа по-английски. Даем ее в переводе с некоторыми сокращениями. Все цитаты из документов даны по русским оригиналам (с фотостатов). Мы полагаем весьма уместным появление ее в год «празднования» 100-летия со дня рождения Ленина. Бертрам Вульф — известный американский публицист и специалист по истории СССР. По-английски его статья появилась в № 72 лондонского журнала «Сёрвей». РЕД.

Знали бы Вы, дорогой В. Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!»

Письмо это представляется любопытным, но и написанным неспроста. В нем обнаруживается горьковская «рисовка», умение поставить «пьесу», в которой роли распределены между разными аспектами его духовного «я». Ведь за два месяца до того, как написано это письмо Ходасевичу, и в котором говорится о «вероятно» существующем циркуляре Крупской, у Горького на столе был подлинный текст этого циркуляра. Больше того, это был не первый, а уже второй такой приказ, предписывающий широкое изъятие книг из библиотек, рассчитанных на обслуживание широких масс населения. Ведь циркуляр этот начинается следующими словами: «Еще в 1920-ом году Политико-Просветительным Отделом Наркомпроса разослана была на места инструкция о пересмотре каталогов и изъятии устаревшей литературы из общественных библиотек.

Однако, до сих пор доклады Политпросветов, за редким исключением, совершенно не упоминали о работе по просмотру и изъятию книг из библиотек, и в некоторых губерниях потребовалось вмешательство ГПУ, чтобы работа по изъятию началась».

По существу дела, тот циркуляр Крупской, на который ссылается Горький, был одним из трех ее циркуляров. Первый из них, относящийся к концу 1920-го года, мне не удалось разыскать. Мне представляется особенно досадной эта моя неудача в связи с нижеследующим. Ведь в 1920-ом году Ленин был полностью у руля управления государством, и он старался осуществлять личное наблюдение за всем тем, что предпринималось во имя диктатуры пролетариата. В то время Крупская могла проконсультироваться с Лениным по любому неясному ей вопросу, касающемуся изъятия книг из общественных библиотек.

Однако, вот передо мной фотокопия второго циркуляра Крупской, разосланного весной 1923-го года; вот статья Крупской в «Правде» от 9-го апреля 1924-го года, в которой содержится попытка ответить на критику из заграницы (и, конечно, — не только из заграницы: ведь такие люди как Луначарский, ее непосредственный начальник по Наркомату просвещения, не могли не высказывать своих сомнений по этому вопросу); вот, наконец, фотокопия третьего циркуляра, подписанного

Н. К. Крупской и помещенного в «Красном библиотекаре» (в номере 1-ом за 1924-ый год).

Нужно заметить, что по поводу циркуляра Крупской от 1923-го года, по крайней мере некоторых его сторон, происходила, повидимому, и внутри партии серьезная дискуссия. Очевидно, результатом такого рода критики и была статья Крупской от 9-го апреля 1924-го года. В статье говорится об «огрехах», допущенных в этом деле возглавлявшимся ею Главполитпросветом.

Первый из «огрехов», согласно статье Крупской, это включение в один из сборников библиотечного отдела Главполитпросвета статьи А. А. Покровского (Покровский был одним из беспартийных помощников Крупской по работе в библиотеках). Н. К. Крупская приводит как глубоко ошибочную следующую цитату из статьи Покровского по вопросу религии: «Религия, которая вполне свободна от суеверий насчет вмешательства высших сил в дела нашего мира, которая не ставит нигде преград или капканов для науки, которая признает принципиально весь реальный мир познаваемым, если «не до конца», то «до бесконечности», — такая религия (если можно назвать ее религией), действительно для нас не враг, и борьба с ней не есть задача для наших библиотек».

Крупская пишет: «Тут А. А. Покровский жестоко ошибается. Такая религия не менее опасна, чем всякая другая, она так же затемняет сознание людей, как и всякая другая религия... А то, что эта новая религия лучше «втирает очки»... это делает ее еще более опасной...»

В этих словах Крупской легко уловить эхо тех взглядов Ленина, которые Ленин в ноябре 1913-го года высказал в известном письме к Горькому, письме, написанном под диктовку Лениной самой Н. К. Крупской. В письме этом Ленин писал, что предпочел бы иметь дело с грубым попом, «совращающим девочек», так как «разоблачить» такого попа легче, чем священника, не исповедующего никакой определенной «грубой» религии. (Самому Горькому приписывались обвинения в «богостроительстве» и... «в идеологическом труположестве»).

Другой «огрех» признается Н. К. Крупской с более серьезными оговорками. Крупская снова утверждает, что общественные библиотеки содержали слишком много лишних и вредных

книг. Книги эти, по словам Крупской, были: «нравоучительные беседы, божественные книжки архичерносотенного характера (употребление «архи» для образования превосходной степени особенно типично для стиля Ленина. Б. В.)... монархический вздор, патриотическая литература времен войны, агитационная литература, написанная на злобу дня 17-го года — о пользе Учредительного Собрания и т. п.... литература с разъяснениями декретов и законов, давно отживших свой век...»

Крупская снова отстаивает правильность своего циркуляра, предписывающего изъятие подобного рода литературы с полок библиотек, обслуживающих массового читателя. Сделать это нужно было «в их собственных интересах».

«В циркуляре никакой промашки, никакого «огреха» нет. Но «огрех» все же был. К циркуляру приложили чрезвычайно неудачный список книг, составленный комиссией по просмотру литературы, который был приложен к подписанному мною циркуляру без моего ведома, и как только я увидала этот список, он тотчас же был аннулирован.

Почему этот список был неудачен? Во-первых, он бил мимо цели. В нем говорилось, что из массовых библиотек надо изъять Платона, Канта, Маха, вообще идеалистов. Философы-идеалисты — народ вредный, что и говорить. Но наличие их в библиотеке для крестьянина или рабочего-массовика нисколько не вредно, оно безразлично: массовик читать Канта не станет. Таким образом, «список» фактически ни в чем не изменял дела. Гораздо хуже было то, что список изымаемых книг из отдела «религия» был крайне ограничен».

Я здесь привел слова Крупской, женщины, обладавшей огромной властью в деле народного просвещения и я невольно вспомнил о М. В. Ломоносове, рожденном в глухом рыбацком поселке, самостоятельным чтением развившем в себе ум энциклопедической глубины, о гении в науке, гении в философии и литературе; о его примере для последовавших за ним поколений русской интеллигенции. Вспомнил я и о Чехове, внуке крепостного, о Клюеве, Есенине, Клычкове, Орешине и др. Вспомнил я о Тарасе Шевченко, выкупленном из крепостной зависимости, основателе украинской литературы и, в известном смысле, украинской нации. На память мне пришла и элегия Грея, «Элегия, написанная на сельском кладбище», в которой говорится о «деревенских Хемпденах», о никому неизвестных

«молчаливых Милтонах». В элегии говорится о том, что гении могут родиться в любой самой бедной и самой глухой деревне, если только «знания, накопленные временем», станут доступны каждому. В свою очередь «Элегия» Грея напомнила мне и Ломоносова:

И будет собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Потом, вспоминая русскую историю, вспомнил я и о разночинцах. О том, как появились они на русской общественной арене из самых глубин русского общества. Они были детьми действительно никому неведомых крепостных людей, бедных сельских священников, странных людей, раскольников. Как жадно тянулись они к знанию, к культуре, бывшей до этого монополией дворянства!

Вспомнил я и о том, как вырос русский театр. О крепостных труппах, о Щепкине, бывшем крепостным до 33 лет, а потом — одним из величайших актеров русской сцены. Вспомнил о Сытине, вышедшем из самых низов общества и ставшем крупнейшим книгоиздателем, сделавшем целью своей донести книгу до самых широких масс русского народа. Книги этого Сытина тоже были в дальнейшем изъяты из библиотек, согласно тому же циркуляру, как издателя, «не заслуживающего доверия».

И наконец подумал я и о ближайшем друге и сотруднике Сытина — Максиме Горьком, тоже поднявшемся «со дна жизни». Ведь Горький сформировался под прямым влиянием церковно-славянского языка. Евангелия, сказок, рассказанных ему его неграмотной бабушкой. Прежде, чем стать большим писателем, Горький был большим и благодарным читателем.

В конце концов вспомнилась мне и биография самой Надежды Константиновны Крупской. До 20 лет она была глубоко верующей, считала своим долгом обучать грамоте неграмотных. Но Ленин высмеял ее усердие в обучении грамоте народа. И Ленин же внушил ей новый взгляд на такого философа как Платон: «философы-идеалисты — народ вредный, что и говорить!»

Подумалось мне и о моей собственной судьбе. Я родился в трущобах Бруклина. Ни мать, ни отец, ни старшие брат и

сестра не получили образования даже в объеме средней школы. Если бы не великодушные Эндрю Карнеги, пожертвовавшего огромное состояние на общественные библиотеки (он следил за тем, чтобы библиотека была в каждом из районов-трущоб, в которых ему самому пришлось жить), если бы не широкий кругозор и либерализм библиотечных работников, не исключавших, конечно, из книжных списков ни Платона, ни Аристотеля, ни Герберта Спенсера, мне никогда было бы не выработать в себе литературного стиля, никогда не добиться диплома высшей школы. К счастью для меня, ни жители Бруклина, платившие дополнительные налоги за содержание общественных библиотек, ни Карнеги, на чьи деньги они были построены, ни библиотечные работники, собиравшие книги, не разделяли того взгляда Н. К. Крупской, что книги эти «безразличны» для выходцев из беднейших слоев населения.

Были в списке, раскритикованном Крупской, и впоследствии отмененном ею, и другие «неудачные» аспекты. Один из них — то, что большинство авторов книг, подлежащих изъятию, названо было только по фамилии, без имени и отчества. Поэтому можно представить себе хаос, в котором происходило изъятие книг, в особенности если принять во внимание имевшийся часто переизбыток революционного усердия!

Вместе с тем в список были включены названия таких книг, как, например, «История материализма» Ланге. А весь список запрещаемых писателей включал такие имена, как выдающийся русский религиозный философ Соловьев, философы Лосский, Декарт, Спенсер, Шопенгауэр, Ницше, Уильям Джеймс. Читая список, создавалось представление, что даже разделение Лениным всех философов на идеалистов и материалистов не было достаточным критерием.

Под разными рубриками в списке числились как вредные — Тэн, Метерлинк, Нордау, Гессен (указывалось и название его книги: «О неприкосновенности личности»), Лев Толстой и Кропоткин. И только по поводу последних двух Крупская сочла необходимым высказаться особо. Причем и в этом случае замечания ее оказываются несколько двусмысленными. В своей статье в «Правде» Н. К. Крупская писала:

«Недопустимо было запрещение некоторых произведений Л. Толстого и Кропоткина. Конечно, мировоззрение Л. Толстого с его верой в Бога, верой в провидение и т. п. — не принадле-

жит к числу тех, которые надо делать распространенными. Замыкание в себя, сосредоточение всех сил на личном совершенствовании, непротивление злу, призыв не бороться с ним — все это диаметрально противоположно тому, к чему коммунисты зовут массы. И эти призывы Л. Толстого особенно вредны именно в силу его совершенно исключительного таланта. Однако, современный массовый читатель уже совершенно пропитан коллективистической психологией, слишком много боролся и потому проповедь Л. Толстого не страшна, она будет лишь толкать мысль. Не страшны и анархические тенденции Кропоткина. Жизнь показывает на каждом шагу, какая громадная сила — организация».

Теперь дело читателя решать, что это такое — оправдание запрещенных или критика включения Толстого и Кропоткина в списки запрещенных авторов; и не должны ли библиотечные полки с особым усердием очищаться от неподходящих книг, написанных талантливо, и великими писателями?...

Однако, поскольку Крупская «отменила» список изымаемой из библиотек литературы, составленный ее подчиненными и, якобы, без ее ведома приложенный к ее второму циркуляру по этому вопросу, интересно обратиться к следующему, третьему циркуляру. Циркуляр этот подписан: — Председатель Главполитпросвета Н. Ульянова, зав. Главлитом П. Лебедев-Полянский, председатель ЦБК М. Смушкова. Тут списки изымаемых книг не столь обширны, как во втором циркуляре. Они ограничиваются 55-ю писателями-беллетристами, 118-ю детскими писателями и 51 писателем в области истории и исторических романов. Есть, однако, примечание, в котором говорится, что дополнительные списки по каждому из перечисленных разделов, а также по другим разделам, будут опубликованы позднее. Первый список был опубликован в первом номере «Красного библиотекаря» (за 1924-ый год). За ним последовало еще три приложения. Списки на этот раз были составлены более тщательно и грамотно. Давались полные имена авторов и тех произведений, которые подлежали изъятию. Нет сомнения, что списки и циркуляр были на этот раз более связаны; и получили одобрение Н. К. Крупской.

Циркуляр призывает к дальнейшей интенсификации «чистки» библиотек, снова напоминая, что дело это, начатое еще в 1920-ом году, все еще затягивается.

Однако, вместе с этим в циркуляре заметно желание предупредить против недоразумений, вызванных чрезмерно рьяными исполнителями. Циркуляр, в частности, подчеркивает, что книги, опубликованные советскими государственными и партийными издательствами, как правило, не подлежат изъятию. Книги же по философии, истории философии, работы отдельных философов, в тех случаях, когда они «не-марксистского характера», должны изыматься из библиотек для массового читателя, но оставаться на полках крупных библиотек.

Что касается книг религиозного содержания, то, хотя они, как правило, подлежали изъятию согласно всем трем циркулярам, все же в третьем циркуляре, повидимому, под влиянием Луначарского, исключение было сделано (даже для массовых библиотек) для фундаментальных книг — Евангелия, Библии, Корана...

Интересно, что уже на той стадии можно проследить попытку затемнить в народной памяти утопические обещания и ожидания первых лет революции, первых лет Ленина. В циркуляре специально указывается, что должны быть изъяты «устаревшие» материалы пропагандистского и справочного характера по тем вопросам, по которым политика партии изменилась (например, по вопросу о свободной торговле, о распределении продовольствия, по земельному вопросу и т. п.). Таким образом, в памяти масс, почти как по Орвеллу, должен был образоваться «провал» на месте периода военного коммунизма...

После ознакомления с тремя приложениями к циркуляру Крупской я снова обратился к «Красному библиотекарю», надеясь разыскать в нем обещанные дополнительные списки запрашиваемых книг в разных областях знания. Вскоре я убедился, что таких списков больше опубликовано не было. Повлияла ли на авторов критика, высказывавшаяся по поводу предыдущих списков? Или просто такие списки стали рассылаться в библиотеки непосредственно по почте?

«Красный библиотекарь» ни в 1925-ом, ни в 1926-ом году не возвращается к этому вопросу. (А ведь изъятие книг согласно циркуляру должно было быть закончено к 1-ому декабря 1924-го года). От частных лиц, однако, мне стало достоверно известно, что такие списки продолжали составляться и продолжали поступать в библиотеки.

Несомненно, в партийных инстанциях принимались по

этому вопросу соответствующие решения. Несомненно и то, что изъятие книг, хотя и не явное, все время продолжалось. При И. В. Сталине оно приобрело характер лавины, смывающей на своем пути все живое. А на месте живой истории Сталиным создавались искусственные версии прошлого, настоящего и будущего.

Все же в 1926-ом году в печати появлялись еще статьи и фельетоны, направленные против «легкомыслия» в деле изъятия книг из общественных библиотек. Одна такая пространная статья написана М. Смушковой, соавтором «циркуляра», и помещена в журнале «Коммунистическое просвещение» (в номере 4-ом за 1926-ой год). Другая принадлежит перу известного фельетониста Г. Рыклина и напечатана в «Известиях» от 25-го февраля 1926-го года. Фельетон Г. Рыклина озаглавлен «Амок». Слово «амок» означает тропическую болезнь, сопровождающуюся внезапно наступающим бешенством. Оно позаимствовано Г. Рыклиным у Стефана Цвейга. Рыклин пишет, что в подобного рода бешенство впадали и некоторые из наиболее рьяных гонителей книг:

«В одной библиотеке застигнута книга И. И. Степанова-Скворцова «Очерки религиозных верований». Книга изъята. Мотивировка с «идеологией».

— Религия — опиум для народа, и нечего тут размалевывать.

— Амок!

Захвачены «Основные вопросы марксизма» Плеханова, «Этика и материалистическое понимание истории» Каутского. Под замок! Резолюция кратка, но говорит о многом:

Замешаны в соглашательстве.

Обнаружена «Эрфуртская программа». Вот этого-то и искали! Вычеркнуть из обращения! Почему?

— Автор не указан на обложке, анонимное сочинение.

— Амок, товарищи!

После долгих трудов комиссия разыскала книгу Бебеля «Шарль Фурье и его учение». Инспектор Окроно мотивировал свой приказ об изъятии этой книги вполне ясно:

— Никаких учений, кроме школ окроно, на территории округа не разрешается.

— Амок! Спасайся, кто может !

Этот же инспектор арестовал книгу тов. Покровского.

Но довольно! Довольно нам и этого! Вы думаете, что очень весело писать о людях, объевшихся белены?

Мы выполняем грустную, но нужную обязанность. Мы предупреждаем:

— Амок! Видите бежит! Преградите дорогу!

Последнее замечание: там, на тропиках, человек, одержимый амоком, бежит и ни о чем не думает. У нас же он думает. Думает, что делает дело. Думает, что приносит пользу. Думает...

Специальным декретом запретить бы всем подобным думать. Без думы они во сто крат безопасней... С думой — амок!»

Мы заканчиваем нашу статью этим предупреждением местным работникам, пытавшимся выполнять циркуляры Крупской с излишним усердием. Однако, как мы уже заметили выше, дело это вместо Крупской взял в свои руки человек гораздо более могущественный — Иосиф Сталин.

Под его руками изъятие книг, в особенности книг бывших коммунистов, постепенно уничтоженных им, превратилось в непрерывную и огромного масштаба операцию. «Истории партии», например, изымались из обращения с той же быстротой и легкостью, как заядлый курильщик бросает выкуренные папиросы, зажигая каждую последующую от предыдущей.

Когда мы слышим ностальгические призывы о «возвращении к ленинским нормам», когда официально инспирированный «культ предка» достигает своей кульминации к столетней годовщине со дня рождения В. И. Ленина, мы не можем не вспомнить о первом циркуляре 1920-го года, изданном в эпоху Ленина. О циркуляре, который на первых порах было так трудно осуществить, что потребовалось «вмешательство органов ГПУ».

Это странное дерево «незнания» посажено было Крупской по совету и под наблюдением Ленина. После смерти Ленина Крупская продолжала растить его «в духе Ленина». Сталин и его приспешники поставили это дерево в центре Эдема. Цветет оно и поныне.

Бертрам Д. Вульф

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ТИМАШЕВ

Девятого марта в Нью Йорке после продолжительной и тяжелой болезни скончался выдающийся русский ученый — социолог и юрист, профессор Николай Сергеевич Тимашев. Это большая потеря не только для русского зарубежья, но и для мировой науки. Для «Нового Журнала» смерть Н. С. особая потеря, ибо он был постоянным сотрудником, был долгое время председателем корпорации «Н. Ж.» и членом редколлегии.

Шесть лет тому назад — в 1964 году — когда в русском зарубежье праздновалось пятидесятилетие научной деятельности Н. С., на это празднование откликнулись многие иностранные научные общества и отдельные ученые, социологи и юристы. Н. С. Тимашев был прежде всего социолог и юрист, но в международной научной литературе он занял также видное место, как специалист по многим вопросам, связанным с внутренней жизнью в Советском Союзе и с его внешней политикой.

Остановлюсь на биографических датах в жизни Николая Сергеевича. Н. С. Тимашев происходил из старой дворянской семьи. Отец его был министром торговли и промышленности при последнем царе. Родился Н. С. в Петербурге и там окончил классическую гимназию. Высшее образование получил в Страсбургском университете в Германии и в Александровском лицее в Петербурге. Свою магистерскую диссертацию — «Условное осуждение» — Тимашев защитил в Петербургском университете в 1910 году. А звание доктора прав получил в том же университете как раз перед первой мировой войной.

В 1916 году Н. С. Тимашев начал преподавать право в Петербургском Политехническом Институте и опубликовал свою вторую книгу «Преступления против религии». После революции 1917 года Н. С. стал деканом этого института и профессором по кафедре социологии. Эту научную работу он

вел до 1921 года, когда из-за преследований по делу о, так называемом, «таганцевском заговоре» Тимашеву пришлось покинуть Россию.

В эмиграции работа Н. С. была чрезвычайно разностороння. Он работает тут и как ученый-социолог, и как журналист, и как редактор, и как лектор. В 1923 году Н. С. был приглашен в Пражский университет, как профессор. Там же он стал работать в известном Русском Экономическом Семинаре проф. С. Н. Прокоповича. За эти годы Н. С. опубликовал следующие книги: «Конституционное право Сов. Союза», «Политическая и административная организация Сов. Союза» и «Уголовная процедура». В 1928 году Тимашев переехал в Париж, войдя в редакцию издававшейся там ежедневной русской газеты «Возрождение». В ней он, главным образом, писал статьи по вопросам внутренней политики СССР. Одновременно с этой журналистической работой Н. С. был профессором Франко-Русского Института и Славянского Института в Сорбонне. В эти годы Н. С. много ездил по Европе с чтением лекций в разных университетах (в Базеле, Цюрихе, Бирмингеме и др.).

В 1932 году известный русский социолог Питирим Александрович Сорокин пригласил Н. С. Тимашева работать с ним в известном монументальном труде «Социальная и культурная динамика». В этой работе приняли участие около двадцати ученых Западной Европы и Америки. Сорокин жил в США, будучи профессором Харвардского университета. В 1936 году Н. С. Тимашев по приглашению Сорокина переехал в Америку, где сначала читал лекции в Харварде, а потом, с 1940 года, получил приглашение занять кафедру социологии в Фордамском университете в Нью Йорке, где он и преподавал до 1958 года, когда вышел в отставку со званием «профессор эмитус».

На годы, проведенные Н. С. в Нью Йорке, падает самая большая часть его научной работы. Кроме чтения лекций в Фордаме и в других американских и европейских университетах Н. С. за эти годы выпустил по-английски много научных трудов. Упомяну хотя бы некоторые — «Социология права», «Религия в Сов. России», «Сто лет условного осуждения, 1841-1941» (два тома), «Теория социологии: ее сущность и развитие», «Общая социология», «Социологический анализ»

и другие. Самой последней работой Н. С. была, вышедшая в 1962 году, «Социология Луиджи Стурцо», о которой проф. П. Сорокин писал: — «Если бы Луиджи Стурцо был жив, он несомненно приветствовал бы книгу проф. Тимашева, как великолепное воспроизведение его эмпирической системы социологии. Я даже сомневаюсь в том, чтобы сам Стурцо мог представить свою систему лучше или так же хорошо, как это сделал Тимашев».

Но, разумеется, в центре научной работы Н. С. стояла все-таки всегда тема России. Недаром большинство его трудов были связаны с внутренней жизнью в Сов. Союзе и с его внешней политикой. Здесь Н. С. проявил себя вдумчивым серьезным ученым, с мнением которого на Западе считались. Об этих работах Н. С. хорошую статью написал проф. Н. П. Полторацкий в «Н. Ж.» — «Проф. Тимашев о путях России» (кн. 84).

В частности, одной из тем, занимавших Тимашева была тема отношений России и Зап. Европы. В чем Россия похожа на Зап. Европу и чем от нее отличается? Является ли Россия частью Европы или она часть Азии? Разбирая эти вопросы, проф. Тимашев убедительно доказывал, что не только в петербургский период, но и в первые века русской истории основы цивилизации и культуры у России и Запада были одни и те же. Общей была христианская основа культурного развития.

Какова же была общая тенденция исторического развития России? — этот вопрос Н. С. ставил перед собой в своих трудах. Что представляла собой Россия накануне революции 1917 года и захвата власти большевиками? Была ли революция неизбежна и необходима?

Н. С. Тимашев считал, что в русской истории был целый ряд явлений, которые говорили о том, что России подготавлилось иное, демократическое, а не большевицкое будущее. В истории России он указывал и на вечевой строй Киевской Руси и на народоправство Новгорода и на казачью вольницу и на конституционные планы времен Александра I и Александра II, на успех и широкий размах русского земского и городского самоуправления, на свободное кооперативное движение, охватившие дореволюционную Россию, на судебный порядок, установившийся в России после реформ Александра II, в результате чего русский дореволюционный суд был в некоторых отношениях выше судов немецкого и французского. Указывал проф.

Тимашев и на историю освободительного движения, представителем которого была интеллигенция, и на непосредственную демократическую сущность крестьянской общины. Из всего этого анализа русской истории Тимашев делал вывод, что революция в России не была ни необходимой для прогресса страны, ни неизбежной, что трагедия России была в том, что во время страшного напряжения военных сил, когда страна была до крайности истощена, в ней вспыхнула революция — неожиданно для всех, включая и Ленина. Эти трагические условия и породили крушение всякого правопорядка и приход к власти демагогов, установивших над страной свою диктатуру.

Свои взгляды по вопросам советской действительности и русской истории Н. С. высказывал во множестве статей на страницах, как русских зарубежных изданий, так и иностранных. Больше всего статей Н. С. напечатал в «Новом Журнале».

Этот краткий некролог я закончу моими личными воспоминаниями о Н. С. В 1959 году Н. С. Тимашев был избран председателем корпорации «Н. Ж.» и вошел в состав редколлегии. Я несколько лет работал вместе с Н. С. и должен сказать, что помимо всех его качеств (большой эрудиции, живого интереса к журналу, его стараний сделать журнал возможно более интересным и вместе с тем серьезным органом русской мысли на Западе, помимо всего этого) — Н. С. обладал некоторыми чрезвычайно притягательными чертами характера. Этот большой ученый с международным именем и в жизни и в общении с людьми был необычайно скромн, удивительно тактичен со всеми, терпим ко всякому инакомыслию (за исключением большевизма и всяческого тоталитаризма). Н. С. был настоящим представителем той русской духовной элиты, которую уничтожила большевицкая диктатура. Тимашев был достойным представителем культурных традиций свободной России, был рыцарем права, закона и справедливости. Да будет легка ему чужая земля.

Роман Гуль

АРКАДИЙ ВИКТОРОВИЧ БЕЛИНКОВ

Труден подвижник для окружающих. С непрестанной, неотступной настойчивостью он нам напоминает: человеком не рождаются. Подвигом своим он нам доказывает: чтобы быть человеком, надо им стать.

Все это беспокоит любящих покой, вызывает у них раздражение — они неприязненно отворачиваются.

Все это тревожит «гуманистов», что привычно, опытно и добросовестно уничтожают людей, чтобы, конечно, спасти их, лишают жизнь смысла, чтобы, конечно, придать ей смысл. У этих он вызывает озлобление и даже праведный гнев. Он им сильно мешает делать дело. И они прилагают все свое усердие и весь свой незаурядный опыт, чтобы ликвидировать его...

Аркадий Викторович Белинков родился в 1921 году 29 сентября.

Учится в Литературном институте им. Горького при Союзе писателей СССР и в МГУ.

Война.

Первый роман — о пакте Гитлера и Сталина.

Арест.

Следствие, издевательства, пытки.

Приговор к расстрелу.

Владимирский политизолятор, 8 лет в лагерях.

Вторая и третья книга.

За два месяца до освобождения — второй срок, 25 лет.

Освобождение, 1956.

Первая книга после тюрьмы и лагерей — «Юрий Тынянов».

Публикация двух глав из новой книги — «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша».

Травля в печати, угроза нового ареста.

Открытое письмо в Союз писателей СССР.

Побег.

«Президенту Соединенных Штатов Америки.

Я прошу предоставить мне политическое убежище в Вашей стране.

Я прошу об этом, потому что всю свою жизнь искал свободу, но в Союзе Советских Социалистических Республик, где я родился, жил и писал, я мог лишь метаться среди решеток и камня застенка.

На пути к своему окончательному решению я искал независимости и свободы у себя на родине, и лишь невозможность найти их привела меня к тягчайшему выбору.

Этот выбор трагичен, потому что для писателя, живущего в языке своей страны, для политического писателя, существо-

вание в чужой стране, в чужом языке, в чужой истории тяжело безмерно. Даже в советском Уголовном кодексе, по которому меня судили за мои книги, изгнание предшествует смертной казни.

Всей своей жизнью, своими уничтоженными и изданными произведениями я связан с Россией, но лишь с той, с несколькими квадратными метрами той земли, которая сохранила достоинство, честь и жажду свободы.

Мое решение принято добровольно, без какого бы то ни было влияния страны, у которой я прошу политического убежища, и вызвано отвращением к тирании, которая приобретает все более омерзительное обличие в мире, где я родился и на языке которого я пишу.

В первый день свободы, 23 июня 1968 года,
Аркадий БЕЛИНКОВ».

Читает лекции по русской литературе в Йельском и Индианском университетах.

Выступления в различных университетах Америки, участие в международных конференциях, статьи, публикации.

Договор с издательством Деблдэй на трилогию — «Смерть поэта. Юрий Тынянов», «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша», «Судьба и книги Александра Солженицына».

Договор с издательством Мутон. Переговоры с издательствами Мондадори, Культура.

Несогласие. Уважение.

Письмо международному конгрессу ПЭН клубов — «Западная интеллигенция, советская оппозиция и свобода, которой угрожает смерть».

Операция на сердце.

14 мая, в 8 часов вечера, Аркадий Викторович умер в изгнании, на свободной и чужой для него земле.

Подвижничество Аркадия Викторовича не в том, что он испытал трудную судьбу. Его подвиг в том, что он сознательно **выбрал** себе трудную судьбу: «Я не невинно пострадавший...»

В своей речи о Солженицыне в Союзе писателей СССР он говорил: — «Александр Исаевич Солженицын догадался написать замечательные книги. Такие книги получают при сочетании двух качеств: таланта и смелости. Это необходимый мини-

мум, без которого в искусстве не получается ничего».

Аркадий Викторович писал в своих книгах правду о времени, в котором он жил, о близких, с которыми был связан своим трудным писательским ремеслом, и о врагах...

«Из всех условий существования поэта единственное, которым нельзя пренебречь, это правда, которую он обязан говорить обществу... Поэт говорит только правду. И ни пытки, ни казни, ни голод, ни страх, ни искушения, ни соблазны, ни кровь жены и детей, ни щепки, загоняемые под ногти, ни женщина, которую он любит и которая предает его, не в состоянии заставить поэта говорить неправду, льстить, лгать, клонить голову и славить тирана...»

В последний год жизни Аркадия Викторовича мучили упорные и все усиливающиеся приступы боли в груди.

Боль добивалась от него признания своей правоты. Твердила ему, что человеческая жизнь, в последнем итоге, сводится к бессмысленному страданию. Он все не соглашался. Превозмогая натиск бессмыслия, жил до конца осмысленной болью.

На мгновение, в пронизанное ликующим светом утро, внезапно сознаешь, что ушедший друг не вернется. Оцепенение. Боль подступает к горлу и добивается от нас признания...

Нельский университет

Вадим Ляпунов

ПОСМЕРТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В связи с резкой утечкой денежных средств из кассы Литфонда Союза писателей СССР, вызванной чрезвычайно частыми выплатами мне по временной нетрудоспособности, было вынесено решение, по которому специально выделенные члены Правления СП СССР в количестве 213 человек должны были утром и вечером приходить ко мне домой (Москва Д-22, Малая Грузинская, 31, кв. 69) и громко кричать:

Какой у вас сегодня прекрасный цвет лица!

(Два раза).

Чтобы не погибнуть в изнурительной борьбе, я бросился искать какой-нибудь исторический случай, какое-нибудь такое замечательное историческое явление, уже в свое время сразившее людей, заставившее их смириться с тем, что другой человек может быть действительно болен.

Перебирая в спецхране Ленинской библиотеки изречения

прогрессивных халдейских материалистов, высеченные на плитах песчаника размером 86 x 111 см, 24 x 1268 см и 126 x 127,5 см, я вдруг вспомнил один исторический эпизод, одно замечательное историческое явление, происшедшее в более позднюю эпоху. Этот эпизод показался мне до такой степени важным как орудие борьбы, что я сразу же его записал и дал ему такое название:

ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

— Какой у тебя сегодня прекрасный цвет лица, — сказал известный советский писатель Виктор Борисович Шкловский, входя в кабинет выдающегося советского режиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна.

— У нас, сердечников, это бывает, — сказал Сергей Михайлович, и, отвернувшись к стене, умер.

А. Белинков

БИБЛИОГРАФИЯ

GEORGE VERNADSKY. *A History of Russia*. Vol. V. The Tsardom of Moscow. 1547-1682. Parts I and II. Yale University Press. New Haven and London. 1969, pp. 873.

Во время второй мировой войны, в 1943 году, в издательстве Йель Университи Пресс вышел обширный труд профессора русской истории Йельского университета Георгия Владимировича Вернадского, в котором Г. В. исследовал самое раннее прошлое русской земли, до создания первого русского государства. Это был первый том монументальной десятитомной истории России, задуманной Георгием Владимировичем совместно с его другом, Мих. Мих. Карповичем, бывшим тогда профессором в Гарварде. Чрезвычайная перегруженность педагогической работой, общественная деятельность, редактирование «Нового Журнала» и, к сожалению, преждевременная смерть, помешали Михаилу Михайловичу приступить к работе над теми томами, которые он должен был написать и которые, по первоначальному замыслу, должны были охватывать время С.-Петербургской империи. Зато Георгий Владимирович не оставил работу над до-Петровским периодом и приблизительно каждые пять лет публиковал новый том истории русского Средневековья.

В 1948 году вышла его «Киевская Русь», в 1953 году «Монголы и Россия», в 1959 году был опубликован четвертый том: «Россия накануне нового времени», охватывавший эпоху Ивана III, Василия III и ранние годы Ивана IV (1462-1547). Наконец в самом конце прошлого, 1969 года, вышел в двух книгах последний пятый том, посвященный 1547-1682 годам: периоду от фактического прихода к власти юного Ивана IV до вступления на престол Петра I, т. е. полностью всей эпохе Московского Царства.

Для проф. Г. Вернадского это время не только «Московского Царства», но и время имперской евразийской экспансии России. В 1553 году пала преграждавшая выход на Урал и в Азию Казань, через четверть века русские глубоко проникли в Сибирь, а в середине семнадцатого века они уже «стояли на берегу Берингова пролива отделившего Азию от Америки».

С тех пор русская экспансия в Азии значительно замедлилась, а Нерчинский договор 1689 года с Китаем даже несколько отбросил русскую границу назад, на запад, и, на почти два столетия, отрезал

ее от удобных, незамерзающих гаваней Тихого океана. Таким образом за столетие царства Московского основное дело русской имперской евразийской экспансии было в значительной степени завершено.

Как и предыдущие тома проф. Г. Вернадского, так и этот пятый том истории России организован по преимуществу по хронологической схеме, а предлагаемый материал исключительно удачно расположен и ясно и просто преподнесен читателю и ученому. В отличие от многих современных американских историков России, которые нередко имеют пристрастие к абстрактным рассуждениям, широким, но далеко не всегда основательным выводам и даже «открытиям», и засорению своих сочинений специальным социологическим, часто неясным жаргоном, Георгий Владимирович предпочитает писать так, чтобы сами факты говорили за себя, текст легко читался и выводы могли бы быть сделаны самим читателем. Но, конечно, это не исключает его собственных заключений и истолкований исторического процесса, истолкований обычно очень конкретных и всегда ясных. В свою очередь его хронологическая схема изложения, построенная по преимуществу на политической истории, позволяет ему посвятить достаточное количество страниц для освещения процесса культурного и социального развития страны.

Первая книга тома начинается с главы (вернее части, так как в ней 223 страницы!), название которой мне кажется правильнее всего перевести как — «Основание русской евразийской империи» и в которой он трактует эпоху Грозного и Годунова. Вторая глава отведена «Смутному Времени». Большая часть второй половины этой первой книги тома посвящена периоду «Восстановления» социального и хозяйственного порядка после передраг опричины и самозванщины. Наконец четвертая, заключительная, глава первой книги отведена «Украинской революции» — восстанию казаков и крестьян Малой Руси (1648-1654) до Переяславльского договора включительно.

Вторая книга тома охватывает тот период царствования Алексея Михайловича, когда молодой царь выйдя из-под опеки сначала Морозова, а затем Никона, сам «придал бег державный рулю родного корабля». В ней глава V посвящена борьбе с Речью Посполитой и шведами, и конфликту царя с опрометчивым и властным патриархом Никоном. VI глава — «Россия между Западом и Востоком, 1667-1682» рассматривает вопросы культурной ориентации, дипломатических сношений с границей, организации новых зауральских земель и раскола. Название последней главы «Ритм истории и культурные перспективы» само указывает на ее заключительное и особенно интересное содержание.

Охват вопросов, рассматриваемых проф. Г. Вернадским в этом томе, настолько обширен, что рецензент вынужден остановиться лишь на нескольких из них, которые кажутся ему наиболее важными

или спорными. Рассматривая через призму скрупулезного анализа эпоху Грозного, опричины и Ливонской войны Г. В., как всегда, крайне осторожен и даже скуп в своих суждениях. Вместо расточения похвал и осуждений он предпочитает развернуть четкую, насыщенную материалом первоисточников и результатами исследований осторожных историков, картину событий. Но, конечно, уже сам подбор материала и суждений других ученых определяет позицию автора. В таком освещении Иван IV несомненно представляется трагическим и негативным явлением шестнадцатого века. Причины опричины, о которых спор среди ученых продолжается до сих пор, по мнению Г. В., были очень разнообразны. Выдвижение служилого дворянства и вырождение удельной системы сделало ее возможной; маниакальная подозрительность, моральная разнузданность и развившаяся в результате глубоко несчастного детства жестокость царя сделали ее неизбежной. Жестокость вела к оппозиции, которая в свою очередь приводила к еще более крутому росту террора. Перечитывая страницы, посвященные этим несчастным годам, невольно вспоминаешь наше недавнее прошлое: ужасы ежовщины и зверства СС-овцев. Цели всех этих террористических режимов были идентичны — таковыми же были и результаты: неудачи, уничтожение враждебных общественных групп, часто истребление населения, моральный упадок. Правда, немецкие тираны были несколько отличны от русских: вместо своего народа они старались, по преимуществу, истребить другие, но это не меняет морального существа их политики.

Хотя автор «Московского царства» полагает, что опрличине не удалось выкорчевать власть княжат и бояр, тем не менее можно заметить, что уже в семнадцатом веке старые роды почти что не играют ведущей политической роли. Уже при Михаиле вместо бывших удельных слуг и князей в руководители страны выдвигаются малородовитые царские шурыя и дядья, предки которых почти что никогда и не приближались к Боярской Думе. Последние остатки удельной системы, и наследственного влияния на власть почти что совершенно исчезают. Правда, при этом исчез и слой общества, из которого страна нередко черпала талантливых слуг государства.

Еще строже, чем к внутренней политике Ивана IV проф. Г. Вернадский относится к его внешней политике, и в этом вопросе автор этих строк не может с ним согласиться. По мнению Г. В., Ивану IV надо было думать не о завоевании Ливонии, и окне в Европу, а об элиминировании угрозы из степи, разгроме крымских татар. Нам кажется, что в середине шестнадцатого века Москва не могла и надеяться разгромить Крым и остановить навсегда набеги кочевников. Граница «Дикого Поля» ведь была всего в 100-150 верстах от Москвы, а от русских форпостов до Крыма было около 1000 верст, одолеть которые российская пехота в то время никак не могла. Безуспешность

попыток В. В. Голицына, трудности и неудачи Петра и Миниха даже через сто-полтораста лет после смерти Грозного показали всю тяжесть войны в маловодном и безлюдном Диком Поле. Случайные и очень частичные успехи Дм. Вишневецкого, Ржевского и Данилы Адашева были вовсе не убедительны для организации серьезной войны с Бахчисараем. Даже успешный поход к Крыму не привел бы к разгрому трудно уязвимых кочевников-степняков, но зато мог привести к серьезной и опасной войне с Турцией, самой могущественной империей того века, границы которой включали и Крым и все северное Причерноморье. Наоборот, Ливония лежала под боком и успех ливонской войны мог привести за полтораста лет до полтавской победы к концу изоляции России от Запада, к поднятию технологического, экономического и культурного уровня страны.

Не будучи искушенными в европейской дипломатической игре Иван IV и его советники никак не могли ожидать, что даже такая скромная попытка России подышать воздухом Запада приведет к первой большой антирусской коалиции, которая так ясно показала, что ни одно европейское государство не было расположено терпеть намерения русских вырваться из душившей их хозяйственной и духовной блокады. А сам Ливонский орден действительно был тогда так слаб, что развалился уже при первых же ударах войск «москвитов». Но вопреки этим начальным успехам, война в которой врагами России оказались и могущественное тогда Польско-Литовское государство и Швеция, а косвенно и Германия, приняла несчастный для Ивана IV и страны оборот. Поэтому проф. Г. Вернадский, к сожалению, прав когда подводя итоги царствованию он говорит, что «мероприятия Ивана, как во внутренних делах, так и во внешней политике закончились неудачей».

Очень значительное количество страниц Г. В. отводит прошлому Украины и соединению ее с Московской Русью. Должен признаться, что несмотря на укоренившийся в печати обычай применять этот термин «Украина» и для прошлых столетий истории южнорусских областей, он все же звучит для меня крайне странно. До начала этого века, слово Украина, было применяемо весьма редко, и даже М. Грушевский в начале своей карьеры должен был пояснять его, прибавляя к нему слово Русь, а во времена запорожцев и Хмельницкого его не только никто не применял для названия Малой Руси, но и само слово было просто именем нарицательным, так как украин в то время было не меньше десятка — и Новгородская, и Сибирская, и Польская (для обозначения границы Руси по Дикому Полю) и др. Поэтому и в книге Г. В., посвященной XVI-XVII вв., слово Украина мне кажется вряд ли более подходящим чем, скажем, например, слово Ирак для обозначения древнего Вавилона. Не вполне согласен я и с характери-

стикой Богдана Хмельницкого, как динамичного государственного деятеля и способного дипломата. Хмельницкий был случайным и весьма нерешительным вождем движения, которое развилось в результате польского угнетения крестьян и казаков Малой Руси, как тогда называлась нынешняя Украина. Его колебания в борьбе с поляками, многочисленные, но безуспешные попытки договориться с Яном Казимиром, и крайне двусмысленная политика в отношении Москвы, вряд ли позволяют считать его за сильную, обладающую историческим чутьем личность. Он шел по течению, но редко сам сознательно направлял народное движение.

Зато, мне кажется, что вслед за Соловьевым, Ключевским и Платоновым, автор несколько недооценивает личность Алексея Михайловича. Сейчас забытый И. Е. Забелин более точно определял второго Романова, когда писал, что этот царь «был любителен и грозен, был милостив и строг», хотя тоже прибавлял, что Алексей Михайлович не был так решителен и талантлив, как Петр I.

Современник царя, Котошихин, уже три века тому назад заметил самостоятельность и силу воли Алексея Михайловича, и писал, что тот редко советовался с боярским синклитом: «в его воле: что хочет, то учинити может». Совсем недавно, один из последних исследователей деятельности Алексея Михайловича, А. И. Заозерский неоднократно отмечал деловитость, организационный талант, способность к самостоятельной и настойчивой работе царя. Если Петру удалось провести свои реформы и выиграть войну со Швецией, то несомненно в этом была заслуга и Алексея Михайловича, присоединившего Малую Русь к Москве, нанесшего непоправимые удары Речи Посполитой, и ставшего уже в семнадцатом веке монархом в стиле эпохи абсолютизма. Не следует забывать и то, что этот второй царь Романов пришел к власти всего лишь шестнадцати лет отроду, а умер на сорок седьмом году жизни, когда характер и привычки государственного человека обычно только начинают вырабатываться.

Мои частичные расхождения с Георгием Владимировичем в оценке отдельных явлений и личностей шестнадцатого и семнадцатого века, конечно, ни в коем случае не обозначают, что я не согласен с его общей исторической концепцией. Этот пятый том «Истории России» является замечательным завершением одного из самых подробных и, главное, беспристрастных исследований русского средневековья. В нем автору удалось подвести исключительно удачный итог работам русских и западных историков, специалистов по прошлому нашей родины. При этом через всю работу красной нитью проходит концепция самого автора, для которого русская «империя» (империя в смысле большой континентальной державы) явилась естественным результатом евразийского месторазвития, логическим и

закономерным продвижением русского народа по великой европейско-азиатской равнине (и ее периферийным областям), которая простирается от Карпат до Тихого океана. Читая эту книгу, историк живо ощущает пульс развития жизни русского народа, который несмотря на все географические и климатические трудности своего месторазвития смог преодолеть и кочевников Востока, и пятисотлетнюю экономическую и политическую блокаду своих западных соседей, и построить одну из обширнейших империй. За создание такой истории и русские и заграничные ученые будут Г. В. Вернадскому благодарны многие лета.

Сергей А. Зеньковский

JOHANNES VON GUENTHER. *Ein Leben im Ostwind*. Biederstein Verlag, Muenchen. 1969 (449 S.).

Автор книги немецкий поэт, писатель, драматург и один из самых известных в Германии переводчиков русской литературы 19 и 20 веков на немецкий язык. Он родился в Прибалтике в 1886 году и там же провел детство и юность. Его родной язык — немецкий, но, конечно, он рано должен был научиться русскому и знает его очень хорошо.

В своих воспоминаниях Гюнтер рассказывает о первых тридцати годах своей жизни; они кончаются началом первой мировой войны. Между описываемыми событиями, чувствами, мыслями и их воспроизведением прошло более пятидесяти лет. Этот факт определяет настроение книги, сообщает ей единство тона, и этим безусловно поднимает ее художественный уровень. Автор оглядывается на самого себя в молодые годы, и с мудрой иронией преклонного возраста, с легкой грустью и как бы качая головой, следит за действиями самоуверенного юноши, за его успехами и неудачами. Что бы я сказал, если бы встретился теперь с самим собой каким я был тогда, восклицает он не без горечи, но и с известным удовлетворением: ведь, несмотря на все срывы, юноша все же чего-то достиг!

Мюнхен, Петербург и Москва — эти три города и их литературные круги играют главную роль в воспоминаниях Гюнтера. В начале века Мюнхен был центром духовной элиты, новых течений в литературе и искусстве, и Гюнтеру удалось познакомиться с многими из поэтов, писателей, издателей, художников и музыкантов, которые не только жили в искусстве, но и распространяли его в образованных кругах немецкого общества. Круги эти были в то время и очень широки и отзывчивы.

Для историка русской литературы и культуры главный интерес книги Гюнтера, конечно, в его воспоминаниях о Петербурге и Москве. Полюбив новую, русскую поэзию, поэзию символизма, Гюнтер начал ее переводить, и прибыв в Петербург сейчас же сумел заинтересовать главных ее представителей возможностью быть напечатанными на немецком языке. Это открыло ему пути ко многим интересным знакомствам.

Он был довольно близок с Блоком и Вячеславом Ивановым, знал Брюсова, Андрея Белого (имя которого в немецком переводе, конечно, не *Andreas der Weise*, а *der Weisse*, стр. 131), Сологуба (его имя, почему-то, каждый раз напечатано с двумя л), Ремизова, Городецкого, Пяста, Балтрушайтиса, он был приятелем Кузмина (о котором приводится особенно много биографического материала) и Гумилева.

В 1909 году Сергей Маковский пригласил Гюнтера в редакцию только-что основанного «Аполлона», как корреспондента по вопросам, касающимся немецкой литературы. Здесь Гюнтер познакомился почти со всеми представителями акмеизма и других новых «школ», бурно цветшей тогда русской поэзии. Он еще встречался с Анненским незадолго до его смерти; он работал или проводил веселые ночи в знаменитой «Бродячей собаке» с Мандельштамом, Анной Ахматовой, Волошиным, Хлебниковым, Игорем Северяниным, Георгием Ивановым. Он знал и ценил выдающихся художников, таких, как Бакст, Сомов, Судейкин, Головин; его интерес к театру свел его с Верой Коммиссаржевской, Мейерхольдом, Станиславским, Евреиновым.

Обо всех этих замечательных людях и о многих других, Гюнтер пишет живо, часто приводя занимательные детали. Его память безусловно достойна удивления; и внешний вид описываемого лица, и беседы с ним или с ней, воспроизводятся с поразительной уверенностью. Даже если все было, может быть, не совсем так, его писательский талант подкупает читателя в его пользу. Он любит рассказывать анекдоты и рассказывает их умело, так что даже если в общий облик всех знаменитостей, как мы их знаем из истории литературы и многих воспоминаний, не вносится ничего нового, все же они иногда как бы оживают, напр., Сологуб, прекращающий чтение стихов из-за появления усатого таракана (стр. 138/39).

Атмосфера того предвоенного, беззаботного времени в литературных кругах Петербурга схвачена, повидимому, верно, и здесь, как и в других местах книги, горькие, обобщающие замечания автора придают его рассказу немало выразительности: «Слово, над которым издевались больше всего, было, — как и сегодня, — слово *верность*. Оно считалось старомодным, устарелым, точно так же, как слова *благодарность*, *самопожертвование*, точно так же, как все, что когда-

то называлось добродетелью. Смехотворно и комично» (стр. 296).

Очень интересна версия Гюнтера о появлении Черубины де Габриак, несуществующей поэтессы, стихи которой неоднократно печатались в «Аполлоне» и оказались, как и сама поэтесса, мистификациями Максимилиана Волошина и одаренной Елизаветы Дмитриевой. Роль Гумилева в этой, как оказалось не лишенной романтического элемента, истории, существенна для его биографии.

С многочисленными литературными суждениями Гюнтера, по большей части, нельзя не согласиться. Он часто дает убедительные и метко сформулированные оценки и характеристики поэтов и писателей. Убедительно, напр., его замечание о силе влияния Гумилева на современную, русскую поэзию, превосходящую силу влияния Блока, и его указание на Мандельштама и Георгия Иванова, как на «гарантию последовательного дальнейшего цветения русской поэзии» (стр. 322). Убедительно также его сравнение «башни» Вячеслава Иванова с встречами поэтов у Маллармэ: французский поэт строил на богатой почве культурной традиции, в Петербурге же культура поэзии создавалась над хаосом, после опустошающего действия предшествующих десятилетий, с их упором на политический радикализм за счет духовных ценностей (стр. 211).

Не лишено интереса то, что Гюнтер пишет о своих отношениях с вел. кн. Константином Константиновичем (К. Р.), как и вообще о своих связях с высшей администрацией и о плане большого издания русских писателей и поэтов на немецком языке, не состоявшемся из-за войны.

Всем интересующимся поэзией вообще и русской поэзией «серебряного века», в особенности, воспоминания Гюнтера дадут богатый материал фактов, впечатлений и суждений, которым, конечно, как всегда в воспоминаниях, надо пользоваться несколько осторожно, но соглашаешься ли с ним или нет, читаешь его книгу с удовольствием, совсем «как роман».

В. Сечкарев

ИСТОРИЯ РУССКОГО ИСКУССТВА под общей редакцией академика И. Э. Грабаря, члена-корреспондента АН СССР В. Н. Лазарева и члена-корреспондента Академии Художеств СССР В. С. Кеменова. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1953-69. Тринадцать томов в 16-ти книгах.

Прошло 16 лет, прежде чем закончился капитальный коллективный труд по истории русского искусства. Это издание имеет свою «пред-историю». Еще в 1909 г. под редакцией Игоря Грабаря начала вы-

ходить в Москве в изд. Кнебель роскошная «История Русского Искусства». В составе сотрудников были известные ученые и специалисты того времени. Но издание осталось незавершенным в 1915 г., ибо во время погрома немецких фирм в Москве, в издательстве были уничтожены все подготовленные материалы, негативы, снимки.

Должно было пройти 38 лет, чтобы настояния Грабаря о возобновлении издания осуществились. Но за истекшие годы совершенно изменились исторические обстоятельства, да вряд-ли и сам Грабарь обладал в почтенном возрасте уже той неиссякаемой энергией, которая была ему свойственна в былые годы. И, конечно, теперь далеко не все зависело лично от него. Изменился и самый план издания. В до-революционном издании был принят, так сказать «вертикальный» разрез истории, состоявший в том, чтобы показать развитие каждой отрасли русского искусства самостоятельно. Были тома, посвященные архитектуре, был том посвященный иконописи и том посвященный русской скульптуре. В современном издании принят другой план, т. ск. «горизонтальный», когда идет рассмотрение искусства по эпохам. Теперь в каждом томе говорится об архитектуре, живописи, скульптуре и прикладном искусстве, относящихся к одному и тому же времени. Есть свои преимущества и недостатки в подобной планировке и в раннем и в теперешнем издании. Например, чтобы проследить теперь развитие иконописи от XII и до XVI веков надо брать три или четыре тома, в то время как в до-революционном издании все было сосредоточено в одном томе. С другой стороны, определенная эпоха получила теперь в каждом томе многообразное освещение. Но деление исследования на сравнительно небольшие отрезки времени (как, например, с 1830-го по 1860-й г.) вынуждает авторов выходить за условные границы намеченной эпохи. Можно сказать, что в первом издании (1909-1915) ударение ставилось именно на «искусстве», а в теперешнем издании на «отражении эпохи» в искусстве. Поэтому в каждом томе имеется сейчас вводная статья, долженствующая направлять внимание читателя к главным, с точки зрения материалистического учения, проблемам социально-экономического развития истории. Авторам «Истории Русского Искусства» приходится считаться с положением одной из аксиом материализма: бытие определяет сознание. Поэтому сложность и противоречивость общественных отношений ставится во главу угла и из нее уже, как производное, исследователи пытаются выводить направления искусства. Эти попытки особенно чувствуются при обзоре русского искусства XIX и начала XX в.в., но они весьма шатки и малоубедительны.

В самом начале издания были задуманы 12 томов. В первых четырех предполагено было остановиться на древнем русском искус-

стве; следующие два тома должны были говорить об искусстве 18-го века; три тома должны были охватить русское искусство 19-го века и последние три тома должны были показать развитие советского искусства. Но уже с 1963 г. началось расширение издания; VIII, IX и X томы изданы были каждый по две книги. Кроме того в 1964 году опережая другие томы, был издан дополнительный XIII том об искусстве военных лет 1941-45 г.г. Похоже на то, что строго намеченного плана издания к 1953-му году не было. Возможно, что смерть И. Э. Грабаря в 1960 г. повлияла на изменение плана. Любопытно, что VI и VII томы вышли с траурной рамкой вокруг имени главного редактора, но начиная с VIII тома имя Грабаря, как главного редактора, продолжает фигурировать вплоть до XII тома уже без траурной рамки. Как мог, умерший в 1960 г., Грабарь руководить изданием до 1969 г., остается мало объяснимым. Только в V, VI, VII и VIII томах помещены несколько статей самого Грабаря.

Состав сотрудников коллективного труда весьма обширен. Назову кроме редакторов имена авторов главных статей: Аркин, Арциховский, Виппер, Воронин, Гримм, Дмитриев, Ильин, Каргер, Косточкин, Машковцев, Нейман, Петров, Померанцев, Поспелов, Рыбаков, Савинов, Стернин и нек. др.; среди женщин-искусствоведов деятельное участие в издании принимали следующие лица: Алексеева, Ацаркина, Борисова, Давыдова, Евсина, Кобалевская, Лясковская, Миёва, Постникова-Лосева, Яковлева. Можно заметить, что в до-революционном издании «Ист. Рус. Иск.» трудов женщин-искусствоведов совершенно не было.

В предисловии к первому тому можно прочесть такое замечание: «Много спорных моментов имеется в оценке тех или иных памятников или мастеров... Авторы и редакторы «Истории Русского Искусства» поэтому считали необходимым с возможной полнотой представить в описаниях и иллюстрациях самые памятники, чтобы читатель мог самостоятельно судить об изложенном». На первый взгляд подобная объективность кажется привлекательной. Но, повидимому, редакция желала этим предохранить себя от возможных обвинений в каких-либо уклонах. Мы сталкиваемся в данном случае с важным вопросом в истории искусства, — с вопросом *оценки* того или иного памятника. История искусств перестает быть историей, если ограничивается только перечислением и описанием памятников. Уже выбор такого-то объекта, а не другого, предполагает наличие оценки. Надо, впрочем, сказать, что авторы многих статей в «Истории Русского Искусства», да и сам Грабарь, почти не упоминают предисловия первого тома и оценивают по достоинству памятники русского искусства. Мерилом качества художественных произведений остается все же эстетическая оценка. Никакие ссылки на Маркса,

Энгельса, Ленина (столь обязательные в условиях советской жизни) не вызывают у читателя оправдания появления на свет слабых с художественной стороны архитектур, картин, скульптур и графики.

Политические сдвиги и перемены с 1953 г. по 1969 г. дают себя чувствовать и в списках библиографии, приложенных к каждому тому. В первых томах совершенно отсутствуют указания на труды А. Бенуа и П. Муратова, а в X томе, выпущенном в 1969 г. имеется не только указание на книги А. Бенуа, но приводятся в тексте его многочисленные высказывания, как образец удачно и верно найденного определения и оценки различных произведений искусства.

За последние десятилетия произошло много новых открытий в области русского искусства, особенно в иконописи. Если в 1913 г. П. Муратов сетовал на отсутствие данных об иконописи 12-го — 13-го веков, то теперь мы знаем прекрасные оригиналы икон домонгольского периода. К сожалению, за эти же годы во время революции и во время второй мировой войны погибло огромное количество памятников. Стоит только упомянуть Новгород, Царское Село, Петергоф, Киев. Но и без войны из-за полного небрежения и попустительства властей, а иногда и с явной их поддержкой, гибли церкви, часовни, иконы. Об этом мы теперь узнаем хотя бы по запискам В. Солоухина «Черные доски».

Закрепить в памяти то, что еще осталось, что вновь найдено и являлось поэтому одной из задач нынешнего издания «Истории Русского Искусства». Несмотря на многие погрешности издание представляет собою первый законченный капитальный труд ученых-энтузиастов, любящих свое родное искусство. Не будем придираться к тому, что часто игнорируются иностранные влияния на русское искусство, как будто их никогда и не было. Это наивное самопревозношение отвечало годам, когда в сердца и умы советских людей внедрялась мысль о независимом от других народов развитии России. Такая тенденция проводится даже при обзоре русского искусства эпохи Петра Великого.

Как распределен материал в 16-ти книгах покажет краткий перечень содержания каждого тома.

Обзоры русского искусства начинались обычно раньше с эпохи христианства. Теперь рамки изучения корней русского искусства отодвинулись в глубокую древность.

Первый том начинается обзором далекого до-исторического прошлого и заканчивается эпохой Киевского княжества и Владимиро-Суздальской Руси вплоть до татарского нашествия.

Второй том полностью посвящен искусству Новгорода и Пскова. О школе псковских иконописцев, о которой раньше было мало известно, весьма интересную главу написал В. Лазарев.

Третий том рассказывает о русском искусстве 15-го и 16-го веков, о возвышении Москвы и о чудных мастерах Феофане Греке, Андрее Рублеве и Дионисии, а также о строительстве московских соборов и возведении каменных шатровых церквей по образцам деревянных шатровых церквей и крепостных башен.

Четвертый том появился в печати только через четыре года после третьего. В этот промежуток был почему-то выпущен XI том, посвященный русскому искусству революционных лет 1917-1934 г.г. В четвертом томе мы узнаем о русском искусстве 17-го века, когда в архитектуре, да и в иконописи можно заметить «дивное узорочье». Один из авторов «Ист. Рус. Иск.» считает, что красота архитектуры была для русского человека «безмерной», а в области живописи замечает у древнего русского художника постоянную тягу к орнаменту и рассматривает ее как национальную особенность, уходящую своими корнями в дохристианскую старину.

Пятый том охватывает первую половину 18-го века. Это эпоха, сложная и стремительная, была всецело связана с деятельностью Петра Великого. «Как могло случиться, — спрашивает Грабарь, — что участие в строительстве итальянских, немецких, французских, голландских и русских мастеров не привело в архитектуре Петербурга к стилистической анархии, к механическому собранию воедино всех национальных стилей, властвовавших в начале 18 в. в Европе?» Грабарь объясняет это явление двумя причинами: первая — личное участие Петра в создании облика Петербурга. Царь не только отвергал или одобрял проекты, но и сам брался за карандаш, чтобы набросать эскиз строения. Вторая причина — участие значительного числа русских мастеров в строительстве Петербурга.

Прочтутся с большим интересом главы о деятельности Растрелли, о церкви в Кижях, о первых русских портретистах и граверах.

Шестой и седьмой томы рисуют русское искусство конца 18-го века, когда пышность построек Растрелли больше не удовлетворяла. «Век Екатерины» стремился к благородной красоте и к спокойному величию. Архитекторы Баженов, Казаков и Старов воплощали эти идеи в жизнь. Скульптура в лице Шубина и Козловского, а живопись в портретах Рокотова, Левицкого и Боровиковского поднялась в России за 18-ый век до блестящего мастерства.

Восьмой том (книга первая и вторая) дает представление о русском искусстве в первую и вторую треть 19-го века и, конечно, останавливает внимание на размахе архитектуры в строениях замечательных зодчих (Воронихин, Захаров, Росси). В отделе живописи представлены Кипренский, Тропинин, Венецианов, Брюллов, А. Иванов, Федотов; Орловский, Витали, Терещенев, Клодт — наиболее

известные скульпторы того времени. В этом же томе рассказывается о постройках Исаакиевского Собора в Петербурге и Храма Христа Спасителя в Москве.

Девятый том (книга первая и вторая) начинается с обзора жанровой живописи середины XIX в., затем указывается на историческую живопись 1860-х — 1870-х годов. Специальные главы посвящены Крамскому, Ге, Верещагину. Наибольший интерес вызывает глава о пейзажной живописи. Первая книга заканчивается главой о творчестве Репина. Вторая книга IX тома начинается статьей о Сурикове. Далее следует разбор произведений Поленова. Об Антокольском, Микешине и Онекушине есть особая глава. Имеется также, как и в других томах, отдел народного искусства и глава о гравюре и иллюстрации.

Десятый том (книга первая и вторая) описывает эпоху конца XIX века и начала нашего века вплоть до революции 1917 года. Творчеству Левитана, Серова, Врубеля, Нестерова и К. Коровина уделены отдельные главы. Наибольший интерес представляет собой обзор деятельности художников круга «Мир Искусства». Указывается на стремление к новым формам в архитектуре, т. наз. стиль «модерн»; новые искания в живописи идут в связи с веяниями западно-европейского искусства, как и первые попытки абстрактного искусства.

Одиннадцатый том повествует о русском искусстве после революции с 1917 г. по 1934 г., о первых «левых» устремлениях в области архитектуры (Татлин), о художниках конструктивистах, о графике эпохи гражданской войны и о постепенной замене абстрактности более реалистическими формами в живописи.

Двенадцатый том охватывает сравнительно небольшой период времени с 1934-го по 1941-ый год. В предвоенные годы советская архитектура ставила себе задачи по постройке технических сооружений: мосты, шлюзы, павильоны выставок. В живописи закреплялся социалистический реализм, в скульптуре пропагандировался революционный пафос в возведении памятников.

Тринадцатый том останавливается совсем на кратком отрезке времени с 1941 г. по 1945 г. Годы войны породили острые политические плакаты и карикатуры. Живопись ставила себе также задачи показа военных действий и создания ряда портретов героев войны. В архитектуре создавались планы реконструкций разрушенных городов и производились восстановительные работы в освобожденных от врага районах СССР.

Здесь дано мною очень суммарно содержание каждого тома.

Останавливаясь на главных недостатках издания, надо в первую очередь указать на весьма плохое качество репродукций, не только

красочных, но и черно-белых. В трудах по изобразительному искусству особое значение имеют иллюстрации, ибо никакое описание не может дать того, что даст снимок с архитектуры, скульптуры или картины. Читатель должен видеть произведение искусства, — это основное требование к книгам, посвященным художеству. А если кроме того картины, прелесть которых заключается в их красочном согласовании, даются в черно-белых репродукциях, да еще плохих, — то никакого представления об их подлинной красоте (только по описаниям) читатель иметь не может. Еще хуже, что в тексте часто обсуждаются произведения, которые вообще не даны ни в каких репродукциях, ни в черных, ни в красочных. Тут уже читатель совсем беспомощен.

Нельзя, конечно, требовать от коллективного труда, чтобы статьи различных авторов были бы все на одном высоком уровне. Мы встречаем здесь статьи более проникновенные и обоснованные, но и статьи поверхностно-описательные. Некоторые статьи грешат нарочито-сложным языком.

Предисловия каждого тома стараются внедрить в сознание читателей упрощенное понимание происхождения искусства и зависимость его от революционных событий. Делается особый упор на восстание декабристов, как на главную причину смены вкусов в первой половине XIX века. Чтобы объяснить расцвет русской живописи 1880-х годов авторы вспоминают о «мощном заряде общественной энергии и революционном подъеме 70-х годов», которых «с избытком хватило на целое десятилетие». Подобное утверждение совершенно невразумительно.

Также главным содержанием русской жизни конца XIX и начала XX веков объявляется подготовка к революции 1905 г. и 1917 г., и на основе будто бы этих событий выросло своеобразное искусство. Такие объяснения приведены только для оправдания политических взглядов, но, конечно, не проникают в духовную сущность произведений искусства. Это особенно заметно в главах, говорящих о возведении храмов и об иконописи. Мы тут не прочтем об идейной стороне христианского храма и не узнаем, что в основе плана храма лежит крест — символ христианства. Авторы статей вынуждены обходить вопросы религиозные, когда они говорят об иконописи, чем, конечно, умаляют этот вид подлинно религиозной живописи. Дело доходит до весьма печального явления, когда автор боится даже называть имя Христа. Говоря об искусстве Рублева, автор замечает: «Рублев как бы переводил на язык живописи высокий гуманистический принцип: «нет больше той любви, как положить душу за друзей своих»... «Эта светлая этическая заповедь...» Так автор статьи (Н. Воронин) и не сказал, что он привел слова Христа.

В заключение упомяну о непонятном постепенном сокращении тиража выпускаемых томов. Первые томы вышли в количестве 20.000 экземпляров, а последующие все в меньшем и меньшем. Десятый том напечатан тиражом в 12.200 экземпляров, а последний — всего в количестве 11.000 экземпляров.

Е. Климов

Д. Н. ШУБ. *Политические деятели России (1850-1920 гг.)*. Сборник статей. Изд. «Нового Журнала». Нью Йорк. 1969.

«Настоящая книга Д. Н. Шуба, — говорится во вступительной заметке издательства, — является на наш взгляд очень ценной хрестоматией по истории революционного и освободительного движения в России». Этим правильно определяется и задача книги, и усвоенный автором метод изложения. Текст статей Д. Н. Шуба состоит главным образом из цитат: автор дает каждому из характеризующихся им «политических деятелей» говорить своими словами и, благодаря этому, читатель имеет возможность ознакомиться не только с его идеями, но и с его стилем и манерой письма. Д. Н. Шуб обладает совершенно исключительным знанием предмета и, как опытный публицист, умеет найти у каждого лучшее, наиболее яркое и характерное. Его сборник из простой хрестоматии превращается в антологию, которая читается с начала до конца с неослабевающим интересом.

Книга начинается главой об «основоположниках русского революционного народничества» — Герцене, Чернышевском, Лаврове и Михайловском. За этим следуют очерки о радикальных «предтечах Ленина» — Заичневском, Ткачеве, Бакунине и Нечаеве. Третья глава посвящена отцу русского марксизма Плеханову и его борьбе против Ленина в начальную эпоху большевизма, четвертая глава — либеральному движению в России и Первой Государственной Думе. Много места уделяется характеристике отношения левых социалистических групп, русских и западно-европейских, к войне 1914-1918 гг. И, наконец, в заключительных главах книги повествуется о Ленине у власти и об отношении к большевицкому режиму ветеранов русского освободительного движения — Плеханова, Кропоткина, Максима Горького и Владимира Короленко.

Несправедливо было бы, однако, видеть в Д. Н. Шубе только умелого составителя «хрестоматии» или редактора антологии. В подборе предлагаемого читателю этой книги материала проводится определенная политическая тенденция и самая книга преследует определенную политическую цель. А именно: автор стремится доказать, и в значительной мере доказывает, что все сколько нибудь видные деятели в

истории русского социализма должны быть признаны решительными и непримиримыми противниками теорий, провозглашенных Лениным в 1917 году и затем проведенных в жизнь им самим и его преемниками.

Достаточно привести несколько цитат. В 1850 г. Герцен писал, что «социализм, который захотел бы обойтись без политической свободы, непременно выродился бы в самодержавный коммунизм и новую барщину». А Чернышевский, которому Ленин так поклонялся, писал в 1879 г.: «мне всегда тошно читать рассуждения о «гнусности буржуазии» и о всем тому подобном; тошно, потому что эти рассуждения... вредят народу,... возбуждая вражду его друзей против сословия, интересы которого,... в сущности, одинаковы с теми условиями национальной жизни, какие необходимы для блага народа, а потому в сущности тождественны с интересами народа». Михайловский признавал факт существования классовых противоречий в современном обществе, но в противоположность марксистам, не видел в этом «двигателя прогресса», а идею классовой борьбы назвал «школой озверения». Даже труды Плеханова могут переиздавать в Москве только с зияющими пропусками: в вышедшем в 1962 г. четырехтомном издании «нет ни одной статьи Плеханова о Ленине, о политике и тактике большевической партии,... хотя обо всем этом Плеханов в последние пятнадцать лет своей жизни очень много писал». И уж, конечно, никому в Советском Союзе не позволять узнать о том, что, по рассказу ближайшего друга Плеханова, известного революционера Льва Дейча, Плеханов незадолго до смерти «неоднократно обращался ко мне с видимо мучившим его вопросом: «не слишком ли рано мы в отсталой, полуазиатской России начали пропаганду марксизма?»

Среди достоинств книги Д. Н. Шуба следует отметить, что хотя он всю жизнь принадлежал к социалистическому лагерю русской общественности, он нашел нужным воздать должное «либерализму в России и Первой Государственной Думе». Как правильно указывает Д. Н. Шуб, «настоящей истории русского либерализма до сих пор не написано ни на одном языке... На Западе уже почти забыли, а молодое поколение в СССР никогда и не знало, что в России когда-то было либеральное движение, которое сыграло большую роль в борьбе за народную свободу и права человека и гражданина... Не только большевистские историки, но и большинство иностранных историков русской революции представляют дело так, будто всю борьбу против абсолютизма... в России вели социалистические партии». Между тем, «на самом деле в подготовке обеих революций, 1905 года и февральской революции 1917 года... большевики играли очень незначительную роль. А либералы в подготовке обеих революций играли не меньшую роль, чем все социалистические партии, вместе взятые».

Из этой главы читатель книги может ознакомиться с личностью и деятельностью таких фигур, как «Нестор русского либерализма» И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев, С. А. Муромцев, П. Б. Струве и, конечно, П. Н. Милюков. В ней читатель найдет сведения о земском движении 1904-1905 гг., о «Союзе Освобождения», о кампании «банкетов», непосредственно предшествовавшей октябрьским событиям 1905 г., и, наконец, о Первой Государственной Думе, ознаменовавшей блестящий, хотя и эфемерный, апогей русского интеллигентского либерализма.

С другой стороны, можно пожалеть о том, что в этой превосходной книге кругозор автора сознательно ограничен левым сектором русской общественности. В ней говорится исключительно о представителях социалистической и либеральной оппозиции к дореволюционной русской государственности. Между тем, нельзя закрывать глаза на то, что ведь строили эту государственность, — худо ли, хорошо ли, — ее представители, а не их противники, которые против нее боролись. В портретной галлерее Д. Н. Шуба мы встречаем среди «политических деятелей России» таких фантазеров, как Заичневский и Ткачев, и авантюристов, как Нечаев, — но в ней не упоминаются ни деятели реформ 1860-ых годов, как братья Милютины, Рокасовский, Зарудный и др., ни такие государственные деятели позднейшей эпохи, как С. Ю. Витте и П. А. Столыпин. Не упомянуты в книге также публицисты правого лагеря (как М. Н. Катков) и славянофилы (Иван Аксаков и др.), ни умеренно либеральные деятели, как А. И. Гучков, братья Сергей и Евгений Трубецкие, проф. Максим Ковалевский... Впрочем, на этот последний упрек Д. Н. Шуб мог бы ответить словами Козьмы Пруtkова, что «нельзя объять необъятное».

А. Гольденвейзер

С. А. ЛЕВИЦКИЙ. *Очерки по истории русской философской и общественной мысли.* Изд. «Посев». Франкфурт на М. 1968.

Литература по истории русской философии весьма немногочисленна. Она исчерпывается тремя-четырьмя десятками книг. Большинство их напечатано в двадцатых годах этого столетия. За исключением *Истории Русской Философии*, написанной о. Василием Зеньковским (1950 г.), и одноименного труда Н. О. Лосского, вышедшего на английском языке (1951 г.), все, что было написано по этому вопросу, представляет собой библиотечную редкость. Поэтому выход в свет рецензируемой книги следует весьма приветствовать.

Автор поставил себе задачей написать популярное изложение истории развития русской мысли, причем настоящий том, обнимающий период от начала русской письменности до философии В. С. Соловьева включительно, послужит введением ко второму, уже намеченному к изданию. Во втором томе будет изложена русская философия «по преимуществу». Следовало бы, исходя из этой точки зрения, В. Соловьева включить во второй том, охватывающий период возникновения систем.

Совершенно правильно автор назвал свою книгу очерками по истории русской философской и общественной мысли, подчеркнув таким образом, что не всякий мыслитель является философом. Где проходит грань между мыслителями вообще и философами в частности — сказать трудно. Философия, особенно русская, уходит своими корнями в религиозную почву, своей же вершиной (философия государства, истории, этики, эстетики и др.) тематически переплетается с разными политическими и социальными науками.

В предисловии автор упоминает, что он преследовал более педагогическую и литературную, чем собственно исследовательскую цель. Это благоприятно отразилось на удобочитаемости книги: она написана ясно и легко. В приложении — подробная библиография.

Игумен Геннадий

C. NICHOLAS LEE, *The Novels of Mark Aleksandrovic Aldanov*. Mouton & Co. The Hague, 1969 (386 p.).

Недавно в серии «Славянские издания и переиздания» вышла в свет монография проф. Николаса Ли, посвященная изучению романов М. А. Алданова. Это странная книга. Во-первых, хотя это и не указано, настоящая книга является докторской диссертацией автора (Харвард, 1963) в немного переделанном виде. Во-вторых, как-то непонятно, для кого она написана? С самого начала нужно сказать, что в данной работе автор ставит себе в основном научно-популяризаторскую задачу. В кратком предисловии проф. Ли сам говорит о собственных опасениях относительно плана и цели своей книги:

«Многие будут возражать против подробностей, с которыми изложено в настоящей работе развитие действия в романах и философских повестях Алданова» (стр. 7).

Во «Введении» автором широко используются специальные исследования, посвященные теории и судьбам исторического романа в европейских литературах — работы Шеппарда, Лукача, Ваттса, Мюра. Затем автор дает в последующих главах подробный анализ

всех 16-ти романов Алданова. В каждой — три раздела: «действие», «персонажи», и «стиль». Самый скучный и неудачный раздел каждой главы, это — «действие», который содержит растянутое изложение фабулы каждого произведения. Те, кто не читал романов Алданова воспримут эти пересказы как какие-то исторические анекдоты, а для читателей, знакомых с романами, они излишни. В этих пересказах перечисляется столько событий, столько имен разных действующих лиц, что читатель выносит путанное и странное впечатление. В пересказах даются также такие забавные справки, как то, например, что «Святая Елена — маленький остров» самое длинное из всех главней романов Алданова (стр. 21).

Некоторые возражения вызывают разделы, посвященные и «персонажам». Часто встречаются слишком лаконические и недоделанные анализы приемов, которыми пользуется Алданов при изображении действующих лиц в своих романах:

“As a general rule Aldanov is very sparing in characterization by exterior attributes, preferring rather Tolstoj’s ‘illumination from within’ and ‘inner monologue’ techniques” (стр. 32); “...Some of the author’s creations [characters] develop in the course of the action, whereas others remain true to their original delineations” (стр. 136).

Примеров такого рода искусственных и почти анекдотических заявлений можно привести множество.

Неполное представление дается в книге и о стиле романов Алданова. Едва ли читатель вынесет цельное и правильное впечатление о стиле Алданова из таких отрывочных характеристик и не всегда удачных формулировок, как следующие:

“Aldanov’s narrative style remains as limpid and unobtrusive as ever” (стр. 61); “The narrative prose continues the same as always: clear, unobtrusive, completely adequate to the material treated” (стр. 142), etc.

Автор коротко упоминает об изобилии иностранных слов и выражений в романах Алданова, а также о роли диалога и внутреннего монолога, но, к сожалению, очень поверхностно касается других конкретных литературных приемов, напр., сравнений, метафор и метонимии. Не следовало ли бы глубже коснуться и приема «остранения» в творчестве Алданова? Значительный интерес представляет собой разбор различных тем и символов в романах Алданова. Но, к сожалению, такие разборы только в трех из 16-ти глав.

Ценное в рецензируемой книге — это те места, где автор говорит об отношении Алданова к творчеству Толстого и к классическим традициям русской литературы. Проф. Ли тщательно анализирует стилистические и идейные связи между Алдановым и Толстым. И в «Предисловии» и в «Заключении» автор правильно намечает пробле-

мы изучения исторического романа. Но позволим себе не согласиться с оценкой проф. Ли романа «Истоки»:

“This titanic novel is a splendid achievement, architectonically superior to *War and Peace*, with which it shares the same breadth of vision and treatment” (стр. 250).

В разбираемой книге проф. Ли есть и еще один существенный пробел. В «Введении» автор правильно подчеркивает, что биография Алданова важна для полного понимания его творчества. И сразу же вразрез с собственным утверждением, автор сужает свою задачу изучения биографических данных об Алданове до одной страницы. Это несколько неожиданное ограничение удивляет.

Ознакомление с книгой вызывает ряд вопросов, на которые ни текст монографии, ни «Заключение» ответов не дают. В качестве примера сошлемся на стр. 78, где в одной сноске автор делает только намек на то, что является, как нам кажется, важным: роль масонства в творчестве Алданова.

Библиография в рецензируемой книге довольно полная;¹ технически книга хорошо оформлена, и опечаток мало.

Все сделанные нами замечания о рецензируемой книге отнюдь все же не снижают ценности работы, проделанной проф. Ли. Несмотря на указанные недостатки, книга является вкладом в дело популяризации и дальнейшего изучения творчества одного из выдающихся русских писателей-эмигрантов.

Бостонский университет.

Р. Ричардсон

¹ За пределами внимания автора осталась лишь одна небольшая работа: Charles Ledré, *Trois romanciers russes: Ivan Bounine, Alexandre Kouprine, Marc Aldanov*, Paris, 193?

VICTOR ERLICH. *Gogol*. Yale University Press. 1969 (pp. 230).

В этой книге В. Г. Эрлих пользуется разнообразными методами для изучения творчества Гоголя, его жизни, личности и духовных исканий. Он анализирует тексты и подтексты гоголевской прозы, литературную среду и религиозно-философские источники верований Гоголя.

Книга хорошо написана и, несомненно, выгодно отличается от стандартных академических трудов, в которых бедность мысли иногда прикрывается глубокомысленными рассуждениями. Эрлих комментирует весь диапазон, весь огромный размах гоголевского творчества.

Он уделяет достаточно внимания украинским повестям, а фокус своего критического дарования обнаруживает в комментариях к петербургским повестям, к «Ревизору», к «Мертвым душам», к «Шинели» и к последним произведениям Гоголя.

Для Эрлиха все лучшие творения и образы Гоголя являются продуктами его «гротескного воображения» — выражением его страха перед жизнью и страха «смерти-в-жизни». Этот страх или даже ужас вызваны **отчуждением**. Отчуждение Эрлих определяет не как социальное явление (подобно марксистским критикам) и не как распад, разложение восприятия или мироощущения (в понимании Т. С. Элиота). Отчуждение вызвано «внезапным вторжением сверхъестественного» (это отчасти совпадает с Вольфгангом Кайзером, современным немецким исследователем по гротеску). Но, по-моему, в мире Гоголя одно с другим связано: черт вторгается в космос, который уже сам по себе начал распадаться и лишился точки опоры...

Пошлое, по определению Эрлиха, есть нечто демоническое в своей тривиальности и нечто тривиальное, переходящее в демоническое. Самую же сущность пошлости он усматривает в бездушной вульгарности и в духовном омертвлении.

Эрлих немало внимания уделяет последним трагическим годам в жизни Гоголя. Для него эта трагедия заключается в паническом страхе, который мешал Гоголю сорвать с себя маску условного проповедника. В поучениях его везде ощущается «омертвление стиля».

Я бы сказал, что творческий паралич Гоголя в его нравоучительных писаниях вызван чрезмерным усилием воли. Он заставлял себя поучать и «насиловал музу», не находя нужных слов. В сущности, все затруднения Гоголя-дидактика были не технические, а магические (но, заметим, магия есть сестра техники). В своих поисках Бога Гоголь насиловал свой гений, желая вызвать Бога какими-то магическими заклинаниями. Но религия — не магия. Верующий человек — не волшебник. Бог не страшный Вий, которого вызвали черти. Эрлих учитывает значение религиозного кризиса в жизни и творчестве Гоголя и неожиданно сопоставляет Гоголя с Шатовым Достоевского: оба они только **хотели верить**.

За свою сухость и черствость в религии Гоголь жестоко заплатил, и как художник, и как человек. Его мучило всеобщее непонимание и он осознавал ослабление творческих сил в своих проповедях. Но все неудачи были связаны и с его гением: без этих неудач творческий и жизненный опыт Гоголя был бы беднее.

Анализируя «Шинель» Эрлих, как и многие формалисты до него (Эйхенбаум или Чижевский) не находит в этой повести никакой жалости к маленькому человеку. Здесь он слишком подчеркивает искус-

ственность, «кукольность» Гоголя. Так и для Адамовича, Гоголь кукла, которая захотела стать человеком, что ей не удалось, и она умерла от отчаяния.

Для Эрлиха — литература и вообще искусство, прежде всего, игра, и эта игра — эстетическая, по ту сторону всякой морали и религии. Но игра в искусстве иногда напоминает таинства, и она непохожа на такую чистую игру, как шахматы. Можно даже сказать, что игра в большом искусстве ведется не на живот, а на смерть, не за страх, а за совесть, хотя художник и старается это скрыть. Такую именно игру вел Гоголь — и сначала он выигрывал, а потом проигрывал.

Вообще говоря, критики-рационалисты школы «игры приемов» не понимают того, что экзистенциальные критики понимают; для художника искусство это дело жизни, творчество ценностей, центр, для любителя же «игра», — развлечение, которое находится «на краю жизни», как говорит Гегель. Естественно, что в случае потери центра — искусство мельчает и распадается. Гоголь старался ввести его в центр, утверждая слова на Каменье Слова. В этом деле, техника мало удовлетворяет.

Наконец, есть еще один аспект в понимании загадочного Гоголя. Если уж говорить об игре в его творчестве, то была в ней еще и та «поззия пошлости», о которой говорил Анненский.

Но Анненского Эрлих даже не упоминает. Все-таки в самой пошлости, в каких-нибудь ничем не примечательных ящиках с гвоздями или с мылом, Гоголь видел красоту. Он радуется праздничному изобилию жизни во всех ее проявлениях. Художественная радость бытия в мире Гоголя преображает скуку, пошлость — и совсем **не в утопии**, а в «грязной» действительности, и Гоголь возносит хвалу за самый факт существования, хотя бы и очень неприглядного на вид. Гоголь не только отрицал, мучился, но, вместе с тем, и утверждал жизнь, как Аристофан (что отметил Вячеслав Иванов в его «Гоголе и Аристофане»).

Аркадий Небольсин

К. АРЕНСКИЙ. *Письма в Холливуд*. Мюнхен. 1968.

Книга К. Аренского составлена по материалам архива С. Л. Бертенсона. У Бертенсона была длительная переписка с В. И. Немировичем-Данченко. Она-то, будучи опубликованной, и придает большую ценность книге. Кроме В. И. Немировича-Данченко, С. Л. Бертен-

сону писали: О. С. Бокшанская, многолетняя сотрудница МХАТ'а, О. Л. Книппер-Чехова, М. М. Фокин, театровед Н. Д. Волков, Борис Лавренев и др. Публикации всех писем К. Аренский сопровождает выдержками из дневника С. Л. Бертенсона. Выдержки подобраны так, что читатель лучше понимает, что сообщают С. Л. Бертенсону его корреспонденты.

Книга «Письма в Холливуд» — значительна не только потому, что содержит полезный, неизвестный или малоизвестный, материал для характеристики Немировича-Данченко и позднего МХАТ'а: эта книга без сгущения красок и какой бы то ни было предвзятости показывает, как губительно коммунистическая цензура влияет на театр и драматургию в Советском Союзе. Немирович-Данченко как-то в одном письме попросил С. Л. Бертенсона рекомендовать ему хорошую американскую пьесу для русской сцены. Бертенсон вспомнил об этом, когда американская писательница Софи Тредуэлл прислала ему рукопись своей пьесы «Машиналь», спрашивая, могла ли бы такая вещь иметь успех в России? Пьеса Бертенсону понравилась, и он, с согласия автора, перевел ее на русский язык. Немирович-Данченко написал ему, что он принял решение ставить пьесу Софи Тредуэлл на малой сцене МХАТ'а.

А вот отрывок из другого письма Немировича-Данченко Бертенсону:

«Из трех пьес, предлагаемых на одно место, мне больше всего хочется Вашу... Перевод очень хороший... и хотя я, как директор, могу брать пьесу, не считаясь с мнением художественного политического Совета, однако, я этого избегаю».

Следующее письмо принесло Бертенсону разочарование. Немирович-Данченко пишет:

«О 'Машинали'. После меня прочел Марков. Очень понравилось. Переписчице Бокшанской очень. Режиссерам Завадскому, Вершилову хотелось ставить. И вдруг художественный совет! Единственно и резко отверг. Послал пьесу Коонен и Владимирову...»

В конце концов, пьесу пристроили по настоянию Коонен, но и у Таирова она долго не удержалась в репертуаре по политическим мотивам. Комментарии к этому излишни.

Первые письма к Бертенсону датированы осенью 1928 года, последние — осенью 1939 года. И уже по письмам можно видеть, как изменилась вся жизнь в Советском Союзе и как глетворно эти изменения влияли на искусство.

Это стало сильнее всего чувствоваться в письмах, которые Бертенсон получал перед парижскими гастролями МХАТ'а. Припомним, что гастроли эти состоялись в 1937 году, т. е. в разгар ежовщины.

Бертенсон понимал, что Немирович-Данченко не принимал людей,

добивавшихся свидания с ним, не из-за высокомерия или потому, что был очень занят, а потому, что непрестанно находился под бдительным надзором переодетых чекистов. При встрече с Тэффи Немеинович-Данченко не ответил на поклон, хотя сомнительно, чтобы он ее не узнал.

Итог же этой переписке, длившейся одиннадцать лет, подвел сам Бертенсон в такой выдержке из своего дневника:

«С невероятной грустью читал я последнее письмо Владимира Ивановича. Мне, хорошо его знающему, из каждой строки письма бросается в глаза та ужасающая действительность, в которой принужден работать и жить этот незаурядный человек. Прежде всего, сам стиль письма ясно говорит о том, что Владимир Иванович был уверен в том, что оно, перед тем, как попадет ко мне, будет прочитано соответствующим «всевидающим оком». Теперь мне совершенно ясно, почему Владимир Иванович не хотел моего приезда в Париж... Случай с Тэффи также весьма характерен. Владимир Иванович, при его утонченном воспитании, безусловно ответил бы на поклон дамы, даже не узнав ее. Может быть, фразу его письма — «когда я вошел, чувствую, что меня глазами искали» — следует понимать в отношении тех зорких глаз, которые держали под наблюдением каждое движение Владимира Ивановича.

И, наконец, самые спектакли. К сожалению, они не удовлетворили не только «закосневших в рутине», как пишет Владимир Иванович, но именно людей театральных, среди которых можно упомянуть Добужинского. Общее мнение этих театралов сводится к тому, что если эти спектакли и нельзя назвать плохими, то, во всяком случае, это не тот Художественный театр, который мы любили и почитали. Ушедшая из него свобода творчества не подчиняется никаким партийным задачам и политическим движениям, отражаясь в первую очередь на художественной стороне. Я ни минуты не сомневаюсь, что все это отлично понимает Владимир Иванович, понимает лучше, чем кто-нибудь другой, и тяжело это переживает. Это скольжение Художественного театра под уклон Владимир Иванович предвидел уже давно, но приостановить это ему не удалось, несмотря на все старания. Его усталость, о которой он пишет, именно «не мускульная», а та внутренняя боль, которая всегда бывала для него острее внешней».

Так опубликованные Аренским письма деятелей театра к Бертенсону, в сочетании с выдержками из его дневника, позволяют нам ясно видеть, в чем же состояла трагедия МХАТ'а, который из гордости русского театра превратился в самый косный и самый консервативный театр. МХАТ завоевал признание как театр нового автора, как русского (Чехов, Леонид Андреев, Горький), так и западного (Метерлинк, Гауптман, Гамсун), представленного обновленной актер-

ской школой и новыми, творчески смелыми для ранних периодов театра методами режиссуры. Но теперь новых отечественных крупных драматургов МХАТ давно уже не выдвигает, а режиссура в этом театре безнадежно устарела.

О МХАТ существует огромная литература. Но причины того, почему при коммунистической диктатуре этот театр постепенно приходил в упадок, нигде так откровенно не вскрыты, как в переписке С. Л. Бертенсона и в выдержках из его дневника.

Вяч. Завалишин

CARL R. PROFFER. *The Simile and Gogol's Dead Souls*. Slavistic Printings and Reprintings, v. LXII, Mouton, The Hague, Paris. 1967.

Сказать что-либо новое о Гоголе не легко. Литература о нем почти необозрима. Тем не менее книга проф. Проффера интересна и ценна. Он исходит из вполне убедительной предпосылки, что в большей части научных «книг о книгах», широкие обобщения и теории не так занимательны и важны, как анализы отдельных характерных мест, как «открытия до сих пор незамеченных связей одной детали с другой» (стр. 5). Сам автор избрал **сравнение** в «Мертвых душах» как тему специального, очень подробного и вдумчивого разбора. Выбор этот вполне обоснован: сравнение очень часто употребляется Гоголем, гораздо чаще, чем его предшественниками и современниками; кроме того у Гоголя оно не только лишь стилистический прием. Гоголь пользуется сравнениями для разъяснения и углубления характеров своих персонажей; он ими создает известное настроение, он с их помощью подчеркивает свои воззрения на жизнь и искусство.

Автор после точного определения сравнения, как литературного приема, опираясь главным образом на немецкие пособия к риторике 19 века (Клейнпауль, Вакернагель), приступает к анализу 248 сравнений в первой части и 92 сравнений во второй части «Мертвых душ». Он сортирует их по внешним признакам (напр.: как, так, похожий на, подобно, будто, на манер и т. д.), устанавливая как часто повторяется каждый тип, по содержанию (напр.: человек, части тела, хозяйство, пища, одежда, животные и т. д.) и по производимому впечатлению (юмористические, поэтические, клише).

Мы узнаём, что из четырех основных типов сравнений (абстрактное с абстрактным, абстрактное с конкретным, конкретное с абстрактным, конкретное с конкретным), последний тип подавляюще преобладает (232 из 248). Этот факт интересен, если сопоставить с ним процент частоты того же сравнения во второй части: движение Го-

голя от конкретности, от видимых деталей предметности, к абстракциям, к дидактике, к религии еще раз становится ясным. Автор различает между сравнениями самого Гоголя и сравнениями, употребляемыми его персонажами, что дает повод для углубления характеристики этих персонажей и для более четкого определения мировоззрения Гоголя.

С особенно пристальным вниманием автор рассматривает широко развитые сравнения, типа гомеровских, в которых то с чем сравнивается главный предмет, приобретает столько веса и так пространно описывается, что исходный предмет оказывается отодвинутым на задний план. Очевидное влияние Гомера на Гоголя всегда упоминалось, но в первый раз, поскольку мне известно, оно анализируется в столь пространной форме, как это делается здесь. Автор возвращается к этому вопросу в предпоследней главе, где вполне неоспоримо доказывается, что вторая редакция «Тараса Бульбы» писалась под сильнейшим влиянием гомеровского эпоса.

Так как гоголевские главы о Собакевиче и Плюшкине содержат особенно много показательных и удачных сравнений, этим двум персонажам уделяется особое внимание. В главе Проффера о Плюшкине его метод оказывается вполне состоятельным. Замкнутость, бездушие, распад, гниль, старение, смерть, — это темы, на которые Гоголь дает многочисленные вариации в сравнениях, и именно при помощи сравнений образ Плюшкина приобретает рельефность законченного артистического типа. Очень интересен анализ сравнений в приложении к Чичикову. Его округлость, чистоплотность, приятность суть внешние качества, которым противостоят довольно непривлекательные внутренние черты. Это противоречие, создающее характер мелкого, но опасного плута, опять таки становится понятным и осязаемым из сравнений. Возможно, что автор иногда заходит слишком далеко в своих интерпретациях. Нет сомнения, что округлость Чичикова подчеркивается неоднократным упоминанием в связи с ним колеса, но хотел ли Гоголь указать на это и селифановским обозначением барина как «колеский советник», подлежит, мне кажется, сомнению (стр. 133).

В последней главе своей книги проф. Проффер утверждает, что Гоголь написал «Театральный разъезд после представления новой комедии» не в защиту «Ревизора», а в защиту «Мертвых душ». «Театральный разъезд», вторая редакция «Портрета» и вторая редакция «Тараса Бульбы» служат как бы ответом критикам, которые обвиняли Гоголя в слишком непривлекательном изображении России и в недостатке патриотизма. В «Театральном разъезде» и в переработке «Портрета» Гоголь обосновывает свои воззрения на задачи искусства, как бы комментируя «Мертвые души», в переработке «Тараса Буль-

бы» он хочет доказать свой патриотизм, свою веру в Россию, между прочим неоднократно заменяя слова «Украина», «украинский» в первой редакции, словами «Россия», «русский» во второй. Гоголь, судя по реакции критики на «Ревизора», ожидал тех же возражений и обвинений в связи с «Мертвыми душами». В трех названных произведениях он старается заранее обезоружить своих критиков.

Некоторые мелочи надо бы исправить при втором издании: Ноздрев не сравнивается с крепостью (стр. 83); повидимому, слово «как будто» ввело автора в заблуждение; заглавие рассказа Людвиг Тика, упоминаемого на странице 29 «Пьетро фон Абано» (не Албано); «дворняжка» не «female dog», а «mongrel» (стр. 58); имя Тредиаковского написано неверно и прозу его, мне кажется, нельзя назвать «лабиринтом» (стр. 18). Многочисленные опечатки составляют отличительное свойство книг, изданных у Мутона и, конечно, никак не вина автора.

В своем обзоре литературы о Гоголе (в введении) проф. Проффер придерживается благоразумной середины; отвергая все крайности социологов, фрейдянцев, формалистов и т. д., иногда в весьма забавных, иногда в довольно резких формулировках, он одобряет то, что ему кажется умеренным и поэтому убедительным. Заметно, что автор нисколько не сомневается в правоте своих оценок и суждений, как вообще тон всей книги ясно указывает на то, что он сам ею доволен. Приятно, что с ним нельзя не согласиться.

В. Сечкарев

RUSSIAN JEWRY, 1917-1967. Edited by G. Aronson, J. Frumkin, A. Goldenweiser, J. Lewitan. Th. Yoseloff Publisher. New York. 1969.

Вышедшая по-английски «Книга о русских евреях» — важный, насыщенный фактическим материалом сборник статей специалистов в области еврейской истории и истории еврейской общественной жизни. Сборник охватывает период с 1917 по 1967 год, т. е. 50 лет после февральской революции.

Февральская революция вызвала к активной жизни целый ряд еврейских, еврейско-социалистических, реформаторских и сионистских течений. Период после падения монархии описан в хорошо документированной и интересной вводной статье покойного Г. Я. Аронсона. Г. Аронсон приводит заявление князя Г. Е. Львова, первого главы Временного Правительства. В ответ на приветствие еврейских членов Думы и других видных общественных деятелей Г. Е. Львов

произнес речь, в которой сказал: «Я бесконечно благодарен Вам за Ваше приветствие... Для Временного Правительства явилось высокой честью снять с русского народа пятно бесправия народов, населяющих Россию».

Еврейские националистические и социалистические организации продолжали, согласно статье Аронсона, активную деятельность (съезды, выборы и т. д.) до 1919 года, когда Комиссариатом по Еврейским делам, эта деятельность была сначала ограничена, а потом приостановлена.

В статьях А. Шехтмана, И. Троцкого, С. Грингауза и др. описаны сложные взаимоотношения еврейских организаций с националистическими правительствами на Украине, а также в Прибалтике. На Украине Рада и пришедшая за ней, после окончания немецкой оккупации, Директория объявили равноправие еврейского (и польского) национальных меньшинств. Однако, дальнейшее ослабление власти и анархия сделали положение еврейского населения критическим (погромы и пр.). Правда, главная масса погромов и преследований шли «снизу», стихийно, в результате общей разрухи и анархии.

А. А. Гольдштейн описывает хорошо известный период оккупации советской территории в 1941-43 гг. Весь период сталинизма и его отношение к положению евреев обстоятельно описан Г. Я. Аронсоном. В 1948-53 гг. самое существование еврейского населения снова было поставлено под угрозу — на этот раз аппаратом Сталина. Началом преследований, по крайней мере явным началом, было убийство С. Михозлса. В своей книге «Только один год» Светлана Аллилуева приводит подробности, указывающие на прямое указание Сталина об убийстве Михозлса.

Интересен на этом фоне вопрос о поддержке Советским Союзом (т. е. Сталиным) государства Израиль в первый период его образования и самостоятельного существования. И. Шехтман отмечает неожиданный поворот советской дипломатии, сильно поразивший, по видимому, даже сионистское руководство в Палестине и в ООН. Этот вопрос продолжает, конечно, привлекать внимание и советологов в самом Израиле (И. Барзилай и др.). Они указывают, что изменение курса — в пользу Израиля было неожиданностью и для самих советских дипломатов, в том числе и для А. Громыко, произнесшего в то время речь в поддержку раздела Палестины и образования государства. Некоторые исследователи (Р. Брахман) считают, что у Сталина тогда был план установления в Палестине государства по типу «народной демократии», были и необходимые контакты и пр. И только в последнюю минуту план этот не прошел.

Подробно и широко, с большим количеством справочно-стати-

стических данных написана статья Л. М. Шапиро о еврейской проблеме в послесталинский период. Л. М. Шапиро — автор ежегодных обзоров о положении евреев в СССР, публикуемых в выходящем в Нью-Йорке «Еврейском ежегоднике». В своей статье Л. Шапиро приводит данные о распространенных одно время убийствах за «экономические преступления». Из 140 расстрелянных за «экономические преступления» 80 были, согласно этим данным, евреями. После устранения Хрущева эти убийства были прекращены. Но в СССР все еще остаются неудовлетворенными многие потребности религиозной части еврейского населения (обеспечение литературой, подготовка раввинов и пр.), а также той части населения, которая связана с еврейской культурной традицией: так не был восстановлен, несмотря на обещания, еврейский театр в Москве и другие культурные учреждения. В статье Шапиро мы находим много данных о положении еврейского населения в СССР, связанного, в частности, с синагогами. Л. М. Шапиро, например, указывает, что впервые в 1966-1967 годах эти круги населения не испытывали трудностей с выпечкой мацы на Пасху, что с 1948 до 1968 года было опубликовано всего 20 книг на «идиш». (В переводах, однако, вышло около 300 книг писателей и поэтов, писавших на «идиш»).

«Смерть Сталина, — пишет Л. Шапиро, — ускорила ход развития России. Но учитывая зигзаги коммунистической политики вообще, трудно предсказать, как будет развиваться в дальнейшем советская политика по отношению к русскому еврейству».

В целом сборник дает много самого разнообразного и ценного материала о положении евреев в Сов. Союзе. Интересны статьи: Г. Света «Еврейский театр в Сов. России», В. Александровой «Евреи в сов. литературе» и многие другие.

Я. Б.

N. BERBEROVA. *The Italics Are Mine*. Translated by Philippe Radley. Harcourt, Brace and World, Inc. New York. 1969 (pp. 606).

Зарубежная писательница Н. Берберова к своему 70-летию выпустила мемуары — «Курсив мой». Вышли они по-английски, но успеха не имели и после двух-трех отрицательных рецензий утонули в бездне неудачных книг. У издателей в Америке жестокий обычай: непринятую читателем книгу тут же пускают на макулатуру.

То, что эта книга не имела успеха у американцев — естественно, ибо этот очень неорганизованный, многословный, тяжеловесный и (надо отдать справедливость) скучнейший опус обращен совсем не к ино-

странцам. Он обращен больше всего к эмигрантскому обывателю. Поэтому на страницах русского журнала стоит все-таки разобрать эти весьма странные мемуары. В них, так сказать, три «ингредиента». Пространные, очень часто совершенно невежественные «мысли вслух», т. е. рассуждения на всевозможные темы: аграрный вопрос, революция, война, русская интеллигенция, Европа, Америка, христианство, масонство и пр. При чем все «рассуждения» высказываются с невероятным апломбом, что только подчеркивает отсутствие всякого такта у автора. Второй «ингредиент» сего опуса — в невероятной дозе поданные сплетни и сведения счетов с неугодными автору лицами, при чем автор не стесняется никаких вымыслов. И третий «ингредиент» — неисчислимое количество фактических ошибок, обнаруживающих, что автор писал свои «мемуары» с исключительной отвагой, с совершенным какпопальством, путая имена, даты, факты. Интересно, что эти качества книги заметили даже американцы. В одной из очень немногих рецензий известная писательница Патриция Блэйк («Нью Йорк Таймс», 25 мая 1969) писала: — «В книге... много вызывающего раздражение... Сноски дают иногда дельную информацию, но чаще они использованы, чтобы... свести мелкие счета, припомнить обиды и высказать эксцентрические оценки... Отсутствие литературных суждений и обильность сплетен (которых автор — неутомимый собиратель) уменьшают ценность книги».

Займемся сначала «философическими рассуждениями» Б-вой.* Вот один из многочисленных образцов: — «Я давно уже не чувствую себя состоящей из двух половинок, я физически ощущаю, как по мне проходит не **разрез**, но шов (подчеркнуто не мною, а автором, Р. Г.). Что я сама есть шов. Что этим швом, пока я жива что-то сошлось во мне, что-то спаялось, что я-то и есть в природе один из примеров спайки, соединения, слияния, гармонизации, что я живу недаром, но есть смысл в том, что я такая, какая есть: **один из феноменов синтеза в мире антитез**» (здесь подчеркнуто мною, Р. Г.). У читателя такая «философия» не вызывает ничего кроме улыбки сострадания к автору. Покойный умница Ходасевич называл такие потуги к умствованиям — «учающаяся молодежь».

А вот — **суждение по аграрному вопросу**. «...Крестьяне, или, как их тогда называли мужики, были двух разных (?) родов и мне казалось, будто это были две совершенно разные породы людей. Одни мужики были степенные, гладкие, сытые, с масляными волосами, толстыми животами и раскормленными лицами. Они были одеты в вы-

* Все «рассуждения» Б-вой я цитирую не в переводе с английского, а по русскому манускрипту. Р. Г.

шитые рубашки и суконные поддевки, это были те, кто **выходили на хутора**, то-есть, выселились из деревни на собственную землю... Они в церкви шли с тарелкой, ставили у образа «Утоли моя печали» толстые свечи (хотя какая могла быть у них печаль?)... Другие мужики были в лаптях, ломали шапку, одеты были в лохмотьях (?) и лица их были потерявшие (?) всякое человеческое выражение. Эти вторые **оставались в общине**, они были низкорослые, часто валялись в канаве подле казенной винной лавки...» Написать такую несусветную и вульгарнейшую чепуху было бы непростительно даже очень не-сведущему иностранцу. Б-ва явно не знает, что на хутора шли как раз малоземельные крестьяне, стесненные в своем хозяйстве чрез-полосицей, и они отнюдь уж не были «гладкие, сытые, с масляными волосами, толстыми животами и раскормленными лицами». Кстати, «суконных» поддевок крестьяне не носили, их носили помещики и купцы, для крестьян это было слишком дорогое одеяние. Эта мелочь характерна для писаний г-жи Б. — обо всем **приблизительно** (под-девки — значит, суконные).

Отметим, кстати, что в лохмотьях дореволюционные крестьяне, конечно, не ходили. В лохмотьях могли ходить только нищие. Впрочем, полное незнание деревни у Берберовой доходит до того, что несколькими страницами дальше она сообщает, как, придя к ее деду, некий крестьянин Тимофей — «в опорках и лаптях сидит на краю кресла». Что же это за чудовищная обувь? Увы, Б-ва не знает, что такое «опорки» (это опоротые сапоги, в которых ходили городские босяки, «типы Горького»). Но надеть на лапти **еще** и опорки даже при всем сюрреалистическом воображении г-жи Б. никак невозможно. Не зная деревни, крестьян (и русского языка) г-жа Б. вместо «онучи» пишет «опорки» (цитирую по русскому оригиналу книги, стр. 23). Но и это не все. Как некая баронесса фон Мюнхгаузен Берберова пишет о русских крестьянах еще и бóльшую чепуху. Например, «большинство из них (из крестьян, Р. Г.) при выборе паспорта брали фамилию ближайшего помещика». То есть, по Б-вой, у русских крестьян при рождении и фамилий не было, они, бедные, брали их только «при выборе паспорта» и при том «фамилию ближайшего помещика». В книгах иностранцев нам приходилось читать о России много всякой развесистой клюквы. Но такой читать еще не приходилось.

Рассуждения о «внутреннем мире». Свой «внутренний мир» Б-ва выдумывает с великой натугой, и настолько претенциозно, что читатель сразу же видит все его «белые нитки». Подражая «Словам» Сартра, что ли, г-жа Б. пишет о себе роскошные необыкновенности. Тема: ребенок и колодец. Б-ва говорит, что уже лет с трех она погибалась «над чем-то, что кажется мне бездной... это — старый колодец... он пуст и сух и черен». Странно, думает читатель, как же это

ребенок в три года (пусть даже в пять!) «нагибается над колодезем», когда у всех русских деревенских колодезей был же сруб и нагнуться над ним никакой малый ребенок не мог. А в 12 лет в связи с колодезем у Б-вой произошло даже некое необычайное озарение: «Но я каждый год буду смотреть в него (в колодезь, Р. Г.), пока в 12 лет я не почувствую желание спуститься в него (в колодезь, Р. Г.)... но спуститься не на чем... и тогда мне придет в голову, что меня кто-то может посадить туда и забыть, и я там буду умирать от жажды. И сейчас же мне захочется, чтобы это случилось как можно скорее, чтобы на дне колодезя найти родник, ключ, который станет поить меня. Я найду его и буду пить из него, и никто не будет знать, что я жива, что я продолжаю думать, сочинять стихи про колодезь и ключ и что этот ключ бьет только для меня одной». Боже мой! Как же мощно был одарен этот сверхъестественный ребенок. Вероятно, это о нем и было сказано: «И с седла улыбается мне / СюрреА-листичЕ-ский ребенок!» Но спросим всерьез: неужто автор не понимает, что им написана просто-напросто развязная (и бездарная) болтовня и написана только из-за желания встать в какую-то снобистически-эксцентрическую позу, дабы показать «необыкновенность своего внутреннего мира».

Суждения социологического порядка. «Не разрыв интеллигенции с народом, но разрыв между двумя частями интеллигенции казался мне всегда для русской культуры роковым. Разрыв между интеллигенцией и народом в России был гораздо слабее (?) чем во многих странах. Он есть всюду — и в Швеции, и в Италии, и в Кении (на счет Кении все карты в руки г-же Берберовой, она превосходно знает Кению, Р. Г.). Одни смотрят телевизор, другие в это время читают книги, третьи их пишут, четвертые заваливаются спать рано, потому что завтра надо встать «с солнышком». Х не пойдет смотреть оперетку, У не пойдет смотреть драму «Стриндберга», Зет не пойдет ни на то, ни на другое, а будет дома писать собственную пьесу...»

Вот, оказывается, как легко и просто понята Б-вой роковая для России тема, это «вековое противостояние интеллигенции и народа» (Г. Федотов). Тема, которую так трагически переживал А. Блок: «Между интеллигенцией и народом есть недоступная черта... Это та же пропасть, что между культурой и природой», писал Блок. Эта тема культурного разрыва, угрожавшего бытию России, была страданием не одного Блока, она ощущалась так многими выдающимися представителями русской культуры и породила большую литературу. Конечно, все это даже отдаленно не имеет ничего общего с той ерундой «об оперетках» и «драмах Стриндберга», которую наболтала г-жа Берберова.

Перейдем к ее литературным портретам. Они полны преднамеренной неправды, при чем основана она уже не на незнании предмета, а просто на желании «свести счеты» со всеми, кто неугоден экстравагантной мемуаристке. А неугодны ей — из-за патологической злобности — очень многие. Но сначала остановимся на небылицах, написанных не по злобности, а только потому, что Б-ва пишет всё как попало.

Небылицы о М. Цветаевой. Б-ва подробно описывает, как видела Цветаеву в последний раз на похоронах Ходасевича в Париже. Я был на похоронах, помню многих — Зензинова, Вейдле, Газданова, Гингера, Присманову, Набокова и друг., но Цветаеву не видел. Да она и не могла там быть, ибо ее уже не было в Париже. Об этом написал Г. Струве в «Русской Мысли» (от 6 нояб. 1969), точно установив, что похороны Ходасевича были «через четыре дня после того, как Цветаева уехала из Парижа». Берберова же без всякого стыда дает «драматическое» описание того, как литературная эмиграция на этих похоронах «обходила» Цветаеву, как зачумленную. При чем этот вымысел Б-ва сначала напечатала в одном американском журнале и повторила в книге.

Небылицы о Замятине. О нем Б-ва сообщает, что его «попросили» (т. е. выслали) из СССР. Но каждому русскому литератору известно, что Замятина из СССР легально выпустил Сталин после письма Замятина «лично» к нему, при чем просьбу Замятина о выезде поддерживал М. Горький. Письмо Замятина к Сталину опубликовано в книге «Лица» (изд. им. Чехова, 1955 г.), т. е. за 14 лет до сенсационного измышления г-жи Б-ой. Но небылицы Б-ой о Замятине на этом не кончаются. В своем опусе она представляет его как какого-то «большевика». На это обратила внимание даже американка П. Блэйк в упомянутом отзыве, резонно указав, что действительности сие не соответствует. Говоря о Замятине Б-а неизвестно почему дает ложные сведения о его настроениях: будто он только и ждал возвращения в СССР «при первой же возможности». Но общеизвестно, что несмотря на все заманивания (письма К. Федина и др.) и на трудно сложившуюся в эмиграции жизнь Замятин был настроен упорно антибольшевицки и возвращаться **не собирался**. Он не писал в эмигрантской печати — да. При выезде он дал в этом слово М. Горькому (а м. б. и Сталину). Но я знаю, что в Париже Замятин анонимно давал сенсационные разоблачительные материалы в такую антибольшевицкую газету, как «Гренгуар». Б-ва говорит, что была на похоронах Замятина. На них было всего человек 8, я всех хорошо помню, ее я не помню.

«Месь» Бунину. На это «сведёние счетов» с неугодным Б-вой славным покойником тоже обратила внимание П. Блэйк. Чересчур

уж безудержна оказалась Б-ва в этом своем нападении. Но Блэйк, конечно, не знает причин сведения этих счетов. А так как они низменны, то мы вынуждены (без всякого удовольствия) поставить все точки над «и» — над этим безобразием Б-вой. Прежде всего, Бунин не любил ее как человека, из-за свойственной ей злобности. Бунину, в частности, принадлежит двестише, написанное им в 1946 году в Париже, когда Б-ва сотрудничала в газете «Русская Мысль»: — «В 'Русской Мысли' стервы вой / Сохрани меня Бог от Берберовой». Этого двестишия Б-ва, разумеется, не может простить. И в потугах хоть каких-нибудь оскорбляющих память покойного вымыслов, она рассказывает в своем «Курсиве», как придя среди бела дня к Буниным увидела посредине комнаты «ночной горшок, полный до краев». Лица, жившие у Буниных многие годы, отзываются об этом «перле» г-жи Б., как о «мерзкой и глупой лжи». Сводит Б-ва с Буниным счеты и по другой причине. Во время оккупации Франции Гитлером Б-ва осталась в Париже (и под Парижем), написала, в частности, тогда стихотворение о Гитлере, в котором сравнивала его с «шекспировскими героями». К сожалению, стихотворение это до сих пор не опубликовано. А жаль, ибо — тематически — оно оказалось бы единственным в русской литературе. Из зоны оккупации г-жа Б. звала уехавших в свободную зону писателей Бунина, Адамовича, Руднева и др. вернуться под немцев потому, что «наконец-то свободно дышится» и т. д. Жившее тогда у Буниных лицо пишет: «Помню, это письмо Берберовой Иван Алексеевич прочел вслух за обедом».

Кроме того Берберова знает, что у одного писателя есть письмо Бунина, в котором он, говоря о лицах настроенных во время войны про-гитлеровски, пишет: «а разве Берберова не была его, Гитлера, поклонницей» (7 марта 1949 г.). Все это и обусловило лютую неприязнь Б-вой к Бунину и создало «краски» для портрета Бунина в ее «Курсиве».

После войны Бунин не раз (шутливо, наверное) грозил Берберовой опубликовать ее письмо к нему, что, конечно, тоже заставило автора опуса выставить «ночной горшок» на авансцену. В книге своей месть Бунину Б-ва переносит даже на его жену, Веру Николаевну, сообщая о ней, что В. Н. была «очень глупой» женщиной, «не просто глупой, а исключительно глупой». В. Н. Бунину (автора прекрасной книги «Жизнь Бунина», каких у Берберовой нет) знала не одна Б-ва и эта «месть» не нуждается в опровержении. Впрочем, такие оценки раздаются «умным» автором направо и налево. Известный с.-р. и писатель В. М. Зензинов у Б-вой тоже оказывается «очень глупым» и «склонным к сплетням». Но почему бы это? Не потому ли, что покойный Владимир Михайлович с безразличностью относился к прогитлеровским симпатиям г-жи Б-вой во время войны и этого не скрывал. Так

же, как и его близкий друг и партийный товарищ М. М. Тер-Погосьян, проведший всю немецкую оккупацию в Париже, хорошо знавший Б-ву.

С странной «иронией» Берберова пишет о И. И. Фондаминском, не стесняясь безтактно и жестоко говорить о его смерти в гитлеровском кацете. «Согласно легенде, он умер не в лагере, а ушел в Россию 'пострадать за христианскую веру'» (кавычки принадлежат остроумному автору книги, Р. Г.). И это пишется об И. И. Фондаминском, сделавшем столько для культурной жизни русской эмиграции в Париже («Современные Записки», «Русские Записки», «Новый Град», создание «Русского Театра» и мн. др.). Но кроме неумной «иронии» от г-жи Б-вой он ничего не удостоился.

О Г. В. Адамовиче. Так же, как с Буниным Б-ва сводит счеты и с Г. В. Адамовичем, запуская ему всевозможные «дамские шпильки» и как поэту, и как критику, и не будучи в состоянии сдержать свою злобность, пишет о нем небылицы. Что будто бы, например, рукопись юной французской книги «Л'Отр Патри» Адамович давал ей читать и в ней было много такого неприятного, что не вошло в окончательный текст. Я удивился этому сообщению и запросил Адамовича, на что он ответил, что это — «вранье на все 100%», никогда Б-вой рукописи он не давал. Почему же с Адамовичем на страницах этого злобно-клеветнического опуса происходит такое беспардонное «сведение счетов»? Да потому, что в литературной эмиграции общеизвестно, что Б-ва настойчиво звала Адамовича вернуться к немцам, в зону оккупации («наконец, мы теперь прозрели!»). Этого вспоминать Б-ва не хочет. И понятно. Некоторые ее долголетние друзья по работе в «Последних Новостях», ознакомившись с ее подобными письмами, отказались подать ей руку и встретиться с ней в Нью Йорке.

«Я всегда любила победителей, а не побежденных, сильных, а не слабых», пишет г-жа Б-ва, и это, вероятно, правда. Поэтому-то своей книгой она всеми силами втирается в круг «имущих некую власть» в печати — в круг салонных «гуманистов», радикально-левых американских интеллектуалов-снобов. В ее книге много примеров этого «втиранья». Один из них: — оказывается, что в революцию г-жа Б-ва «примыкала» к самой левой группе социал-демократов (интернационалистов) Ю. Мартова! Странно: Ю. О. Мартов «шекспировским героем» никак не был. В том же плане втиранья к левым интеллектуалам Б-ва не стесняется писать гнуснейшие грубости о зверски убитом Николае II и представлять многое русское в карикатурном виде.

Отметим еще одну характерную черту этих писаний. Говоря об известных писателях и политиках — о Горьком, Белом, Керенском, Бунине, Гумилеве — у Б-вой всегда выходит: **Она** и Горький, **Она** и

Бунин, Она и Керенский, Она и Белый. Для читателей «Курсива» эта беспардонность юмористична. В частности, очерки о Горьком и о Белом, это, в сущности, пересказ того, что написал о них Влад. Ходасевич («Некрополь», изд. «Петрополис», Брюссель, 1939). Разница только одна: в очерке о Горьком Ходасевич — свою тогдашнюю жену, Б-ву, с которой жил у Горького в Сорренто — совсем не упоминает. Будто ее там и не было. Нет, виноват, упоминает одной строкой, при перечислении комнат (где кто жил у Горького) сказано: «комната Н. Берберовой» (стр. 243). И все. У Б-вой же: Она и Горький! То же в очерке о Белом. Ходасевич не упоминает о Б-вой. Нет, виноват, упоминает, но тоже одной строкой: «название предложила Н. Берберова» (стр. 92). И все. У Берберовой же очерк превращается в тему: Она и Белый, при чем Белый представлен вульгарнейше, каким-то идиотиком, да еще и «похожим на лягушку», конечно.

«Неточности» (говоря мягко) в страницах, посвященных Керенскому, были уже слегка отмечены в печати (Г. Струве, «Рашен Ревью»). Но я бы мог указать на совершеннейший вздор и всяческие «диспропорции», когда Б-ва рассказывает о приезде Керенского в Париж после войны. Выходит так, что Керенский только и ехал в Париж с тем, чтобы посовещаться с Б-вой о международном положении. То же относится и к «встречам» ее с Николаевским.

А теперь перейдем к фактическим ошибкам, наводняющим книгу. При чем одни из них сделаны по невежеству и по «неглиже с отвагой», другие — в плане «сведения счетов» с неугодными лицами.

Б-ва пишет, что Н. Евреинов был эмигрантом с 1920 г. Неверно. Он выехал легально в конце 1922 г. Сын Цветаевой, Мур, был расстрелян за опоздание с возвращением в воинскую часть, а не «убит на войне», как пишет Б-ва. Газета «Голос России» выходила не в Праге, как пишет Б-ва, а в Берлине. Вопреки намекам Б-вой, А. И. Гучков масоном никогда не был. Белая армия была основана не в 1918 г, как пишет Б-ва, а в 1917 г. Благов, номинальный редактор московского «Русского Слова», миллионером не был, как пишет Б-ва, он был зятем И. Д. Сытина. И. Фондаминский был членом партии с.-р., но вопреки утверждению Б-вой, в терроре не участвовал. «Архив русской революции», издаваемый И. В. Гессеном, выходил не в Праге, как пишет Б-ва, а в Берлине. Обо мне, в порядке, вероятно, исключительно острого сведения счетов написано следующее.

Оказывается, я «до 27 года был берлинским корреспондентом «Правды» и «Известий», а после 27 г. стал эмигрантом». Г-жа Б-ва хорошо знает, что она пишет обо мне заведомую неправду. Я эмигрировал с 1 января 1919 г. (См. «Киевская эпопея». Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном. Том 2. 1921). Корреспондентом «Правды» и «Известий» я, разумеется, никогда не был и не мог им

быть. Г-жа Б-ва обнаруживает и тут свое невежество: корреспонденты этих газет всегда были партийцы, присланные из Москвы. Германская с.-д. партия в деле Парвуса-Ленина не только не участвовала, как пишет Б-ва, но первыми разоблачителями этой акции были лидеры германской с.-д. Бернштейн и Шейдеман. О ген. А. П. Кутепове сказано: «играл выдающуюся роль в Белой Армии во время врангелевского эпизода». Что такое «врангелевский эпизод»? Ген. Кутепов в Белой Армии был с момента ее основания в 1917 г., участвовал в знаменитом ледяном походе и уже тогда играл выдающуюся роль. М. С. Маргулис был не московский, как пишет Б-ва, а петербургский адвокат. Б-ва пишет, что в 1945-47 г.г. в Париже единственной «эмигрантской печатью» были сборники Мельгунова. Неверно. Кроме этих сборников (основанных Лазаревским), Лазаревский начал тогда издавать газету «Русская Мысль». О бывшем «главе» младоросов Казембеке Б-ва пишет, что он «является посредником между святыми отцами православной церкви и сов. правительством». Откуда такая чепуха? И. И. Петрункевич не был издателем «Речи». «Речь» основал и издавал Бак. Книга О. Савича «Воображаемый собеседник» была издана не в Москве, как пишет Б-ва, а в Берлине изд-вом «Петрополис». Маршал Михаил Николаевич Тухачевский у Б-вой превращается в «генерала Михаила Ивановича Тухачевского» (хоть бы заглянула в энциклопедию!). В редакции «Нов. Журнала» **четыре** редакторов никогда не было (хоть бы посмотрела на титульный лист журнала!). Вольский вовсе не жил «последние 15 лет в полном одиночестве», он сотрудничал в «С. В.», «Н. Ж.», «Н. Р. С.», вел большую переписку, издал замечательную книгу о Ленине, написал книгу о символистах. Граф В. Зубов никогда не был в СССР «посажен в тюрьму на многие годы», как пишет Б-ва. В своей книге «Страдные годы России» Зубов сам говорит, что 4 месяца просидел в ДПЗ (комфортабельно) и до этого еще недолго пробыл на Лубянке. Отец известного поэта И. Елагина (Венедикт Март) был не имажинистом, как пишет Б-ва, а футуристом...

Обрываю. Я отметил только те ошибки, что бросились **мне** в глаза. Эта низменная (прошу прощения у читателей, но не нахожу другого слова) книга фактическими ошибками и извращениями фактов **неполноценна**. И может подвести малосведующих иностранцев, если они примут на веру неблизкие г-жи Б-вой.

Заглавие книги «Курсив мой» — не оригинально. Б-ва взяла его у советских юмористов Ильфа и Петрова. Под этим заглавием у них есть смешной рассказ: редактору не дает покоя какой-то графоман, всё приносит ему рукописи, причем в них почти всё подчеркнуто и в скобках указано: «курсив мой». В один прекрасный день редактор впадает в невероятную ярость от этих рукописей графомана, швыряет

их секретарю и кричит: — «Отдайте ему его курсив!» Мы сочувствуем этому редактору и отдаем Берберовой ее курсив.

Роман Гуль

О. И. ПАНТЮХОВ. *«О днях былых»*. Семейная хроника. Дюранд Хауз. 1969 (314 стр.).

Не легко писать на такую избитую тему, как «О днях былых». Казалось бы, появление очередной книги с таким названием не должно было бы привлечь на себя внимание, но это неверно. Почти во всех органах русской зарубежной печати появились положительные отзывы на книгу Пантюхова.

Русский читатель, к какому бы поколению он не принадлежал (будь он «новый» или «старый» эмигрант), найдет много интересного в этой книге. У О. И. Пантюхова богатый русский язык. Его книга «О днях былых» в то же время как бы и коллективное творчество; в ней цитируются и отец Олега Ивановича — Иван Иванович и его брат — Михаил Иванович.

Олег Иванович Пантюхов — видный общественный деятель. Он известен, как основатель первого в России отряда скаутов-разведчиков (30 апреля 1909 г. Царскосельский отряд). В 1919 г. он был избран старшим скаутом России, а в эмиграции возглавляет НОРС — Национальную Организацию Русских Скаутов с первого дня ее основания (22 марта 1921 г.) до наших дней. Были, конечно, у Олега Ивановича и недоброжелатели и завистники, но о них в книге нет ни слова. Вообще, о последних годах своей жизни Олег Иванович в книге не пишет. Может быть, он и прав. «О днях былых» была задумана как семейная хроника, а не как полемическое произведение. Общественная жизнь О. И. Пантюхова протекала у многих на глазах. О ней уже сейчас пишут и еще будут писать, но для истории русского скаутизма надо было бы в книге написать немного больше о себе.

О. И. Пантюхова я знаю почти уже 40 лет — вернее, я знал о Пантюхове, как о старшем русском скауте. В 1929 г., в связи с 20-летием НОРС, в Белграде была выпущена книжка «Русским скаутам», содержащая приказы, инструкции, информацию и беседы О. И. Пантюхова. В приказах и беседах О. И. Пантюхов поучал нас какими мы должны быть, делился своими взглядами на жизнь. В книге «О днях былых» даны отрывки из этих приказов-бесед. Можно было бы, конечно, дать больше, но одновременно с книгой «О днях былых» в Сан-Франциско вышел сборник «Русские скауты», где помещена большая глава выдержек из приказов-бесед О. И. Пантюхова.

Я дважды встречался с О. И. Пантюховым, но обе встречи носили деловой характер и только теперь, прочитав книгу «О днях былых», могу сказать, что не только состоялось по-настоящему наше знакомство, но автор познакомил меня и со всей своей семьей. Начиная знакомство с читателем О. И. Пантюхов, на первой же странице пишет:

«Я писал свои воспоминания и переписывал чисто семейные письма и записки моего брата Вани, главным образом, для себя. Делал я это потому, что было так приятно вспоминать далекое прошлое. Но, может быть, я это делал отчасти и для своих сыновей и для своих трех братьев...»

Книга была написана давно, «когда наше русское прошлое было еще свежо в памяти» — как говорит автор. В этом ее ценность для историка. К тому же книга написана исключительно объективно. Это отметил даже один советский читатель в письме к Пантюхову, присланном из СССР по почте. Советский читатель, искренно или неискренно, не соглашается с критикой большевизма, но отдает должное всей книге в целом:

«Мне понравился ваш интересный рассказ о жизни семьи русского интеллигента конца прошлого и первого двадцатилетия нынешнего века. С точки зрения истории, ваша книга настоящий клад, так как дает факты, нам здесь очень мало известные. В ней много страниц о вашей военной службе в Царском Селе. Подобный материал здесь не публикуется. Но, конечно, ваши воспоминания о последних годах на русской земле носят исключительно личный характер и весь процесс русской революции был более грандиозным, сложным и противоречивым».

В своем «Вместо предисловия» Олег Иванович пишет: — «Перед вами воспоминания о жизни русского семейства. Жизнь моего отца-доктора, ученого антрополога, моей матери и моих братьев. Жизнь, воодушевленная любовью к родной России, вдохновленная науками, литературой, поэзией. Это было время, когда мы все пять братьев избрали себе разные профессии, причем я, младший, взял на себя, по словам моего отца, роль, или вернее, должность «Сторожа Земли Русской», то есть, проще говоря, — офицера».

Свидетель первой мировой и гражданской войн, Олег Иванович пишет об этих событиях, как они отразились на нем, его семье и окружающих. Дневник брата — Михаила Ивановича дает интересные характеристики таких писателей начала века как Блок, Белый, Брюсов и Бальмонт. Михаил Иванович пишет о них не как литературный критик, а как человек знавший их лично. Таких свидетельств не так уж много.

Скаутские воспоминания Олега Ивановича относятся к периоду

1909-1922, с первой беседы с мальчиками в Павловском парке 30 апреля 1909 г. до последних дней в Константинополе старшего русского скаута — О. И. Пантюхова.

В приложении, кроме упомянутых бесед у костра и скаутских приказов даны выдержки из книги отца — И. И. Пантюхова — «Значение антропологических типов в русской истории». Книга заканчивается беседой для скаутов-разведчиков к 7 ноября 1967 г. — «Черный год», так не понравившийся Кочетову, что он посвятил О. И. Пантюхову и его беседе целую страницу в своем романе «Чего же ты хочешь?» Этот злобный выпад Кочетова — лучшая похвала Пантюхову.

Я не привожу отрывков из книги «О днях былых». Это заняло бы слишком много места и все же не дало бы того впечатления, которое читатель сам вынесет из прочитанного. Все же хочется упомянуть замечательные описания быта на Кавказе в конце XIX в., впечатление, которое произвело на автора первое его посещение Зимнего дворца в бытность портупей-юнкером и потом жизнь автора в Царском Селе. Во всем этом было много красоты, о которой в наш век не только приятно читать, но следует и почаще напоминать молодежи.

Р. Полчанинов

АЛЛА КТОРОВА. Лицо Жар-птицы. Издание Виктора Камкина. Вашингтон. 1969.

Свою книгу, отрывки из которой печатались в свое время в «Новом Журнале», Алла Кторова назвала «обрывками неоконченного антиромана». Это, конечно, уловка, вероятно, рассчитанная на то, чтобы «завлечь читателя». На самом деле в книге нет решительно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего современный антироман. Перед нами скорее традиционная законченная повесть, которая именно и хороша своей законченностью. Помните, у Пушкина: «Описывай, не мудрствуя лукаво». Хорошо, что Кторова лукавит только в подзаголовке.

Кторова умеет наблюдать и живо, то весело, то грустно, рассказывает о том, что пережила и переживала, или же о том, что пережили и переживали ее подруги. Пожалуй, единственное новшество в «Лице Жар-птицы» состоит в том, что Кторова сознательно нарушает единство времени, заставляя прошедшее и настоящее непрестанно меняться местами.

Повествование ведется от лица сотрудницы библиотеки имени Ле-

нина и аспирантки Владилены (названной в честь Владимира Ильича Ленина). Владя — из простой семьи, ее воспитала неграмотная тетка как родную дочь. Отец Влади, революционно настроенный рабочий и пролетарский поэт, был арестован и исчез. Малолетнюю Владю из-за этого не приняли в балетную школу Большого театра как дочь «врага народа».

Владя давно забыла о неудаче своего детства. Она увлеклась изучением библиотечного дела в историко-архивном институте. Но так случилось, что маленькая застарелая ранка все-таки иногда кровоточит. Ника Жарова (она и есть Жар-птица), закадычная подруга Влади, стала переводчицей и, выйдя замуж за француза, покинула с ним Советский Союз. Для этого Жар-птице пришлось преодолеть множество препятствий.

Владя без любимой подруги тоскует. Ника пишет Владе, что она гордится достижениями Гагарина и Титова, но, тем не менее, никогда не вернется в духовное болото, именуемое Советским Союзом.

Алла Кторова хорошо пишет о переживаниях двух молодых советских женщин. Пишет так, что перед читателем проходит вся их жизнь — от впечатлений детства до последних курсов ВУЗ'а. В вихреворот этой жизни втянуто много людей: одних Кторова выписывает детально, других изображает лишь мельком. Но в целом перед нами — галерея советских характеров, показанных в свете беспощадной правды, без приукрашивания и без ненужного охаивания.

Из «Лица Жар-птицы» читатель узнает много неожиданного о настроениях советского человека наших дней, причем — о таких настроениях, о которых молчат авторы рассказов и повестей в Советском Союзе. Кторовой не надо **убеждать** читателя, что Советский Союз, отгороженный цензурными и партийными ограничениями от некоммунистического мира, превратился в духовное и интеллектуальное болото. Читатель Кторовой верит.

Язык «Лица Жар-птицы» производит двойственное впечатление: иногда он радует читателя простотой, непосредственностью, своеобразным сочетанием интеллигентского и народного московского говора. Тем более досадны грубоватые и пошловатые словечки и обороты речи, какой-то ненужный и вовсе несмешной «ватер-клозетный» юмор, а порой и нецензурная брань. Может быть это своеобразная дань западной «авангардной» моде? Напрасно.

Но не будем чрезмерно придирчивы. Книга Кторовой читается с интересом и имеет, к тому же, познавательное значение.

Вяч. Завалишин

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ. *Сочинения*. I-II тт. Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступительные статьи Б. Филиппова, Э. Райса, Гордона Мак Вэй (англ.) и Генриха Штаммлера (немецк.). Изд. А. Нейман-нис. 1969 (570-501 стр.).

Николай Клюев — почти ровесник Гумилева, Хлебникова, но в поэзии он ближе к предыдущему поколению, к символистам. В юности он увлекался Блоком и в его юношеских стихах слышатся блоковские интонации. С символизмом он никогда не порывал. Весь его богатый народный словарь, невмещающийся в *Даля*, символичен. Диковинные слова и причудливые образы символизируют его бредовые откровения, безумные «чаяния».

Народная стихия Клюева — хлыстовщина. Он будто бы был Давидом хлыстовского корабля. Все же, его радельные песни имеют мало общего с хлыстовским фольклором. Клюев — хлыст по духу, по корням, но хлыст на свой лад: индивидуалист и декадент. Свое сложное, изощренное *эго* он проецировал в хлыстовщину, примешивая к ней западное декадентство. Его называли Уайльдом в лаптях, а можно было бы назвать и олонецким Верленом.

Клюев, как и многие другие символисты, создал свою религиозную символику. Нелегко разобраться в его мистике-эротике. Грезил он о матери, которая родит предвечного сына и отдаст ему «ложесна и сосцы». В поэме «Мать-Суббота» Дух в виде ястреба или коня терзает жену, которая неожиданно превращается в мужа: «Радуйтесь, братья, беременен я / От поцелуев и ядер коня...» Что это? Мистическое кровосмешение и даже скотоложство со многими метаморфозами. Такое не снилось ни св. Антонию в пустыне, ни гротескному Иерониму Босху, ни декаденту Гюисмансу, ни маркизу де Саду, ни русским хлыстам. Еще мистическое мужеложство Клюева обольщали «парни сладкие, как мед», «детина, как малина» или жаворонок Есенин. Он перед ними «невестился» (как сказал бы Розанов), рядясь в разноцветные сарафаны своих ярких метафор-символов. На клюевском радении «сочетался с братом брат», но хлысты о таких «сочетаниях» не помышляли. Прославлял он и «скопчество — венец». Ему грезился оскотленный муж, духовно рождающий стокрылых ангелов. Мало у него домовитости раскольничьей Руси, которую мы знаем по романам Мельникова-Печерского. Клюевская Русь — хлыстовка, впавшая в декадентство двадцатого века. Или же это демонская Русь, непредвиденный вариант «Бесов» Достоевского.

Клюев, индивидуалист и изощренный декадент-символист, мечтал о вселенскости, о каком-то «достоевском» messiанизме, отразившемся в волшебно, но кривом зеркале его упадочной поэзии. Вселенские утопии вдохновляли и других символистов. Блок мечтал о

воцарении Светлой Жены, Мережковский о третьем завете Духа-Матери, Вячеслав Иванов утверждал новую универсальную хоровую культуру. А Клюев стремился вовлечь вселенную в хлыстовские радения! Ему хотелось: «Прозвенеть тальянкой в Сиаме, / Подивить трепаком Каир, / В расписном бизоньем вигваме / Новолодожский править пир... И когда зазвенит на Чили / Керженский самовар, / Серафим на моей могиле / Восструбит светел и яр...» Существенно, что в противоположность староверам-националистам, хлысты и, в особенности, скопцы, были своего рода интернационалистами и мечтали о теократии Божьих людей в России, Турции, Греции, Франции. Они пели: «От востока-страны, от Иркутския, / От Иркутския, от Французская...» (Чтения Имп. Общ. Ист. и Древн., 1872 г.). Так что здесь, правда на свой самодурский лад, Клюев продолжает старую хлыстовскую традицию, и есть прелесть в этих его пан-географических и вдохновенно-плясовых стихах.

Можно отвергать все утопические бреды символистов, но было у них и другое: любовь, боль, мысли. Блок, без блоковской метафизики, остается поэтом влюбленных. Его Дон Жуан все еще умирает в сердцах читателей. Пусть символистов меньше читают, но они еще могут «возродиться», и тогда найдет отклик философская поэзия Вячеслава Иванова или Зинаиды Гippiус. Что-то может быть очищено и по новому понято в хлыстовщине, а также в хлыстовском варианте Клюева. Возможно новое воцерковление Терпсихоры. Ведь в 4-м веке христиане плясали на могилах мучеников (Д. Г. Коновалов, 1908 г.). Есть райское упоение в этих радельных стихах Клюева:

Как у нас ли, други, ныне радость:
Отошли от нас болезни, смерть и старость.

Любви, боли у Клюева мало, даже в стихах, посвященных матери или в Плаче о Есенине. Лишь изредка слышится у него щемящая тоска одиночества, напр., в эпилоге «Погорельщины»: «Светик мой дитячий, / Над тобой поплачет / Темень да трезор...»

Сила Клюева, поэт очень одаренного, в павлинье-попугайном или в гамаюнно-алконостовском оперении его яркой поэзии. Клюевский символизм часто отталкивает, но клюевский имажинизм иногда восхищает. Стихи Клюева перенасыщены образами: Сфинкс — королева, кит — тишина, осень — гроб епископа в истлевшей парче, монументальные Дарья с Вавилом качают Монблан... Стерляжи молока Верлена нежней... Фазанье солнце, жасминовый Фет, презираемая им «мадам культура»... Есенин у него многому научился, и, прежде всего, смелой образности. Все же, они очень разные: Клюев хитроумен, манерен, Есенин задушевен, иногда сентиментален.

Яркий, но и ледяной Клюев! Даже о страстях, о стихиях писал он холодно, хотя и очень красочно. Его поэзия — арктические пазори (северное сияние) или — морозные узоры на окнах олонецкой избы.

Клюевский имажинизм — эллиптический, с перескоками (как называл эллипсы Державин) и это сближает его с футуристами. У символистов не было таких смелых сближений, как, например, в этих отрывистых логаздах, которые Ключеву удавались лучше, чем монотонные трехсложные размеры или даже легкие плясовые хорей:

Мандолина льнет к барабану,
Одалиска к ломовику,
По кумачному океану
Уплывает мое ку-ку.

Многим литературным староверам этот клюевский ультра-модернизм не понравится, но кое-кого и увлечет. Здесь мало навязчивого символизма. Здесь — свободный полет воображения, экстатический манеризм, упоительная динамика, как и в других стихах недооцененного цикла «Львиный хлеб»:

С Богом станем богами,
Виссонами шелестя...
Над олонецкими полями
Взыграет утро-дита.

Клюев мог бы дублировать при царском дворе Распутина, с которым его иногда сравнивали. Он, на свой клюевский лад, прославлял Октябрь: «Есть в Ленине керженский дух, / Игуменский окрик в декретах...» Но, по существу, был к политике равнодушен. Настоящее его вообще отталкивало, олонецкое прошлое часто привлекало, но более всего он тянулся к будущему, в какую-то Белую Индию, в сказочный город-розан, и, в особенности, во вселенскую хлыстовскую утопию.

Жутко-кошунственный и одержимый диковинными бесами декадент Ключев, но и имажинист, одаренный необыкновенным арктически-ярким воображением. Он увлекает, когда не заботится о раскрытии своей бесовской религии в символах и свободно-вдохновенно бормочет о красочных чудесах мира и по каким-то звуковым ассоциациям сближает Чикаго и Калугу. Он мало что любил, но умел восхищаться и восхищать.

Коммунистическая критика неодобрительно отзывалась о клю-

евских восхвалениях Ленина и Красной армии. Клюева называли идеологом кулачества «под столыпинским солнцем». Травля кончилась арестом. Он умер в Сибири, повидимому, на перегоне из одного лагеря в другой, в 1937 г.

Стихотворения и поэмы Клюева помещены в обоих томах, при этом, в первый том включены его письма, собранные Гордоном Мак Вэй, с комментариями, и автобиографические заметки. Очень интересен очерк Б. А. Филиппова (в том же томе), значительно дополнившего им же отредактированное собрание сочинений Клюева 1954 года (в изд. им. Чехова). Некоторые суждения его спорны, в особенности, в предисловии к Погорельщине: неверно, что русское искусство (музыка, живопись), как он утверждает, малоизвестны на Западе. Не могу согласиться и с этим заявлением Филиппова: «нам следует забыть, что мы европейцы». Уже древняя Русь, принявшая христианство из Византии, была нераздельной частью Европы с ее иудео-эллинским наследием, но своеобразие не потеряла. Следовало бы больше внимания уделить версификации Клюева и в этом мог бы помочь проф. К. Ф. Тарановский (Харвард). Его тоническое стихосложение изучается и в России. Все же, в целом, Филиппов много сделал для подготовки этого издания. Очень содержателен очерк проф. Г. Штаммлера (т. II). Он связывает Клюева с Бёме, Баадером. Но также существенно, в чем они отличаются. Так, Бёме не пантеист, как Клюев. По его учению, Бог пребывающий в темной бездне (Ungtund), усилием воли сотворил наш мир, и действует в мире, но с ним не отождествляется; и вера этого проникновенного мистика-сапожника — светлая, вдохновленная любовью к Богу, а не мутная, как у Клюева, обожествлявшего природу, страсти и даже похоть. Штаммлера восхищает космизм, стихийность Клюева, будто бы всегда ощущавшего связь с матерью-сырой-землей. При этом, помоему, он, как и Филиппов, недостаточно учитывает двусмысленность этого хлыста-декадента. Вообще же, Клюева можно истолковывать по разному. Штаммлер верно отмечает реализм клюевских метафор-символов, у него ели не напоминают схимниц: они тождественны (ели-схимницы).

На Западе это новое издание Клюева заинтересует преимущественно славистов. Но переводы стихов этого диковинного русского поэта могли бы привлечь внимание многих западных читателей. В России же оба тома, несомненно, нашли бы широкий отклик.

Юрий Иваск

БОРИС НАРЦИССОВ. *Подъем*. Стихи. 1969.

За последние 11 лет Борис Нарциссов издал четыре сборника стихов. У Нарциссова — широкий диапазон и, по моему, он достиг в поэзии мастерства. Поэтика его — гумилевская, и ранний Гумилев, вероятно, одобрил бы его стихи. Фраза — чеканная, рифмы — богатые, а темы самые разнообразные — много звезд (Сириус, Орион), музыки (Шестая симфония, Сибелиус), есть экзотика (Австралия, Гавайи), но есть и быт, будничное: «Усталый человек присел / На круглом одноногом стуле...» О многих его стихах можно сказать: «красиво пишет Нарциссов, почти как Гумилев в «Капитанах» или в «Шатре»:

Этот серо-зеленый покров — эвкалипты.
Это шкуры змеиные слезшей коры.
И вот так без конца. И ты знаешь — погиб ты
Здесь в краю эвкалиптов и тусклой жары.

Любимый поэт Нарциссова — Эдгар По, которому посвящен цикл «Эдгариана». Его стихами увлекались Бодлер, Малларме, Блок, Пастернак и, что мало кому известно, его проза заинтересовала Достоевского, но в англо-саксонском мире к нему относились скептически, как и к Байрону: их поэзия имела успех преимущественно за пределами Англии и Америки. Недавно В. Х. Одэн пытался воскресить Байрона, а об Эдгаре По как будто совсем забыли. Редко вспоминают и Лонгфелло, Киплинга-поэта, которые тоже нравятся Нарциссову. Литературные моды меняются. Забытые поэты иногда возрождаются. Все же, существенно, что Эдгар По американских и английских поэтов не вдохновляет. Ужасы XX-го века страшнее «готических ужасов» Эдгара.

Неожиданно — одно из лучших, на мой вкус, стихотворений Нарциссова — это романтическое путешествие к могиле По в Балтиморе:

В сыром углу, в тени, совсем у входа,
В кустах направо — серо-белый куб.
На кубе — пирамида. Видно: годы
На мраморе точили долго зуб.

Удался Нарциссову и разговор с Эдгаром в нью-йоркском предместье Фордам, где прошлое мешается с настоящим. Интересно стихотворение «Голова» — и там исторические реминисценции, русские, английские, **перемешаны с современностью**.

Стихи крепкие, наблюдения запоминающиеся и нет рифм. А белые стихи, как известно, мало кому из русских поэтов удавались. К счастью, нет в них и той внешней красоты, которая так импонирует Нарциссову. Вообще, Нарциссову больше веришь, когда он, не торопясь, рассказывает, а не когда эффектно воспекает звезды, экзотику и драгоценные камни.

Выделю еще стихотворение «О всех святых на Руси просиявших». Оно написано житейным сказом, и такая стилизация редко кому удавалась. Стилизаторы часто очень уж «смаковали» архаические или народные выражения. А Нарциссов, в меру пользуется древними *словесами* и рассказывает просто, скромно, всерьез:

Вот и было видение в тонце сне,
К истощению времени, грешному мне.

Юрий Иваск

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

А. ОСОРГИНА. *Пушкин и его творчество*. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (152 стр.).

НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ. *Смысл истории*. Опыт философии человеческой судьбы. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (270 стр.).

Д. П. КОНЧАЛОВСКИЙ. *Пути России*. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (260 стр.).

В. О. КЛЮЧЕВСКИЙ. *Церковь и Россия*. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (90 стр.).

А. В. ФЛОРОВСКИЙ. *Чехи и восточные славяне*. Очерки по истории чешско-русских отношений (X-XVIII вв.). Том II. Прага. 1947 (548 стр.).

СТРАННИК. *Нескучный сад*. 4-я книга лирики. Калифорния. 1970 (55 стр.).

ХРИСТИАНСТВО, АТЕИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ. Н. Бердяев — Марксизм и религия. В. Ильин — Материализм и материя.

- С. Франк — Материализм как мировоззрение. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (175 стр.).
- МИХАИЛ БУЛГАКОВ. *Собачье сердце*. ИМКА Пресс. Париж. 1969 (158 стр.).
- М. ВОЛОШИН. *Пути России*. Стихотворения. 2-е издание под ред. Вяч. Завалишина. Изд. «Эхо». 1969 (86 стр.).
- А. БОРМАН. А. В. *Тыrkова-Видьямс по ее письмам и воспоминаниям сына*. Лувен-Вашингтон. 1964 (333 стр.).
- В. М. ЖИРМУНСКИЙ. *Композиция лирических стихотворений*. Перепечатка с петербургск. издания 1921 г. Вступ. статья К. Эльмермахера. Изд. В. Финк Ферляг. Мюнхен. 1970 (107 стр.).
- СТРАННИК. *Нескучный сад*. 4-я книга лирики. Калифорния. 1970 (51 стр.).
- МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН. *Пути России*. Стихи. Изд. 2-е. Под ред. и с предисл. Вяч. Завалишина. Изд. «Эхо». 1969 (86 стр.).
- ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. *Стихи на веере*. Антология китайской классической поэзии. Изд. «Посев». 1970 (41 стр.).
- АЛЕКСАНДР ДЫННИК. А. И. *Куприн: очерк жизни и творчества*. Изд. Рашен Лангуич Джорнал. Лансинг. 1969 (121 стр.).
- Н. УЛЬЯНОВ. *Под каменным небом*. Рассказы. Нью Хэвен. 1970 (106 стр.).
- НИКОЛАЙ КЛЮЕВ. *Сочинения*. Под общей ред. Г. Струве и Б. Филиппова. Вступ. статьи Г. Штаммлера, Э. Райса, Г. Мак Вея и Б. Филиппова. Тт. I и II. Изд. А. Нейманис. 1969 (570 стр.).
- РОМАН ГУЛЬ. *Азеф*. Историч. роман. Изд. 2-е. Перевод на японский Нобору Канзаки. Изд. Кавадо Шабо. Токио. 1970 (332 стр.).
- С. ЗЕНЬКОВСКИЙ. *Русское старообрядчество. Духовные движения 17 века*. Изд. В. Финк Ферляг. Мюнхен. 1970 (528 стр.).

- П. Г. ГРИГОРЕНКО. *Соккрытие исторической правды — преступление перед народом*. Изд. СБОНР. Лондон. Онтарио. 1970 (41 стр.).
- М. КИТАЕВ. *Русское освободительное движение*. Материалы к истории освободит. движ. народов России (1941-1945). Изд. СБОНР. Лондон. Онтарио. 1970 (79 стр.).
- РОДИОН БЕРЕЗОВ. *Песни жизни*. Рассказы. Изд. газ. «Наши дни». Калифорния. 1970 (351 стр.).
- ИГУМЕН ДАНИИЛ. *Хождение*. Перепечатка с изд. 1883/85 гг. Вступ. статья К. Д. Зеeman. Изд. В. Финк Ферляг. Мюнхен. 1970 (243 стр.).
- ЕЛИЗАБЕТА КУКЛОВСКАЯ. *Метель*. Роман в стихах. Изд. "Books by Mail". Нью Йорк (59 стр.).
- Sir WILLIAM HAYTER. *The Kremlin and the Embassy*. The Macmillan Company. New York. 1969 (p. 158).
- DIMITRI SVERTCHKOFF. *Alexandrite*. Translated from the Russian and rewritten by Anna Mueller. Zurich. 1969 (p. 267).
- YEVGENY ZAMYATIN. *Essays*. Edited and translated by Mirra Ginsburg. The University of Chicago Press. 1970 (p. 322).
- BERTRAM D. WOLFE. *An Ideology in Power. Reflections on the Russian Revolution*. Stein and Day. New York. 1970 (p. 406).
- JERZY BRAUN. *Ekumenizm. Odnowa*. London. 1968 (p. 74).
- JERZY BRAUN *Aperçu de la Philosophie de Wronski. Les Amis de Wronski*. Irlande (p. 239).
- Studia z filologii Polskiej i Slowianskiej*. Komitet Slowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Warszawa. 1969. Nr. 7 (p. 294); Nr. 8 (p. 316); Nr. 9 (p. 302).

**В СЕНТЯБРЕ ВЫЙДЕТ
СОСТАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ
КНИГА
“НОВОГО ЖУРНАЛА”**

**В КНИГЕ БУДЕТ ОКОЛО 400 СТРАНИЦ
И БУДЕТ ДАН УКАЗАТЕЛЬ ВСЕГО
НАПЕЧАТАННОГО В «НОВОМ ЖУРНАЛЕ»,
НАЧИНАЯ С ПЕРВОЙ КНИГИ ПО СОТУЮ
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)**

**ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ
ПЕРВАЯ ЗА РУБЕЖОМ**

**ПОЛНАЯ ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА**

в 2-х частях (3-х книгах) на 8-10 лет обучения.

Рекомендуется всем зарубежным субботним школам, гимназиям, университетам, преподавателям и иностранцам, уже знающим русский язык и желающим усовершенствовать свои знания. Учебник проверялся в течение восьми лет, и результаты занятий по нему очень хорошие.

Цена 3-х книг с пересылкой \$12.00.

Чеки и мони ордер выписывать на имя:

М. Атавиной, Р. О. Вох 4811, Нью Йорк, Н. И. 11104.

(Tel.: ST 6-4871).

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ»

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

В 1970 ГОДУ ВЫЙДУТ ЧЕТЫРЕ КНИГИ

Подписная цена 10 долларов в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 3 долл.

Во Франции — 10 франков

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

THE NEW REVIEW,

2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы:

МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
